

Annotation

Впервые на русском – новейший роман от лауреата многих престижных литературных премий Энтони Дорра. Эта книга, вынашивавшаяся более десяти лет, немедленно попала в списки бестселлеров – и вот уже который месяц их не покидает. «Весь невидимый нам свет» рассказывает одвигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму.

* * *

Энтони Дорр

0. 7 августа 1944 г. Листовки

Бомбардировщики

Девушка

Юноша

Сен-Мало

Дом № 4 по улице Воборель

Подвал

Бомбежка

1. 1934 г. Национальный музей естествознания

Цольферайн

Ключная

Радиоприемник

Отведи нас домой

Жизнь меняется

Свет

Наше знамя реет впереди!

Вокруг света за восемьдесят дней

Профессор

Море огня

Откройте глаза

Затишье

Принципы механики

Слухи

Больше, быстрее, лучше

Начертание зверя

Добрый вечер. Или хайль Гитлер, если предпочитаете

Пока, слепая девчонка

Вязание носков

Бегство

Герр Зидлер

Исход

2. 8 августа 1944 г. Сен-Мало

Дом № 4 по улице Воборель

«Пчелиный дом»

Шесть лестничных пролетов вниз

В западне

3. Июнь 1940 г. Шато

Вступительные экзамены

Бретань

Мадам Манек

Ты призван

Оссигер
Не лги
Этьен
Юнгманы
Вена
Боши
Гауптман
Летающий диван
Сумма углов
Профессор
Парфюмер
Время страусов
Слабейший
Надлежит сдать
Музей
Платяной шкаф
Черные дрозды
Ванна
Слабейший (№ 2)
Арест мастера

4. 8 августа 1944 г. Форт Сите

Atelier de Réparation

Две банки

Дом № 4 по улице Воборель

Что у них есть

Проволока и колокольчик

5. Январь 1941 г. Зимние каникулы

Он не вернется

Заключенный

Пляж-дю-Моль

Гранильщик

Энтропия

За покупками

Nadel im Neuhaufen

Предложение

У тебя есть другие друзья

Старушечий клуб Сопротивления

Диагноз

Слабейший (№ 3)

Грот

Угар

Улитка и Сабля

Пожить перед смертью

Некуда

Исчезновение Юбера Базена

Все отравлено

Посетители

Лягушка сварится

Приказы

Воспаление легких

Лечение

Рай

Фредерик

Рецидив

6. 8 августа 1944 г. В доме кто-то есть

Смерть Вальтера Бернда

Спальня на шестом этаже

Сборка радио

На чердаке

7. Август 1942 г. Пленные

Платяной шкаф

Восток

Один простой батон

Фолькхаймер

Осень

Подсолнухи

Камни

Грот

Преследование

Записки

Луданвьель

Все серое

Лихорадка

Третий камень

Мост

Рю-де-Патриарш

Белый город

Двадцать тысяч лье под водой

Телеграмма

8. 9 августа 1944 г. Форт-Насиональ

На чердаке

Головы

Помрачение

Вода

Балки

Передачик

Голос

9. Май 1944 г. Край света

Числа

Май

Преследование (снова)

«Лунный свет»

Антенна

Большой Клод

Boulangerie

Грот

Агорафобия

Ничего

Сорок минут

Девушка

Домик

Числа

Море огня

Арест Этьена Леблана

7 августа 1944 г.

Листовки

10. 12 августа 1944 г.Заживо погребенные

Форт-Насиональ

Последние слова капитана Немо

Посетитель

Финал

Музыка № 1

Музыка № 2

Музыка № 3

Наружу

Платяной шкаф

Товарищи

Одновременность мгновений

Ты здесь?

Вторая банка

«Птицы Америки»

Прекращение огня

Шоколад

Свет

11. 1945 г.Берлин

Париж

12. 1974 г.Фолькхаймер

Ютта

Вещмешок

Сен-Мало

Лаборатория

Гостья

Бумажный самолетик

Ключ

Море огня

Фредерик

13. 2014 г.

Благодарности

notes1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

* * *

Энтони Дорр

Весь невидимый нам свет

Anthony Doerr

ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE Copyright

© 2014 by Anthony Doerr All rights reserved

© Е. Доброхотова-Майкова, перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Венди Вейль 1940-2012

В августе 1944 года древняя крепость Сен-Мало, ярчайшая драгоценность Изумрудного берега Бретани, была почти полностью уничтожена огнем... Из 865 зданий остались лишь 182, да и те были в той или иной степени повреждены.

Филип Бек

0. 7 августа 1944 г.

Листовки

Под вечер они сыплются с неба, как снег. Летят над крепостными стенами, кувыркаются над крышами, кружат в узких улочках. Ветер метет их по мостовой, белые на фоне серых камней. «Срочное обращение к жителям! – говорится в них. – Немедленно выходите на открытую местность!»

Идет прилив. В небе висит ущербная луна, маленькая и желтая. На крышах приморских гостиниц к востоку от города американские артиллеристы вставляют в дула минометов зажигательные снаряды.

Бомбардировщики

Они летят через Ла-Манш в полночь. Их двенадцать, и они названы в честь песен: «Звездная пыль», «Дождливая погода», «В настроении» и «Крошка с пистолетом»[1]. Внизу поблескивает море, испещренное бесчисленными шевронами барашков. Скоро штурманы уже видят на горизонте низкие, озаренные луной очертания островов.

Франция.

Хрипит внутренняя связь. Осторожно, почти лениво, бомбардировщики сбрасывают высоту. От пунктов ПВО на побережье тянутся вверх ниточки алого света. Внизу видны остовы кораблей; у одного взрывом полностью снесло нос, другой еще догорает, слабо мерцая в темноте. На том острове, что дальше всех от берега, между камнями мечутся перепуганные овцы.

В каждом самолете бомбардир смотрит в люк прицела и считает до двадцати. Четыре, пять, шесть, семь. Крепость на гранитном мысу все ближе. В глазах бомбардиров она

похожа на больной зуб – черный и опасный. Последний нарыв, который предстоит вскрыть.

Девушка

В узком и высоком доме номер четыре по улице Воборель на последнем, шестом этаже шестнадцатилетняя незрячая Мари-Лора Леблан стоит на коленях перед низким столом. Вся поверхность стола занимает макет – миниатюрное подобие города, в котором она стоит на коленях, сотни домов, магазинов, гостиниц. Вот собор с ажурным шпилем, вот шато Сен-Мало, ряды приморских пансионатов, утыканных печными трубами. От Пляж-дю-Моль тянутся тоненькие деревянные пролеты пирса, рыбный рынок накрыт решетчатым сводом, крохотные скверики уставлены скамейками; самые маленькие из них не больше яблочного семечка.

Мари-Лора проводит кончиками пальцев по сантиметровому парапету укреплений, очерчивая неправильную звезду крепостных стен – периметр макета. Находит проемы, из которых на море смотрят четыре церемониальные пушки. «Голландский бастион, – шепчет она, спускаясь пальцами по крошечной лесенке. – Рю-де-Кордьер. Рю-Жак-Картье».

В углу комнаты стоят два оцинкованных ведра, по края наполненные водой. Наливай их при любой возможности, учил ее дедушка. И ванну на третьем этаже тоже. Никогда не знаешь, надолго ли дали воду.

Она возвращается к шпилю собора, оттуда на юг, к Динанским воротам. Весь вечер Мари-Лора ходит пальцами по макету. Она ждет двоюродного дедушку Этьена, хозяина дома. Этьен ушел вчера ночью, пока она спала, и не вернулся. А теперь снова ночь, часовая стрелка описала еще круг, весь квартал тих, и Мари-Лора не может уснуть.

Она слышит бомбардировщики за три мили. Нарастающий звук, как помехи в радиоприемнике. Или гул в морской раковине.

Мари-Лора открывает окно спальни, и рев моторов становится громче. В остальном ночь пугающе тиха: ни машин, ни голосов, ни шагов по мостовой. Ни воя воздушной тревоги. Даже чаек не слышно. Только за квартал отсюда, шестью этажами ниже, бьет о городскую стену прилив.

И еще один звук, совсем близко.

Какое-то шуршанье. Мари-Лора шире открывает левую створку окна и проводит рукой по правой. К переплету прилип бумажный листок.

Мари-Лора подносит его к носу. Пахнет свежей типографской краской и, может быть, керосином. Бумага жесткая – она недолго пробыла в сыром воздухе.

Девушка стоит у окна без туфель, в одних чулках. Позади нее спальня: на комодке разложены раковины, вдоль плинтуса – окатанные морские камешки. Трость в углу; большая брайлевская книга, раскрытая и перевернутая корешком вверх, ждет на кровати. Гул самолетов нарастает.

Юноша

В пяти кварталах к северу белобрысый восемнадцатилетний солдат немецкой армии Вернер Пфенниг просыпается от тихого дробного гула. Даже скорее жужжания – как будто где-то далеко бьются о стекло мухи.

Где он? Приторный, чуть химический запах оружейной смазки, аромат свежей стружки от новеньких снарядных ящиков, нафталиновый душок старого покрывала – он в гостинице. L'hôtel des Abeilles – «Пчелиный дом».

Еще ночь. До утра далеко.

В стороне моря свистит и грохает – работает зенитная артиллерия.

Капрал ПВО бежит по коридору к лестнице. «В подвал!» – кричит он. Вернер включает фонарь, убирает одеяло в вещмешок и выскакивает в коридор.

Не так давно «Пчелиный дом» был приветливым и уютным: яркие синие ставни на фасаде, устрицы на льду в ресторане, за барной стойкой официанты-бретонцы в галстуках-бабочках протирают бокалы. Двадцать один номер (все с видом на море), в вестибюле – камин размером с грузовик. Здесь пили аперитивы приехавшие на выходные парижане, а до них – редкие эмиссары республики, министры, заместители министров, аббаты и адмиралы, а еще столетиями раньше – обветренные корсары: убийцы, грабители, морские разбойники.

А еще раньше, до того как здесь открыли гостиницу, пять веков назад, в доме жил богатый капер, который бросил морской разбой и занялся изучением пчел в окрестностях Сен-Мало; он записывал наблюдения в книжечку и ел мед прямо из сот. Над парадной дверью до сих пор сохранился дубовый барельеф со шмелями; замшелый фонтан во дворе сделан в форме улья. Вернеру больше всего нравятся пять потускневших фресок на потолке самого большого номера верхнего этажа. На голубом фоне раскинули прозрачные крылышки пчелы размером с ребенка – ленивые трутни и пчелы-работницы, – а над шестиугольной ванной свернулась трехметровая царица с фасетчатыми глазами и золотистым пушком на брюшке.

За последние четыре недели гостиница преобразилась в крепость. Отряд австрийских зенитчиков заколотил все окна, перевернул все кровати. Вход укрепили, лестницы заставили снарядными ящиками. На четвертом этаже, где из зимнего сада с французскими балконами открывается вид на крепостную стену, поселилась дряхлая зенитная пушка по имени «Восемь-восемь»[2], стреляющая девятикилограммовыми снарядами на пятнадцать километров.

«Ее величество», называют австрийцы свою пушку. Последнюю неделю они ухаживали за нею, как пчелы – за царицей: заправили ее маслом, смазали механизм, покрасили ствол, разложили перед ней мешки с песком, словно приношения.

Царственная «ахт-ахт», смертоносная монархиня, должна защитить их всех.

Вернер на лестнице, между цоколем и первым этажом, когда «Восемь-восемь» делает два выстрела подряд. Он еще не слышал ее с такого близкого расстояния; звук такой, будто пол-отеля снесло взрывом. Вернер оступается, зажимает уши. Стены дрожат. Вибрация прокатывает сперва сверху вниз, затем – снизу вверх.

Слышно, как двумя этажами выше австрийцы перезаряжают пушку. Свист обоих снарядов постепенно затихает – они уже километрах в трех над океаном. Один солдат поет. Или

не один. Может, они все поют. Восемь бойцов люфтваффе, из которых через час никого не останется в живых, поют любовную песню своей царице.

Вернер бежит через вестибюль, светя под ноги фонарем. Зенитка грохает в третий раз, где-то близко со звоном разбивается окно, сажа сыплется в каминной трубе, стены гудят, как колокол. У Вернера такое чувство, что от этого звука у него вылетят зубы.

Он открывает дверь в подвал и замирает на миг. Перед глазами плывет.

– Это оно? – спрашивает он. – Они правда наступают?

Однако ответить некому.

Сен-Мало

В домах вдоль улиц просыпаются последние неэвакуированные жители, постанывают, вздыхают. Старые девы, проститутки, мужчины старше шестидесяти лет. Копуши, коллаборационисты, скептики, пьяницы. Монахини самых разных орденов. Бедняки. Упрямыцы. Слепые.

Некоторые спешат в бомбоубежища. Другие говорят себе, что это учебная тревога. Кто-то мешкает, чтобы забрать одеяло, молитвенник или колоду карт.

День «Д» был два месяца назад. Шербур освобожден. Кан освобожден, Ренн тоже. Половина Западной Франции освобождена. На востоке советские войска отбили Минск, в Варшаве подняла восстание польская Армия Крайова. Некоторые газеты, осмелев, предполагают, что в ходе войны наступил перелом.

Однако никто не говорит такого здесь, в последней цитадели Германии на бретонском побережье.

Здесь, шепчутся местные, немцы расчистили двухкилометровые катакомбы под средневековыми стенами, проложили новые тоннели, выстроили подземный оборонительный комплекс невиданной мощи. Под полуостровным фортом Сите через реку от Старого города одни помещения целиком заполнены снарядами, другие бинтами. Говорят, там есть даже подземный госпиталь, где предусмотрено все: вентиляция, двухсоттысячелитровая цистерна воды и прямая телефонная связь с Берлином. На подступах установлены мины-ловушки и доты с перископами; боеприпасов хватит, чтобы обстреливать море день за днем в течение года.

Говорят, там тысяча немцев, готовых умереть, но не сдаться. Или пять тысяч. А может, и больше.

Сен-Мало. Вода окружает город с четырех сторон. Связь с Францией – дамба, мост, песчаная коса. Мы малуэны в первую очередь, говорят местные. Во вторую – бретонцы. И уже в последнюю – французы.

В грозные ночи гранит светится голубым. В самый высокий прилив море затапливает подвалы домов в центре города. В самый низкий отлив из моря выступают обросшие ракушками остовы тысяч погибших кораблей.

За три тысячелетия полуостров видел много осад.

Но такой – ни разу.

Бабушка берет на руки расшумевшегося годовалого внука. В километре от нее, в проулке неподалеку от церкви Сен-Серван, пьяный мочится на ограду и замечает листовку. В листовке написано: «Срочное обращение к жителям! Немедленно выходите на открытую местность!»

С внешних островов бьет зенитная артиллерия, большие немецкие орудия в Старом городе дают очередной залп, а триста восемьдесят французов, запертые в островной крепости Форт-Насиональ, смотрят в небо из залитого лунным светом двора.

После четырех лет оккупации, что несет им рев бомбардировщиков? Освобождение? Гибель?

Треск пулеметных очередей. Барабанные раскаты зениток. Десятки голубей срываются со шпиля собора и кружат над морем.

Дом № 4 по улице Воборель

Мари-Лора Леблан в спальне нюхает листовку, которую не может прочесть. Воют сирены. Она закрывает ставни и задвигает шпингалет на окне. Самолеты все ближе. Каждая секунда – упущенная секунда. Надо бежать вниз, на кухню, откуда через люк можно залезть в пыльный погреб, где хранятся изъеденные мышами ковры и старые сундуки, которые никто давно не открывал.

Вместо этого она возвращается к столику и встает на колени перед макетом города.

Вновь находит пальцами крепостную стену, Голландский бастион и ведущую вниз лесенку. Вот из этого окна в настоящем городе женщина каждое воскресенье вытрясает половики. Из этого окна мальчишка как-то крикнул Мари-Лоре: «Смотри, куда прешь! Ты что, слепая?»

В домах дребезжат стекла. Зенитки дают новый залп. Земля еще чуть-чуть успевает повернуться вокруг своей оси.

Под пальцами Мари-Лоры миниатюрная улица д'Эстре пересекает миниатюрную улицу Воборель. Пальцы сворачивают вправо, скользят вдоль дверных проемов. Первый, второй, третий. Четвертый. Сколько раз она так делала?

Дом номер четыре: древнее семейное гнездо, принадлежащее ее двоюродному деду Этьену. Дом, где Мари-Лора живет последние четыре года. Она на шестом этаже, одна во всем здании, и к ней с ревом несутся двенадцать американских бомбардировщиков.

Мари-Лора вдавликает крохотную парадную дверь, освобождая внутреннюю защелку, и дом отделяется от макета. У нее в руке он размером примерно с отцовскую сигаретную пачку.

Бомбардировщики уже так близко, что пол под коленями вибрирует. За дверью тренькают хрустальные подвески люстры над лестницей. Мари-Лора поворачивает трубу домика на девяносто градусов. Потом сдвигает три досочки, составляющие крышу, и поворачивает

снова.

На ладонь выпадает камень.

Он холодный. Размером с голубиное яйцо. А по форме – как капля.

Мари-Лора зажимает домик в одной руке, а камень – в другой. Комната кажется зыбкой, ненадежной, будто исполинские пальцы протыкают стены.

– Папа? – шепчет она.

Подвал

Под вестибюлем «Пчелиного дома» в скале был вырублен корсарский подвал. За ящиками, шкафами и досками, на которых висят инструменты, стены – голый гранит. Потолок удерживают три мощных бруса: столетия назад лошадиные упряжки волоком притащили их из древнего бретонского леса.

Под потолком горит единственная голая лампочка, по стенам дрожат тени.

Вернер Пфенниг сидит на складном стуле перед верстаком, проверяет, насколько заряжены батареи, затем надевает наушники. Станция приемопередающая, в стальном корпусе, со шестидесятисантиметровой диапазонной антенной. Она позволяет связываться с такой же станцией в гостинице наверху, с двумя другими зенитными установками в Старом городе и с подземным командным пунктом по другую сторону реки.

Станция гудит, разогреваясь. Корректировщик огня читает координаты, зенитчик их повторяет. Вернер трет глаза. В подвале у него за спиной громоздятся реквизированные ценности: скрученные в рулоны ковры, большие напольные часы, шифоньеры и огромных размеров масляный пейзаж, весь в мелких трещинках. На полке напротив Вернера – восемь или девять гипсовых голов. Их назначение для него загадка.

По узкой деревянной лестнице, пригибаясь под брусьями, спускается рослый здоровяк обер-фельдфебель Франк Фолькхаймер. Он ласково улыбается Вернеру, садится в обитое золотистым шелком кресло с высокой спинкой и кладет винтовку на колени. Ноги у него такие мощные, что винтовка кажется непропорционально маленькой.

– Началось? – спрашивает Вернер.

Фолькхаймер кивает. Затем выключает свой фонарь и в полутьме хлопает на удивление красивыми длинными ресницами.

– Сколько это продлится?

– Недолго. Мы тут в полной безопасности.

Инженер Бернд приходит последним. Он маленький, косоглазый, с жидкими бесцветными волосами. Бернд закрывает за собой дверь, задвигает засовы и садится на лестницу. Лицо мрачное. Трудно сказать, что это – страх или решимость.

Теперь, когда дверь закрыта, вой воздушной тревоги звучит куда тише. Лампочка над

головой мигает.

Вода, думает Вернер, я забыл воду.

С дальнего края города доносится зенитная пальба, потом наверху вновь оглушительно стреляет «Восемь-восемь», и Вернер слушает, как снаряды свистят в небе. С потолка сыплется пыль. В наушниках пение австрийцев:

...auf d'Wulda, auf d'Wulda, da scheint d'Sunn a so gulda... [3]

Фолькхаймер сонно скребет пятно на брюках. Бернд греет дыханием замерзшие руки. Станция, хрипя, сообщает скорость ветра, атмосферное давление, траектории. Вернер вспоминает дом. Вот фрау Елена, наклонившись, завязывает ему шнурки на двойной бантик. Звезды за окном спальни. Младшая сестра Ютта сидит, завернувшись в одеяло, к левому уху прижат радионаушник.

Четырьмя этажами выше австрийцы заталкивают в дымящийся ствол «Восемь-восемь» еще снаряд, проверяют угол горизонтального наведения и зажимают уши, однако Вернер внизу слышит лишь радиоголоса своего детства. «Богиня истории взглянула с небес на землю. Лишь в самом жарком пламени может быть достигнуто очищение». Он видит лес высохших подсолнухов. Видит, как с дерева разом взлетает стая дроздов.

Бомбежка

Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Под люком прицела несется море, затем крыши. Два самолета поменьше отмечают коридор дымом, первый бомбардировщик сбрасывает бомбы, а за ним и остальные одиннадцать. Бомбы падают наискось. Самолеты стремительно уходят вверх.

Ночное небо испещряют черные черточки. Двоюродный дедушка Мари-Лоры, запертый вместе с сотнями других мужчин в Форт-Насионале, в нескольких сотнях метров от берега, смотрит вверх и думает: «Саранча». Из затянутых паутиной дней в воскресной школе звучат ветхозаветные слова: «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно».

Орды демонов. Горох из мешка. Сотни разорванных четок. Метафор тысячи, и ни одна не может этого передать: сорок бомб на самолет, всего четыреста восемьдесят штук, тридцать две тонны взрывчатых веществ.

На город накатывает лавина. Ураган. Чашки спрыгивают с буфетных полок, картины срываются с гвоздей. Через долю секунды сирены уже не слышны. Ничего не слышно. Грохот такой, что могут лопнуть барабанные перепонки.

Зенитки выпускают последние снаряды. Двенадцать бомбардировщиков, невредимые, уносятся в синюю ночь.

В доме номер четыре по улице Воборель Мари-Лора, забившись под кровать, прижимает к груди камень и макет дома.

В подвале «Пчелиного дома» гаснет единственная лампочка.

1. 1934 г.

Национальный музей естествознания

Мари-Лоре Леблан шесть лет. Она высокая, веснушчатая, живет в Париже, и у нее быстро садится зрение. Отец Мари-Лоры работает в музее; сегодня там экскурсия для детей. Экскурсовод – старый горбун сам немногим выше ребенка – стучит по полу тростью, требуя внимания, затем ведет маленьких посетителей через сад в галереи.

Дети смотрят, как рабочие блоками поднимают окаменелую бедренную кость динозавра. Видят в запаснике чучело жирафа с проплешинами на спине. Заглядывают в ящики таксидермистов, где лежат перья, когти и стеклянные глаза. Перебирают листы двухсотлетнего гербария с орхидеями, ромашками и лекарственными травами.

Наконец они поднимаются на шестнадцать ступеней в Минералогическую галерею. Экскурсовод показывает им бразильский агат, аметист и метеорит на подставке. Метеориту, объясняет он, столько же лет, сколько Солнечной системе. Затем они гуськом спускаются по двум винтовым лестницам и проходят несколько коридоров. Перед железной дверью с единственной замочной скважиной горбун останавливается.

– Экскурсия закончена, – говорит он.

– А что там? – спрашивает одна из девочек.

– За этой дверью другая запертая дверь, чуть меньше.

– А за ней?

– Третья запертая дверь, еще меньше.

– А за ней?

– Четвертая дверь, и пятая, и так далее, до тринадцатой запертой двери не больше башмака.

Дети подаются вперед.

– А дальше?

– А за тринадцатой дверью... – экскурсовод изящно взмахивает сморщенной рукой, – Море огня.

Дети заинтриговано топчутся на месте.

– Неужто вы не слышали про Море огня?

Дети мотают головой. Мари-Лора щурится на голые лампочки, висящие на потолке через каждые два с половиной метра. Для нее каждая лампочка окружена радужным ореолом.

Экскурсовод вешает трость на запястье и потирает руки:

– История долгая. Хотите выслушать долгую историю?

Они кивают.

Он откашливается:

– Столетия назад, на острове, который мы сейчас называем Борнео, царевич, сын тамошнего султана, подобрал в русле пересохшей реки красивый голубой камешек. На обратном пути царевича настигли вооруженные всадники, и один из них пронзил ему кинжалом сердце.

– Пронзил сердце?

– Это правда?

– Тсс, – цыкает мальчик.

– Разбойники забрали его кольца, коня и все остальное, однако не заметили голубого камешка, зажатого в кулаке. Умиравший царевич сумел доползти до дому. Там он пролежал без сознания девять дней, а на десятый, к изумлению сиделок, сел и разжал кулак. На ладони лежал голубой камень... Лекари султана говорили, что это чудо, что после такой раны выжить нельзя. Сиделки сказали, что, возможно, камень обладает целительной силой. А ювелиры султана сообщили кое-что еще: этот камень – алмаз невиданных прежде размеров. Лучший камнерез страны гранил его восемьдесят дней, а когда закончил, все увидели синий бриллиант – синий, как тропическое море, но с красной искоркой в середине, словно в капле воды пылает огонь. Султан повелел вставить алмаз в корону царевича. Говорят, когда тот сидел на троне, озаренный солнцем, на него невозможно было смотреть, – казалось, будто сам юноша обратился в свет.

– А это точно правда? – спрашивает девочка.

Мальчик снова на нее цыкает.

– Алмаз называли Морем огня. Иные верили, что царевич – божество и, пока он владеет камнем, его нельзя убить. Однако начало происходит нечто странное: чем дольше царевич носил корону, тем больше несчастий на него валилось. В первый же месяц один его брат утонул, а другой умер от укуса ядовитой змеи. Не прошло и полугода, как его отец заболел и скончался. А в довершение беды лазутчики донесли, что с востока к границам страны движется огромное вражеское войско... Царевич призвал к себе отцовских советников. Все сказали, что надо готовиться к войне, а один жрец сообщил, что видел сон. Во сне богиня земли сказала ему, что создала Море огня в дар своему возлюбленному, богу моря, и отправила ему по реке. Однако река пересохла, царевич забрал камень себе, и богиня разгневалась. Она прокляла камень и того, кто им владеет.

Все дети подаются вперед, и Мари-Лора тоже.

– Проклятие состояло в том, что владелец камня будет жить вечно, но, куда алмаз у него, на всех, кого он любит, будут сыпаться несчастья.

– Жить вечно?

– Однако, если владелец бросит алмаз в море, куда он изначально предназначался, богиня снимет проклятие. Царевич – теперь уже султан – думал три дня и три ночи и наконец решил оставить камень себе. Однажды алмаз спас ему жизнь. Молодой султан верил, что камень делает его неуязвимым. Он повелел отрезать жрецу язык.

– Ой, – говорит самый маленький мальчик.

– Большая ошибка, – замечает самая высокая девочка.

– Враги захватили страну, – продолжает экскурсовод, – разрушили дворец, убили всех, кого нашли. Молодого султана с тех пор никто не видел, и двести лет о Море огня не было ни слуху ни духу. Некоторые говорили, что его разрезали на множество бриллиантов поменьше, другие – что он по-прежнему у царевича, который живет то ли в Японии, то ли в Персии под видом смиренного землепашца, но не старится... Шло время. И вот однажды французскому торговцу, приехавшему в Индию на алмазные копи Голконды, показали огромный бриллиант грушевидной огранки. В сто тридцать три карата. Почти безупречной чистоты. «С голубиное яйцо, – писал торговец, – синий, как море, но с огненно-алым нутром». Он сделал с камня слепок и отправил в Лотарингию герцогу, помешанному на драгоценных камнях, предупредив, что по легенде алмаз проклятый. Однако герцог все равно непременно хотел его заполучить. Торговец привез камень в Европу, герцог вставил свое приобретение в набалдашник трости и стал ходить с ним повсюду.

– Ой-ой.

– В тот же месяц герцогиня умерла от болезни горла. Двое любимых слуг герцога упали с крыши и расшиблись насмерть, его единственный сын погиб на охоте. Сам герцог теперь боялся выходить из дому и принимать гостей, хотя, по общим уверениям, выглядел здоровее обычного. Наконец он убедил себя, что все дело в проклятии, и попросил короля запереть злосчастный камень в музее с условием, что алмаз поместят в специально изготовленный сейф и двести лет не будут его открывать.

– И что дальше?

– И с тех пор прошло сто девяносто шесть лет.

Мгновение все дети молчат. Некоторые считают на пальцах. Потом все разом тянут руки, как на уроке.

– Можно его увидеть?

– Нет.

– А хотя бы открыть первую дверь?

– Нет.

– А вы его видели?

– Нет.

– Откуда тогда известно, что он точно там?

– Надо верить преданию.

– А сколько он стоит, мсье? На него можно купить Эйфелеву башню?

– Такой крупный и редкий бриллиант стоит примерно как пять Эйфелевых башен.

Дети ахают.

– А все эти двери, чтобы воры до него не добрались?

– Скорее, – говорит старик и подмигивает, – двери нужны, чтобы проклятие не

выбралось наружу.

Дети замолкают. Двое или трое делают шаг назад.

Мари-Лора снимает очки, и мир расплывается.

– А почему бы не взять алмаз и не выбросить его в море? – спрашивает она.

Экскурсовод смотрит на нее и остальные дети тоже.

– Часто ли на твоих глазах выкидывают в море пять Эйфелевых башен? – спрашивает мальчик постарше.

Смех. Мари-Лора хмурится. Ничего особенного тут нет: просто железная дверь с бронзовой замочной скважиной.

Экскурсия заканчивается. Дети расходятся. В Большой галерее Мари-Лору встречает папа. Он поправляет очки у нее на носу, снимает с волос листок дерева.

– Тебе понравилось, ma chérie?[4]

Серый воробышек спархивает с балки и садится на плиты перед Мари-Лорой. Она протягивает раскрытую ладонь. Воробышек задумчиво вертит головой, затем улетает.

Месяц спустя она уже совсем ничего не видит.

Цольферайн

Вернер Пфенниг растет в пятиста километрах к северо-востоку от Парижа, в Цольферайне. Это угледобывающий комплекс площадью полторы тысячи гектаров неподалеку от Эссена в Германии – земля стали и антрацита, сплошь изрытая шахтами. Дымят трубы, поезда с вагонетками снуют по эстакадам, голые деревья торчат из терриконов, словно скелеты тянут из-под земли костлявые руки.

Вернер и его младшая сестра Ютта воспитываются в сиротском доме, двухэтажном кирпичном приюте на Викториастрассе. Здесь повсюду детский кашель, ор младенцев и старые чемоданы, в которых хранятся последние родительские пожитки: латаная одежда, почерневшие столовые приборы, выцветшие амбротипы[5] отцов, чью жизнь забрала шахта.

Ранние годы Вернера пришлись на самое голодное время. Перед воротами Цольферайна мужчины дерутся из-за работы, куриные яйца продают по два миллиона рейхсмарок за штуку, ревмокардит караулит детей, как голодный волк. Нет ни мяса, ни масла. Фруктов никто и не помнит. В худшие месяцы директрисе порой нечего дать подопечным на ужин, кроме лепешек на воде и горчичном порошке.

Однако семилетний Вернер счастлив. Он очень малорослый, у него торчащие уши, звонкий голос, а волосы такие белые, что встречные останавливаются в изумлении. Белые как снег, как молоко, как мел. Цвет, в котором нет цвета. Каждое утро Вернер зашнуровывает ботинки, запихивает в куртку газеты для тепла и отправляется исследовать мир. Он ловит снежинки, головастиков, лягушек. Выпрашивает у булочников хлеб, часто приходит домой с молоком для самых маленьких. И еще он все время

мастерит: коробки из бумаги, бипланы, игрушечные кораблики с настоящим рулем.

Каждые два дня он ошарашивает директрису вопросом, на который невозможно ответить: «Отчего бывает икота, фрау Елена?»

Или: «Если Луна такая большая, фрау Елена, отчего она кажется такой маленькой?»

Или: «Фрау Елена, а пчела понимает, что умрет, если ужалит?»

Фрау Елена – протестантская монахиня из Эльзаса и детей любит больше, чем порядок. Она скрипучим фальцетом поет французские народные песни, имеет слабость к хересу и часто засыпает стоя. Иногда она позволяет детям засиживаться допоздна и по-французски рассказывает им про свое детство в горах, про занесенные снегом дома, заиндевелые виноградники и пар от ручьев – про страну с рождественской открытки.

«А глухие слышат, как у них бьется сердце, фрау Елена?»

«А почему клей не приклеивается к флакону изнутри?»

Она засмеется. Взъерошит Вернеру волосы. Шепнет: «Тебе скажут, что ты маленький, Вернер. Что ты никто и ниоткуда. Будут говорить, чтобы ты ни о чем не мечтал. Но я в тебя верю. Я думаю, ты совершишь что-нибудь великое». И отправит его в постель, в тесный уголок, который Вернер сам для себя выбрал, – на чердаке, под мансардным окном.

Иногда они с Юттой рисуют. Сестра забирается к Вернеру на кровать, они лежат рядышком на животе и передают друг другу единственный карандаш. Ютта младше на два года, но из них двоих именно у нее – настоящий талант. Больше всего она любит рисовать Париж, который видела всего на одной фотографии, на задней обложке любовного романа (их читает фрау Елена). Там были островерхие многоэтажные дома в туманной дымке и ажурная башня на фоне неба. Ютта рисует белые высотки, причудливые мосты, стайки людей у реки.

Иногда после уроков Вернер катает сестренку по поселку в тележке, которую собрал из найденных на помойке деталей. Они громыхают по длинным щебнистым улицам, мимо одноэтажных домиков, мимо горящих мусорных баков, мимо безработных шахтеров, которые целыми днями сидят на перевернутых ящиках, неподвижные, как статуи. Одно колесо постоянно слетает; Вернер терпеливо встает на колени и привинчивает его обратно. Вторая смена бредет на работу, первая возвращается домой – ссутуленные голодные люди с синими носами, лица под касками – словно черные черепа. «Здравствуйте! – кричит Вернер. – Добрый день!» Но шахтеры обычно просто проходят мимо, возможно даже не видя его. Их взгляды устремлены в землю, экономический кризис маячит у них за спиной, словно суровая геометрия заводов.

Вернер с Юттой роются в кучках блестящей черной пыли, взбираются на горы ржавеющих механизмов. Рвут ежевику с куста и одуванчики в поле. Иногда они находят в мусорных ящиках картофельные очистки или зеленую морковь, в другой раз им попадается оберточная бумага, годная для рисования, или тюбик с остатками зубной пасты, которую можно выдавить, высушить и превратить в мелки. Изредка Вернер довозит Ютту до самого входа в Девятую шахту, самую большую из всех. Она светится, как зажигательная горелка в газовой колонке, грохочет без остановки, над ней пятиэтажный копер, тросы раскачиваются, дробилка гремит, люди кричат, во все стороны раскинулся искусственный ландшафт из рифленого железа, вагонетки выезжают из-под земли, шахтеры с тормозками в руках тянутся ко входу в комбинат, словно насекомые в освещенную ловушку.

– Вон там, внизу, – шепчет Вернер сестре, – погиб наш отец.

Уже в сумерках он молча везет сестренку по узким улочкам Цольферайна: двое

белобрысых детей в низинном краю угольной пыли и копоти спешат доставить свои жалкие сокровища в дом номер три по Викториастрассе, где фрау Елена перед горячей печкой устало поет французскую колыбельную плачущему младенцу на руках, а рядом другой малыш теревит завязки ее фартука.

Ключная

Врожденная катаракта. Двусторонняя. Неизлечимая. «Видишь это? – спрашивают врачи. – А это?» Мари-Лора уже ничего в своей жизни не увидит. Самые знакомые места – их с папой четырехкомнатная квартира, скверик в конце улицы – превратились в опасные лабиринты. Шкафы не там, где думаешь. Унитаз – бездонная яма. стакан с водой то слишком близко, то слишком далеко, пальцы слишком большие, всегда слишком большие.

Что такое слепота? Там, где должна быть стена, руки проваливаются в пустоту. Там, где должна быть пустота, ударяешься ногой о ножку стола. На улицах рычат машины, листья шелестят в небе, кровь стучит в ушах. На лестнице, в кухне, даже подле ее кровати взрослые голоса звучат скорбно.

– Бедное дитя.

– Бедный мсье Леблан.

– Сколько несчастий на одного. Его отец погиб на войне, жена умерла в родах. А теперь это.

– Как будто на них проклятье.

– Гляньте на нее. Гляньте на него.

– Отправил бы ее в приют.

Месяцы синяков и страха: полы качаются, как палуба, приоткрытые двери бьют по лицу. Единственное спасение – в постели, укрывшись одеялом до под бородка, покуда отец сидит рядом, курит сигарету за сигаретой и мастерит свой очередной макет: тук-тук-тук, стучит молоток, уютно и мерно вжикает шкурка.

* * *

В конце концов отчаяние отступает. Мари-Лора еще очень маленькая, а ее отец очень терпелив. Он объясняет, что проклятия – выдумка. Может быть, есть везенье и невезенье. Один день чуть удачней, другой – наоборот. А вот проклятий не бывает.

Шесть раз в неделю отец будит ее до рассвета. Она стоит, расставив руки, он ее одевает. Чулки, платье, кофта. Если позволяет время, он велит ей самой завязать шнурки. Потом они вместе пьют на кухне крепкий горячий кофе. Папа разрешает Мари-Лоре класть столько сахара, сколько она захочет.

В шесть сорок она цепляется сзади за отцовский ремень, берет из угла белую трость, и они вместе проходят четыре лестничных пролета и шесть кварталов до музея.

Ровно в семь папа отпирает вход номер два. Внутри пахнет знакомо: лентой для пишущих машинок, мастикой для пола, каменной пылью. Под привычное эхо шагов они проходят по Большой галерее. Отец здоровается с ночным сторожем, потом со зрителем. Каждое утро они обмениваются все теми же двумя словами: бонжур, бонжур.

Два поворота налево, один направо. Бренчат отцовские ключи. Замок щелкает.

В ключной, в шести шкафах со стеклянными дверцами, висят тысячи ключей: болванки, универсальные сувальдные, ключи с бородкой, полые, плоские и рифленные, ключи от лифтов и ключи от шкафов. Есть большие, с руку Мари-Лоры, а есть совсем маленькие, короче ее мизинца.

Папа Мари-Лоры – главный ключный мастер Национального музея естествознания. Он говорит, что, считая лаборатории, запасники, четыре отдельных здания, зверинец, оранжереи, ботанический сад, десятки ворот и павильонов, в музейном комплексе примерно двенадцать тысяч замков, а с ним не поспоришь, поскольку никто не знает эти замки лучше его.

Все утро он стоит перед шкафами и раздает ключи. Первыми приходят служители зоопарка. В восемь – наплыв зрителей, за ними подтягиваются техники, библиотекари, лаборанты. Научные сотрудники обычно последние. На всех ключах – пронумерованные цветные бирки. Каждый работник, от смотрительницы зала до директора, обязан постоянно носить ключ при себе. Нельзя выходить из своего помещения без ключа, нельзя оставлять ключ на столе. Как-никак в музее хранится бесценный нефрит тринадцатого века, ярко-синий индийский кавансит и родохрозит из Колорадо. Под замком, который сделал папа Мари-Лоры, стоит флорентийская лазуритовая чаша, и специалисты едут за тысячи миль, чтобы на нее посмотреть.

Папа все время задает ей вопросы. Мари, это ключ от врезного замка, от навесного или от засова? Проверяет, помнит ли она расположение витрин и содержимое шкафов. Постоянно вкладывает ей в руку что-нибудь неожиданное: лампочку, окаменелую рыбу, перо фламинго.

По часу каждое утро – даже в воскресенье – папа заставляет ее сидеть над брайлевским учебником. «А» – одна точка в верхнем углу. «Б» – две точки одна под другой. Жан. Купил. Булку. Жан. Купил. Сыр.

Потом он вместе с ней совершает обход музея. Смазывает защелки, чинит витрины, полирует накладку врезных замков. Они с Мари-Лорой идут из зала в зал, из галереи в галерею. Узкие коридоры ведут в огромные библиотеки, стеклянные двери – в оранжереи, где пахнет землей, мокрыми газетами, лобелиями. Столярные мастерские и кабинеты таксидермистов, километры стеллажей и ящиков с образцами, целые музеи внутри музея.

Иногда он оставляет Мари-Лору в лаборатории доктора Жеффара, старенького специалиста по моллюскам, у которого борода всегда пахнет сырым деревом. Доктор Жеффар бросает свои дела, откупоривает бутылку красного вина и слабым голосом принимается рассказывать про места, где побывал в молодости: Сейшельские острова, Белиз, Занзибар. Он называет ее Лореттой; каждый день в три он ест жареную утку; его мозг хранит бесчисленное множество двойных латинских названий.

У дальней стены в кабинете доктора Жеффара стоят шкафы. Ящичков в них больше, чем Мари-Лора может сосчитать. Доктор Жеффар позволяет ей выдвигать их все и брать в руки раковины: трубачи, оливиды, волюты империалис с Таиланда, лямбусы из Полинезии, – в музее более десяти тысяч образцов, больше половины известных на

земле видов, и Мари-Лора подержала в руках почти все.

– А вот эта лиловая раковина, Лоретта, принадлежала янтине – слепой морской улитке, которая всю жизнь живет на поверхности моря. Когда личинка вырастет, она вспенивает воду, чтобы получились пузырьки, и слизью склеивает из них плот. Дальше она плывет, куда гонят волны, и ловит мелких морских беспозвоночных. Но если плота не станет, она утонет...

Раковина каринарии одновременно легкая и тяжелая, твердая и мягкая, гладкая и шероховатая. Мурексами, которые доктор Жеффар держит у себя на столе, можно заниматься по полчаса, исследуя ребристые завитки, гребни и глубокое входное отверстие. Это целый лес шипов, ямок, бугорков – отдельное царство.

Мари-Лора все время что-нибудь трогает, гладит, изучает. У чучела синички невероятно мягкие перышки на грудке, а клюв – как иголка. Пыльца на тычинках тюльпана на самом деле не пыль, а маслянистые шарики. Ощупать что-нибудь по-настоящему – кору платана в саду, жука-оленья на булавке в отделе энтомологии, гладкую, словно лакированную, внутреннюю сторону морского гребешка в кабинете доктора Жеффара – значит полюбить.

Дома, по вечерам, папа ставит их обувь в один уголок, вешает их плащи на один крюк. Мари-Лора проходит по шести шершавым полоскам, наклеенным на кухонную плитку, и оказывается у стола; оттуда протянут шнур, по которому она добирается до уборной. Папа подает еду на круглой тарелке и рассказывает, где что лежит, как если бы тарелка была циферблатом. Картошка на шести часах, та chépie, шампиньоны на трех. Потом закуривает и идет точить свои макеты на верстаке в углу кухни. Он строит макет всего их района: домики с витринами, водосточные желоба, lavéie, boulangerie[6] и скверик с четырьмя скамейками и десятью деревьями. Теплыми вечерами Мари-Лора распахивает окно спальни и слушает, как тихая и мирная ночь ложится на балконы, фронтоны и печные трубы, пока дома на улице и макеты на отцовском верстаке не сливаются в одно.

По вторникам музей закрыт. Мари-Лора с отцом спят допоздна, пьют сладкий-пресладкий кофе. Идут гулять в Пантеон, или на цветочный рынок, или вдоль Сены. Довольно часто заходят в книжную лавку. Папа дает ей в руки словарь, газету, журнал с фотографиями.

– Сколько тут страниц, Мари-Лора?

– Пятьдесят две? – говорит она, проведя пальцем по обрезу. Или: – Семьсот пять? – Или: – Сто тридцать девять?

Папа убирает ей волосы за уши, берет ее на руки и поднимает высоко-высоко. Говорит, что она его émerveillement[7]. И что он никогда-никогда ее не оставит, даже и через миллион лет.

Радиоприемник

Вернеру восемь, и он роется в мусоре за складским навесом, когда ему попадается что-то вроде катушки. Это обмотанная проволокой трубка, зажата между двумя деревянными дисками. Сверху болтаются три проводка, из них один – с наушником.

Шестилетняя Ютта (круглое личико под шапкой белых волос) сидит на корточках рядом с братом.

– Что это?

– По-моему, – отвечает Вернер, чувствуя себя так, будто перед ним вдруг распахнули райскую кладовую, – мы нашли приемник.

До сих пор он видел радиоприемники лишь издали: большой полированный за тюлевыми занавесками в доме у важного начальника, портативный в шахтерском общежитии и еще один в доме при церкви.

Они с Юттой относят приемник в дом номер три по Викториаштрассе и разглядывают под электрической лампочкой. Протирают дочиста, распутывают проводки, смывают с наушника грязь.

Приемник не работает. Другие дети подходят, стоят за спиной и дивятся, затем теряют интерес и решают, что чинить тут нечего. Однако Вернер уносит его к себе на чердак и возится с ним много часов. Отсоединяет все, что можно отсоединить, раскладывает детали на полу, одну за другой подносит их к свету.

Три недели спустя, солнечным днем, когда все другие цольферайнские дети на улице, он замечает, что самая длинная проволока, та, что намотана на катушку, в нескольких местах порвана. Медленно, аккуратно Вернер разматывает ее, уносит весь запутанный комок вниз и просит Ютту держать куски, пока он их будет соединять. Затем наматывает проволоку обратно.

– Давай попробуем, – шепчет Вернер, прижимает наушник к уху и двигает вдоль катушки то, что представляется ему рычажком настройки.

Треск. Потом из наушника вылетает череда согласных. У Вернера екает сердце – голос словно отдается у него в голове, глубоко внутри.

Звук обрывается так же, как возник. Вернер сдвигает рычажок на полсантиметра. Опять треск. Еще на полсантиметра. Ничего.

На кухне фрау Елена месит тесто. На улице кричат мальчишки. Вернер водит рычажком взад-вперед.

Треск, треск.

Он уже хочет протянуть наушник Ютте, когда – примерно на середине катушки – слышит чистейший звук смычка по скрипичной струне. Вернер пытается удержать рычажок на том же месте. Вступает вторая скрипка. Ютта придвигается ближе. Она смотрит на брата огромными глазами.

За скрипками гонится фортепьяно. Затем деревянные духовые. Скрипки мчат вперед, духовые поспевают следом. Вступают еще какие-то инструменты. Флейты? Арфы? Мелодия летит и как будто кружится.

– Вернер? – шепчет Ютта.

Он не может ответить из-за слез. Комната вроде бы такая же, как всегда: две колыбели под двумя латинскими крестами, за открытой дверцей печки клубится зола, десятки слоев краски лупятся с плитуса. Над раковиной – вышитая крестиком заснеженная деревушка фрау Елены. Однако теперь ко всему этому добавилась музыка. В голове у Вернера играет невидимый крохотный оркестр.

Комната как будто вращается. Сестра настойчивее окликает его по имени, и Вернер

прижимает наушник к ее уху.

– Музыка, – говорит он, изо всех сил стараясь удержать рычажок на месте.

Сигнал слабый, до наушника сантиметров пятнадцать, и Вернер не слышит даже отзвука музыки. Зато он видит лицо сестры – оно неподвижно, только вздрагивают ресницы. На кухне фрау Елена поднимает белые от муки руки и внимательно смотрит на Вернера. Двое мальчишек постарше вбегают с улицы и замирают, ощутив какую-то перемену. А маленький приемник с четырьмя клеммами и болтающейся антенной стоит на полу, словно чудо.

Отведи нас домой

Обычно у Мари-Лоры получается открыть деревянные коробочки-головоломки, которые папа дарит ей на день рождения. Чаще всего они в форме домиков, а внутри какая-нибудь приятная мелочь. Чтобы их открыть, нужно проделать ряд шагов: отыскать пальцами шов, сдвинуть дно, отсоединить боковую планку, достать из-под нее ключик, отпереть крышку – и найти браслетик.

На седьмой день рождения посреди стола вместо сахарницы стоит деревянное шале. Мари-Лора выдвигает спрятанный в основании ящичек, находит за ним потайное отделение, вынимает оттуда деревянный ключик и вставляет его в трубу. Внутри – плитка швейцарского шоколада.

– Четыре минуты, – со смехом говорит папа. – На следующий год мне надо будет потрудиться побольше.

А вот макет района, в отличие от головоломок, долго не дается ее пониманию. Он совсем не похож на реальный мир. Например, перекресток рю-де-Мирбель и рю-Монж совсем не такой, как настоящий в квартале от их дома. Настоящий – амфитеатр звуков и запахов; осенью он пахнет машинами и касторкой, хлебом из пекарни, камфарой из аптеки Авена, мышиным горошком, дельфиниумом и розами из цветочного ларька. Зимой над ним плывет аромат жареных каштанов, летом он становится медленным и сонным: слышны неторопливые голоса и скрежет тяжелых железных стульев на тротуаре.

В папином макете тот же перекресток пахнет лишь опилками и высохшим клеем. Его улицы пусты, мостовые статичны; под пальцами Мари-Лоры они – не более чем сильно уменьшенная неточная копия. И все равно папа заставляет Мари-Лору вновь и вновь водить пальцами по макету, узнавать дома, запоминать углы между улицами. И как-то в холодный декабрьский вторник, когда Мари-Лора слепа уже больше года, отец доходит с ней по улице Кювье до ботанического сада.

– Вот, ma chérie, дорога, которой мы ходим каждый день. Впереди, за кедрами, Большая галерея.

– Знаю, папа.

Он берет ее за плечи и несколько раз поворачивает на месте:

– А теперь ты отведешь нас домой.

Она от растерянности открывает рот.

– Вспоминай макет, Мари.

– Не могу!

– Я на шаг позади тебя. Я прослежу, чтобы ничего плохого не случилось. У тебя есть трость. И ты знаешь, где мы.

– Не знаю!

– Знаешь.

Отчаяние. Мари-Лора не знает даже, где сад: позади или впереди.

– Успокойся, Мари. Давай по сантиметрику.

– Это так далеко, папа. Не меньше шести кварталов.

– Ровно шесть. Думай. В какую сторону нам идти?

Мир гремит и кружится. Каркают вороны, скрипят тормоза, слева кто-то стучит по металлу – может быть, молотком. Мари-Лора идет маленькими шажками, пока трость не повисает в воздухе. Край тротуара? Пруд, лестница, обрыв? Она поворачивает на девяносто градусов. Три шажка вперед, и трость упирается в стену.

– Папа?

– Я здесь.

Шесть шагов. Семь. Восемь. И тут их накрывает грохотом насоса: крысоморильщик вышел из дома и брызгает отравой. Еще через двенадцать шагов звенит колокольчик на двери магазина, выходят две женщины, толкают Мари-Лору.

Она роняет трость и начинает плакать.

Папа берет ее на руки, прижимает к узкой груди.

– Город такой большой... – шепчет она.

– Ты справишься, Мари.

Она знает, что не справится.

Жизнь меняется

Пока другие дети играют на улице в классики или купаются в канале, Вернер сидит один на чердаке и экспериментирует с приемником. Через неделю он может разобрать и собрать его с закрытыми глазами. Конденсатор, катушка индуктивности, катушка настройки, наушник. Один провод к заземлению, другой – вверх. Еще ничто в его жизни не было таким понятным и логичным.

Он находит на помойке обрезки медного провода, винтики, погнутую отвертку.

Выпрашивает у жены аптекаря сломанный наушник. Достает соленоид из выброшенного дверного звонка, припаивает его к резистору и делает громкоговоритель. За месяц ему удается целиком переделать приемник: добавить новые детали и подключить к питанию.

Всякий раз, как Вернер выносит приемник в общую комнату, фрау Елена разрешает своим питомцам слушать по часу. Они находят новости, концерты, оперы, хоры, народные представления. Сидят полукругом – десяток детей и фрау Елена, маленькая и худенькая, как ребенок.

«Мы живем в великое время, – говорит радио. – Мы не жалуемся. Мы твердо упрямся ногами в землю, и ни один враг нас не сдвинет».

Старшие девочки любят музыкальные конкурсы, радиогимнастику, «Советы влюбленным», от которых младшие дети хихикают. Мальчики любят театральные постановки, новости, военные марши. Ютта любит джаз. Вернер любит все. Скрипки, рожки, барабаны, речи – губы у микрофона на каком-то далеком, но вдохновляющем мероприятии – все завораживает его своим волшебством.

«Мудрено ли, – спрашивает радио, – что немецкий народ ощущает все больше отваги, уверенности, оптимизма? Не пламя ли новой веры встает из этой жертвенной готовности?»

И впрямь, Вернер видит, что жизнь меняется. Добыча угля выросла, безработица снизилась. Теперь по воскресеньям на обед мясо: говядина, свинина, сосиски. Роскошь, о которой год назад никто и не мечтал. Фрау Елена покупает новый диван, обитый оранжевым вельветом, и плиту с черными конфорками. Из Берлинской консистории присылают три новые Библии. К черной двери подвозят паровой котел для прачечной. У Вернера новые штаны, у Ютты – туфельки. В соседних домах звонят телефоны.

Как-то по пути из школы Вернер останавливается перед аптекой и прижимается носом к витрине. Там маршируют с полсотни штурмовиков. У каждой трехсантиметровой фигурки коричневая рубашка с красной повязкой на рукаве. Есть трубачи и барабанщики, несколько офицеров на лоснящихся вороных конях. Над ними гипнотически кружит на проволоке заводной самолет с деревянными поплавками и вращающимся винтом. Вернер долго смотрит через стекло, пытаясь понять, как устроена игрушка.

Осень тридцать шестого года, вечер. Вернер приносит радиоприемник в общую комнату и ставит на комод. Другие дети ерзают в предвкушении. Приемник гудит, разогреваясь. Вернер отступает на шаг и сует руки в карманы. Из динамика звучит детский хор. «У нас одна мечта: труд, труд, труд, доблестный труд на благо страны». Затем передают государственную радиопостановку из Берлина: историю о том, как в деревню ночью проникли захватчики.

Все двенадцать детей слушают не дыша. Захватчики в пьесе – носатые лавочники, ювелиры-мошенники, бесчестные банкиры; они продают блестящие, ни на что не годные побрякушки и отнимают работу у деревенских ремесленников. Они замышляют убить немецких детей, пока те спят. Однако бдительный сосед-бедняк разоблачает их замысел и вызывает полицию. У полицейских красивые, звучные голоса. Они выламывают двери и забирают захватчиков. Играет патриотический марш. Все снова счастливы.

Свет

Вторник за вторником ей не удается найти дорогу домой. Она уводит отца на шесть кварталов в другую сторону, злится и впадает в отчаяние. Однако зимой на восьмом году жизни у Мари-Лоры, к ее изумлению, начинает получаться. Она водит пальцами по макету в кухне, считает скамейки, деревья, фонарные столбы, подъезды и каждый день обнаруживает новые детали. У каждой канализационной решетки, парковой скамейки, водоразборной колонки есть аналог в большом мире.

Мари-Лора приводит отца все ближе к дому. Четыре квартала, три квартала, два. Потом все-таки сбивается. А однажды снежным мартовским вторником папа уводит ее на очередное новое место, почти у набережной Сены, трижды поворачивает и говорит: «Отведи нас домой». И тут Мари-Лора впервые понимает, что ей не страшно.

Она садится на корточки на тротуаре.

Железистый запах падающего снега. Успокойся. Слушай.

По улице несутся машины, звонко расплескивая лужи, талая вода бежит по стокам, снег сыплется в кронах деревьев. Мари-Лора за полкилометра ощущает запах кедров в ботаническом саду. Под тротуаром шумит метро. Это набережная Сен-Бернар. Ветки колышутся на ветру, стучат одна об другую. Это узкая полоска сада за Палеонтологической галереей. Значит, они на углу набережной Сен-Бернар и улицы Кювье.

Шесть кварталов, сорок домов, десять крохотных деревьев в сквере. Эта улица пересекает ту, потом ту. По сантиметрику.

Отец бренчит ключами в кармане. Впереди высокие дома по краю сада, их можно узнать по гулкому эху.

– Мы пойдем налево, – говорит Мари-Лора.

Они идут по улице Кювье. Три утки, хлопая крыльями в унисон, летят им навстречу к реке, и Мари-Лоре кажется, что она ощущает, как свет ложится на птицу, на каждое перышко отдельно.

Направо, на улицу Жоффруа Сент-Илера. Теперь налево, на улицу Добантона. Три канализационные решетки, четыре, пять. Сейчас слева будет ограда, ее прутья – как большая птичья клетка.

Впереди булочная, мясная лавка, кулинария.

– Машин нет, папа?

– Да, переходи.

Направо. Потом прямо. Они идут уже по своей улице, Мари-Лора точно знает, что это так. В шаге за ней папа запрокидывает голову и широко улыбается небу. Мари-Лора знает – хотя он у нее за спиной и молчит и хотя она слепая, – что папин шарф съехал набок, что его густые волосы мокры от снега и взъерошены и что он улыбается, подставив лицо снежинкам.

Они на середине рю-де-Патриарш. У своего дома. Мари-Лора находит рукой ствол каштана, который растет за ее окном четвертого этажа, щупает кору.

Старый друг.

Тут папа хватает ее под мышки и начинает кружить. Мари-Лора улыбается, а папа смеется звонким заразительным смехом, который ей хочется запомнить на всю жизнь. Отец и дочь кружатся на тротуаре перед домом и хохочут, а снег сыплется сквозь

ветки дерева над головой.

Наше знамя реет впереди!

Весной того года, когда Вернеру исполнилось девять, двое мальчиков из сиротского дома – тринадцатилетний Ганс Шильцер и четырнадцатилетний Герриберт Помзель – закидывают за спину старенькие рюкзаки и строевым шагом уходят в лес. Возвращаются они уже членами гитлерюгенда.

Они мастерят себе рогатки и копья, устраивают учебные засады за сугробами. Присоединяются к агрессивной компании шахтерских сыновей, которые сидят на рыночной площади, в рубашках с закатанными рукавами и поддернутых шортах. «Добрый вечер! – кричат они прохожим. – Или хайль Гитлер, если предпочитаете!»

Ганс и Герриберт взяли ножницы и сделали друг другу одинаковые стрижки. Они борются в общей комнате и хвастаются, что готовятся к учебным стрельбам. Рассказывают, как будут летать на планерах и наводить танковые орудия. «Наше знамя – новая пора, – поют Ганс и Герриберт. – Наше знамя в вечность нас ведет». За едой они укоряют младших детей за то, что тем нравится что-нибудь иностранное: реклама английского автомобиля, французская книжка с картинками.

Фрау Елена все реже говорит по-французски в присутствии Ганса и Герриберта. Она стала стесняться своего акцента. Во взглядах соседей ей чудится неприязнь.

Вернер молчит. Прыгать через костры, рисовать золой круги под глазами, дразнить малышню? Комкать Юттины рисунки? Куда лучше держаться незаметно. Вернер читает в аптеке популярные журналы: его интересуют турбулентия, тоннели к центру земли, нигерийский способ передавать сообщения барабанным боем. Он покупает тетрадку и рисует планы камеры Вильсона, ионного детектора, рентгеновских очков. Что, если к колыбели приделать электромоторчик для укачивания младенца? Или натянуть между осями тележки пружину, чтобы легче было втаскивать ее по склону?

Чиновник из министерства труда приходит в сиротский дом рассказать о работе на шахтах. Дети, в лучшей одежде, сидят и слушают. Все мальчики, говорит чиновник, по достижении пятнадцати лет пойдут добывать уголь. Без исключения. Он говорит о величии труда, о том, как им повезло, что у них гарантированно будет работа. Потом берет радиоприемник Вернера и, ничего не сказав, ставит обратно. У Вернера такое чувство, будто потолок опустился, а стены сдвинулись.

Его отец там, в миле под домом. Тело так и не нашли. Дух до сих пор бродит по тоннелям.

– Ваша земля, – говорит чиновник, – создает могущество нашей нации. Сталь, уголь, кокс. Без Цольферайна нет Берлина, Франкфурта, Мюнхена. Вы – фундамент нового порядка. Вы даете снаряды его орудиям, броню его танкам.

Ганс и Герриберт замороженно глядят на кожаную кобуру чиновника. На комодке бормочет радио Вернера.

Оно говорит: В эти три года фюреру достало смелости обратиться к Европе, которой угрожает крах...

И еще оно говорит: Ему одному мы обязаны тем, что для немецких детей немецкая жизнь вновь обрела радость и смысл.

Вокруг света за восемьдесят дней

Шестнадцать шагов до фонтана, шестнадцать обратно. Сорок два до лестницы, сорок два обратно. Мари-Лора составляет карты в голове, разматывает сотни метров воображаемой бечевки, затем поворачивает и сматывает их обратно. Ботаника пахнет клеем, промокательной бумагой, засушенными растениями. Палеонтология – каменной и костной пылью. Биология – формалином и вялеными фруктами; она полна очень тяжелыми холодными банками, в которых плавают то, что Мари-Лора знает только по рассказам: бледные клубки гремучих змей, отрезанные руки горилл. Энтомология пахнет тем, что, по словам доктора Жеффара, зовется нафталином. Кабинеты пахнут копиркой, или сигарным дымом, или коньяком, или духами. Иногда всем сразу.

Мари-Лора ходит вдоль проводов и труб, перил и канатов, оград и тротуаров. Пугает людей. Она никогда не знает, светло сейчас или темно.

Другие дети засыпают ее вопросами. Это больно? Ты закрываешь глаза во сне? Как ты узнаешь, который час?

Не больно, объясняет она. И это не темнота в том смысле, в каком им представляется. Все состоит из паутин, решеток, звуков и осязаемых поверхностей. Мари-Лора ходит кругами по Большой галерее, ориентируясь по скрипу половиц. Она слышит шаги на музейной лестнице, плач маленького ребенка, вздох, с которым усталая бабушка опускается на скамейку.

Другим людям невдомек, что ее мир полон красок. В воображении Мари-Лоры, в ее снах все цветное. Музейные здания бежевые, каштановые, кофейные. Научные сотрудники – лиловые, лимонно-желтые, морковно-рыжие. Фортепьянные аккорды из репродуктора на посту охраны долетают до ключной мастерской бархатисто-черными и ажурно-синими отсветами. Колокольный звон – бронзовые дуги, которые отражаются от окон. Пчелы серебристые. Голуби кирпичные, охристые, иногда золотистые. Большой кипарис, мимо которого Мари-Лора с отцом проходят утром, – калейдоскоп, каждая его иголка – многогранное сверкание.

Маму она не помнит, но представляет ее белой, беззвучной и сияющей. Папа лучится тысячами цветов: молочно-белым, травяно-зеленым, огненно-алым, от него исходят запахи металла и смазки, ощущение встающих на место сувальд, мелодичный перезвон ключей. Он оливково-зеленый, когда говорит с начальником отдела, все более ярких оттенков оранжевого, когда беседует с мадемуазель Флери из оранжереи, красный, когда пытается готовить. Вечерами, почти неслышно напевая при работе за верстаком, он лучится сапфировым светом, а кончик его сигареты мерцает кристаллически-голубым.

Мари-Лора часто теряется, и тогда секретарши или биологи (один раз даже заместитель директора) отводят ее в ключную мастерскую. Она любопытная; хочет знать разницу между мхом и лишайником, между *Diplodon charruanus* и *Diplodon delodontus*. Знаменитые люди водят ее за руку по саду и помогают ей подняться по лестнице.

– У меня тоже есть дочка, – говорят они. Или: – Я нашел ее среди колибри.

– *Toutes mes excuses*[8], – говорит ее отец. Закуривает. Вынимает из карманов один

ключ за другим. Шепчет: – Что мне с тобою делать?

На девятый день рождения Мари-Лора, проснувшись, находит два подарка. Первый – деревянная коробочка без единой щелки. Мари-Лора долго крутит ее в руках, прежде чем догадывается вдавить одну грань, и та отскакивает на пружине. Внутри – кубик камамбера, который Мари-Лора со смехом отправляет в рот.

– Слишком легко! – смеется папа.

Второй подарок тяжелый, обернут в бумагу и перевязан бечевкой. Внутри – большая книга со спиральным переплетом. Шрифтом Брайля.

– Мне сказали, это для мальчиков. Или для девочек, которые очень любят приключения.

По голосу слышно, что папа улыбается.

Мари-Лора скользит пальцами по титульному листу. Вокруг. Света. За. Восемьдесят. Дней.

– Папа, это слишком дорого.

– Вот уж не твоя забота.

В то утро Мари-Лора заползает под стол в ключной мастерской и, лежа на животе, двигает всеми десятью пальцами по строчкам. Французский кажется старомодным, шрифт – непривычно мелкий. Однако через неделю она уже читает с легкостью. Находит ленточку, которая служит закладкой, открывает книгу, и музей исчезает.

Загадочный мистер Фогг живет по часам – не человек, а машина. Жан Паспарту нанимается к нему слугой. Через два месяца, дочитав книгу до конца, Мари-Лора вновь открывает ее на первой странице и начинает сначала. Вечерами она ведет пальцами по отцовскому макету, трогает колокольню, витрину и воображает, как герои Жюль Верна идут по улицам, разговаривают в магазинах, сантиметровой пекарь достает из печи булки размером с песчинки, трое крохотных преступников медленно проезжают мимо ювелирной лавки, составляя план ограбления, автомобильчики катят по рю-де-Мирбель, дворники шуршат по их стеклам. В миниатюрной квартире на рю-де-Патриарш миниатюрная версия ее отца сидит за миниатюрным верстаком, точно как в жизни, обрабатывает шкуркой мельчайший кусочек дерева; напротив него миниатюрная девочка, худенькая и сообразительная, на коленях у нее раскрытая книга, в груди бьется что-то огромное, бесстрашное, исполненное надежд и устремлений.

Профессор

– Поклянись, – говорит Ютта. – Клянешься?

Среди ржавых жестянок, рваных велосипедных камер, червяков и грязи на дне овражка она нашла пять метров медной проволоки. Ее глаза сияют.

Вернер смотрит на деревья, на овражек, потом снова на сестру:

– Клянусь.

Вместе они приносят проволоку домой и протягивают через дырки от гвоздей на кровле за чердачным окном. Другой конец прикрепляют к приемнику. И почти сразу на коротких волнах слышно, как кто-то говорит на странном шипяще-свистящем языке.

– Это русский?

Вернер говорит, что, наверное, венгерский.

В душной полутьме Ютта смотрит на брата огромными глазами:

– А далеко до Венгрии?

– Тысяча километров, наверное.

Ютта ахает.

Оказывается, голоса текут в Цольферайн со всего континента, через облака, угольную пыль, крышу. Весь воздух пронизан ими. Ютта нарисовала на бумаге шкалу, такую же, какую Вернер сделал на катушке приемника, и тщательно записывает название каждого города, который им удастся поймать. «Верона 65», «Дрезден 88», «Лондон 100». Рим. Париж. Лион. Ночные коротковолновые передачи. Время бездельников и мечтателей, безумцев и пустомель.

После молитвы и отбоя Ютта тайком убегает к брату на чердак. Теперь они не рисуют, а лежат, прижавшись друг к дружке, и слушают до полуночи, до часу, до двух. Британскую новостную передачу, в которой не понимают ни слова, женщину из Берлина, которая рассказывает, как правильно накладывать макияж для вечернего приема.

Как-то Вернер с Юттой ловят передачу, в которой молодой человек по-французски рассказывает про свет. Он говорит быстро, выразительно:

Разумеется, дети, мозг погружен во тьму. Он плавает в жидкости внутри черепной коробки, куда никогда не попадает свет. И все же мир, выстраиваемый в мозгу, полон цвета, красок, движения. Так как же мозг, живущий среди вечной тьмы, выстраивает для нас мир, полный света?

Хрип помех. Треск.

– Что это? – спрашивает Ютта.

Вернер не отвечает. Голос у француза бархатистый, произношение совсем другое, чем у фрау Елены, но речь такая пылкая, такая гипнотизирующая, что Вернер понимает каждое слово. Француз рассказывает про оптические иллюзии, про электромагнетизм. Помехи, треск, как будто переворачивают пластинку, затем француз начинает говорить про уголь:

Представьте себе кусок угля в вашей семейной печке. Видите его, дети? Когда-то он был зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос миллион лет назад. А может, не миллион, а два или даже сто миллионов лет назад. Можете вообразить сто миллионов лет? Каждое лето своей жизни растение ловило листьями свет и преобразовывало его в себя: в кору, побеги, стебель. Потому что растения едят свет, как мы едим пищу. Потом оно умерло и упало, возможно в воду, и со временем превратилось в торф. Торф лежал под землей годы и годы – эпохи, в сравнении с которыми месяц, десятилетие, вся ваша жизнь – пшик, щелчок пальцами. Торф высох, окаменел, потом его выкопали, а угольщик привез к вам домой, и, может быть, вы сами отнесли его к печке. И теперь солнечный свет, которому сто миллионов лет, согревает ваш дом.

Время замедлилось. Чердак исчез. Ютта исчезла. Никто и никогда не говорил так

Вернеру о том, что ему интереснее всего.

Откройте глаза, заканчивает голос, и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки. Потом вступает фортепьяно. Звучит одинокая мелодия, от которой у Вернера такое чувство, будто золотая лодка скользит по темной реке. Черда аккордов преобразует Цольферайн; дома растаяли, фабричные трубы рухнули, шахты заполнились землей, улицы заливают древнее море, воздух дышит обещаниями чудес.

Море огня

По парижскому музею порхают слухи – яркие и красочные, словно шелковые платки. Руководство-де планирует выставить некий драгоценный камень, который стóит больше, чем все остальные экспонаты.

Мари-Лора слышит, как один таксидермист говорит другому:

– Говорят, этот камень из Японии и очень древний. В одиннадцатом веке он принадлежал сёгуну.

– Я слышал, – отвечает второй таксидермист, – что он из наших запасников. Хранился в музее с давних пор, но по каким-то юридическим причинам его нельзя было выставлять.

Сперва это друза редкой разновидности гидромагнезита, потом – звездчатый сапфир, о который можно обжечься. Потом становится алмазом, алмазом без всяких сомнений. Некоторые называют его Пастушьим камнем, другие – Хон-Ма, однако вскоре остается только одно название – Море огня.

Мари-Лора думает: прошло четыре года.

– Он приносит несчастье всем, кому принадлежит, – говорит служитель на вахте. – Я слышал, все девять его прежних хозяев покончили с собой.

Второй голос возражает:

– Я слышал, если коснуться его рукой без перчатки, умрешь в течение недели.

– Нет, нет. Пока ты им владеешь, ты не можешь умереть, но все твои близкие гибнут в течение месяца. Или года.

– Вот бы мне его! – со смехом произносит третий голос.

У Мари-Лоры бешено стучит сердце. Ей десять лет, и на черный экран своего воображения она может спроецировать что угодно: яхту под парусами, фехтовальный поединок, играющий красками Колизей. Она читала «Вокруг света за восемьдесят дней», пока брайлевский шрифт не стал мягким, неразборчивым. В этом году папа подарил ей на день рождения еще более толстую книгу – «Трех мушкетеров» Дюма.

Мари-Лора слышит, что алмаз бледно-зеленый, размером с пуговицу от пальто. Потом – что со спичечный коробок. Через день он уже синий, с кулак младенца. Она представляет, как разгневанная богиня ходит по музею, испуская отравленные облака проклятий. Отец говорит ей не придумывать. Камни – просто камни, дождь – просто

дождь, а злой рок – просто стечение обстоятельств. Некоторые предметы – просто очень редкие, поэтому их и держат под замком.

– Но ты, папа, в него веришь?

– В камень или в проклятие?

– И в то и в другое.

– Это просто рассказы, Мари.

Однако, как только происходит что-нибудь дурное, сотрудники шепчутся, что причина – в камне. Свет выключился на час – виноват камень. Протечка трубы уничтожила целый стеллаж гербариев – виноват камень. Жена директора поскользнулась на обледенелой площади Вогезов и сломала запястье в двух местах – тут уж машина музейных слухов просто взорвалась.

Примерно в те же дни отца Мари-Лоры вызывают наверх, в кабинет директора. Он проводит там два часа. Когда еще на ее памяти его вызывали к директору на два часа? Никогда.

Чуть ли не сразу отец начинает работать в Минералогической галерее. В течение недели он возит туда на тачке разные инструменты из ключной мастерской. Задерживается долго после закрытия музея, а когда возвращается в мастерскую, от него пахнет опилками и припоем. Всякий раз, как Мари-Лора просит разрешения пойти с ним, он говорит, что лучше ей посидеть в ключной с брайлевскими учебниками или подняться в лабораторию моллюсков.

За завтраком она пристаёт к нему с разговорами:

– Ты делаешь специальную витрину для того алмаза. Этаким прозрачный сейф.

Отец закуривает.

– Пожалуйста, возьми свою книгу, Мари. Нам пора идти.

Доктор Жеффар тоже уходит от ответа:

– Ты знаешь, как растут алмазы, Лоретта? И вообще кристаллы? Микроскопические слои в несколько тысяч атомов нарастают каждый месяц. Тысячелетие за тысячелетием. Так же накапливаются легенды. Все старые камни обрастают легендами. Может быть, камешек, который так тебя занимает, видел разграбление Рима Аларихом. Может быть, им любовались фараоны или скифские царицы плясали ночи напролет, украсив им прическу. Может быть, из-за него начинались войны.

– Папа говорит, проклятия – сказки, придуманные, чтобы отпугнуть воров. Он говорит, в музее шестьдесят пять миллионов экспонатов и, если найти правильного наставника, все они одинаково интересны.

– И все же, – замечает доктор Жеффар, – некоторые предметы действуют особенно сильно. Жемчужины. Левозакрученные раковины. Даже у лучших ученых возникает соблазн что-нибудь прикарманить. Удивительно, что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым. Настолько дорогим. Только самые сильные духом могут побороть эти чувства.

С минуту они оба молчат, потом Мари-Лора говорит:

– Я слышала, этот алмаз – словно частица света из первоначального мира. До грехопадения. Частица света, излитого на землю Богом.

– Ты хочешь знать, как он выглядит. Тебе любопытно.

Мари-Лора катает в ладонях мурекса. Подносит к уху. Десять тысяч ящичков, десять тысяч шепотков в десяти тысячах раковин.

– Нет, – говорит она. – Я хочу быть уверена, что папа даже близко к нему не подойдет.

Откройте глаза

Вернер и Ютта находят ту передачу снова и снова. Всегда после отбоя, всегда на середине программы.

А сегодня, дети, подумаем, какие сложные механизмы должны включиться у вас в голове, чтобы вы почесали бровь...

Они слушают программу про морских животных, потом – про Северный полюс. Ютте особенно понравилось про магниты, Вернеру – про свет: затмения, солнечные часы, северное сияние и длину волн. Как мы называем видимый свет? Мы называем его цветами. Однако электромагнитный спектр начинается от ноля и продолжается до бесконечности, так что на самом деле, дети, количественно весь свет – невидимый.

Вернер любит сидеть на чердаке и воображать радиоволны как струны в милю длиной, которые изгибаются и вибрируют над Цольферайном, летят через леса, через города, сквозь стены. В полночь они с Юттой выискивают в ионосфере этот звучный, проникновенный голос, а когда находят, Вернеру чудится, будто он попал в иной пласт бытия, туда, где возможны великие открытия, а сирота из шахтерского поселка в силах разрешить какую-нибудь важнейшую загадку физического мира.

Они с сестрой повторяют опыты, о которых рассказывает француз: делают моторные лодки из спичек, магниты из швейных иголок.

– Почему он не рассказывает, где он?

– Может, не хочет, чтобы мы знали?

– По голосу он богатый. И одинокий. Я уверена: он ведет передачу из огромного дома, который больше всего нашего поселка. В доме тысяча окон и тысяча слуг.

– Может быть, – улыбается Вернер.

Голос, потом снова фортепьяно. Может, Вернеру мерещится, но вроде бы каждый раз программа слышна все хуже, как будто француз вещает с медленно удаляющегося корабля.

Неделю за неделей, лежа рядом с уснувшей Юттой, Вернер смотрит в ночное небо, и его мучительно тянет прочь. Там, за коксохимическими заводами, за воротами, – жизнь. Там люди бьются над важными задачами. Вернер воображает себя рослым инженером в белом халате: вот он ходит по лаборатории, котлы кипят, механизмы урчат, по стенам развешены сложные графики. Он берет фонарь, поднимается по винтовой лестнице в озаренную звездами обсерваторию и смотрит в окуляр огромного телескопа,

направленного в черноту.

Затишье

Может, старый экскурсовод спятил. Может, никакого Моря огня никогда не было. А может, проклятие – выдумки, и прав отец: Земля – просто магма, литосфера и океаны. Камни – просто камни, дождь – просто дождь, а злой рок – просто стечение обстоятельств.

Отец больше не задерживается в Минералогической галерее допоздна. Вскоре он уже вновь берет Мари с собой, отправляясь по делам, подшучивает над тем, сколько сахара она кладет в кофе, спорит со зрителями, чья марка сигарет лучше. Никакого нового сверкающего алмаза в экспозиции не появляется. На сотрудников музея не нападает мор. Мари-Лору не кусает ядовитая змея, она не проваливается в канализационный люк и не ломает себе шею.

Утром своего одиннадцатилетия она находит на месте сахарницы два завернутых в бумагу предмета. Первый – лакированный деревянный куб, целиком состоящий из сдвижных панелей. Чтобы открыть его, нужно проделать тринадцать операций, и Мари-Лора находит их последовательность за пять минут.

– Господи! – восклицает ее отец. – Да тебе впору сейфы вскрывать!

Внутри куба две карамельки. Мари-Лора разворачивает их и кладет в рот обе сразу.

Во второй упаковке толстая стопка бумажных листов с брайлевским шрифтом на обложке. Двадцать. Тысяч. Лье. Под. Водой.

– Книготорговец говорит, книга в двух томах. Это первый. Думаю, на следующий год, если по-прежнему будем откладывать каждый месяц, сможем купить и второй.

Мари-Лора тут же принимается читать. Рассказчик, знаменитый морской биолог Пьер Аронакс, работает в том же музее, что и ее отец! Он узнает, что по всему миру гибнут корабли, пропоротые неведомым тараном. После научной экспедиции в Америку Аронакс гадает, что было истинной причиной крушений. Блуждающий риф? исполинский нарвал? мифический морской змей?

«Но я предаюсь мечтаниям, с которыми мне приличествовало бы бороться! – пишет Аронакс. – Прочь, порождение фантазии!»[9]

Весь день Мари-Лора лежит на животе и читает. Логика, разум, чистая наука – вот, по словам Аронакса, путь к решению загадки. Никаких сказок! Ее пальцы канатоходцами бегут по натянутой проволоке предложений. В мечтах она уже на палубе быстроходного двухтрубного фрегата «Авраам Линкольн», видит, как удаляется Нью-Йорк, а форты Нью-Джерси салютуют из самых больших орудий. Бакены, отмечающие фарватер, качаются на волнах. Два плавучих маяка остаются позади, а впереди лежит темный мерцающий простор Атлантического океана.

Принципы механики

В сиротский дом приезжает замминистра с женой. Фрау Елена говорит, они инспектируют детские приюты.

Все умыты и ведут себя тихо. Дети шепчутся, что, может быть, их хотят усыновить. Старшие девочки раскладывают пумперникель[10] и гусиную печенку на последние необколотые тарелки. Толстый замминистра и его строгая жена озирают комнату, словно знатные господа, заглянувшие в грязный крестьянский домишко. Наконец ужин подан. Вернер сидит на мальчишеской стороне стола, с книгой на коленях. Ютта вместе с другими девочками – напротив. Волосы у нее белые-пребелые и вьются мелким бесом, будто наэлектризованные.

Благослови нас, о Боже, и сии дары Твои. Фрау Елена добавляет молитву о здравии замминистра. Все принимаются за еду.

Дети нервничают. Даже Ганс Шильцер и Герриберт Помзель, в своих коричневых рубашках, ведут себя смирно. Жена замминистра сидит так прямо, словно ее хребет вырезан из дуба.

Ее муж спрашивает:

– И все дети помогают готовить?

– Конечно. Клаудиа, например, пекла хлеб. А близняшки жарили печенку.

Большая Клаудиа Фёрстер краснеет. Близняшки опускают глаза.

Вернер отвлекается. Он думает о книге у себя на коленях, «Принципах механики» Генриха Герца. Она лежала в подвале церкви, подмокшая, старая, никому не нужная, и настоятель разрешил Вернеру забрать ее домой, а фрау Елена не запретила, и в следующие недели Вернер продирался через непонятную математику. Он узнал, что электричество само по себе может быть статичным, но добавь магнетизм, и тут же появится движение – волны. Поля и контуры, индукция и проводники. Пространство, время, масса. Воздух пронизывает столько всего невидимого! Вот бы научиться видеть инфракрасное излучение, и ультрафиолет, и радиоволны в темнеющем небе, прошивающие стены дома.

Он поднимает глаза и замечает, что все смотрят на него. У фрау Елены лицо встревоженное.

– Это книга, господин заместитель министра.

Ганс Шильцер хватает «Принципы механики» у Вернера с колен. Том такой тяжелый, что Гансу приходится держать его двумя руками.

Жена замминистра сводит брови, так что морщины между ними становятся глубже.

У Вернера кровь приливает к щекам.

Замминистра протягивает пухлую руку.

– Это еврейская книга? – спрашивает Герриберт Помзель. – Она ведь еврейская, да?

Фрау Елена как будто хочет что-то сказать, но так ничего и не говорит.

– Герц родился в Гамбурге, – мямлит Вернер.

Ютта ни с того ни с сего объявляет:

– У моего брата очень хорошо с математикой. Гораздо лучше, чем у всех его одноклассников. Когда-нибудь он выиграет большую премию. Он говорит, мы с ним поедем в Берлин и будем учиться у великих ученых.

Младшие дети тарашат глаза, старшие фыркают. Вернер смотрит в тарелку. Замминистра, хмурясь, переворачивает страницы. Ганс Шильцер под столом бьет Вернера ногой.

– Помолчи, Ютта, – говорит фрау Елена.

Супруга замминистра берет на вилку кусок печенки, отправляет в рот, прожевывает, глотает и промакивает салфеткой уголки рта. Замминистра кладет «Принципы механики» на стол, отодвигает и смотрит на свои ладони, как будто они замараны. Он говорит:

– Твой брат, девочка, никуда не поедет. Как только ему исполнится пятнадцать, он пойдет на шахту. Точно так же, как остальные мальчики из этого дома.

Ютта стискивает зубы. Вернер смотрит на остывшую печенку. У него щиплет глаза и что-то сжимается в груди. До конца ужина слышно только, как дети отрезают печенку, жуют и глотают.

Слухи

Возникают новые слухи. Они шелестят по дорожкам ботанического сада, витают в музейных галереях, эхом отдаются в высоких темных бастионах, где старые сморщенные биологи изучают экзотические мхи. Слухи о немцах.

У них, говорит садовник, шесть тысяч десантных планеров. Их солдаты могут сутками маршировать без еды. Они заделывают детей каждой школьнице, которую встретят. Кассирша за билетной стойкой говорит, у немцев есть реактивные ранцы, чтобы летать, а их форма сшита из особой материи, которая крепче стали.

Мари-Лора сидит перед витриной с моллюсками и ловит разговоры посетителей.

Мальчик говорит:

– У них есть бомба под названием «Секретный сигнал». Она издает звук, и все, кто его слышит, накладывают в штаны!

Смех.

– Я слышал, они раздают отравленный шоколад.

– Я слышал, они забирают калек и сумасшедших.

Всякий раз, как Мари-Лора пересказывает отцу услышанное, тот говорит «Германия» с вопросительным знаком, будто впервые. Он говорит, что аншлюс Австрии – не повод волноваться. Что все помнят прошлую войну и нет сумасшедших развязывать новую. Директор не беспокоится, говорит он, и начальники отделов тоже, так что маленькой

девочке тем более надо не беспокоиться, а думать об уроках.

И впрямь, все по-прежнему, меняются только дни недели. Каждое утро Мари-Лора встает, одевается, вместе с отцом доходит до подъезда номер два и слышит обычные утренние приветствия ночного сторожа и смотрителя. Бонжур, бонжур. Бонжур, бонжур. Ученые и библиотекари с утра все так же забирают ключи, все так же изучают древние слонови бивни, экзотических медуз, гербарии. Секретарши все так же болтают о моде. Директор все так же подъезжает в двухцветном лимузине «деляж», в полдень чернокожие торговцы все так же тихо катят по залам тележки с бутербродами и так же шепчут: хлеб с яйцом, хлеб с яйцом.

Мари-Лора читает Жюль Верна в ключной, в уборной, в коридорах, на лавочках в Большой галерее и на бесчисленных дорожках в саду. Она прочитала первый том «Двадцати тысяч лье под водой» столько раз, что практически выучила наизусть.

Море – это все! Оно покрывает собою семь десятых земного шара... В лоне морей обитают невиданные, диковинные существа. Море – это вечное движение и любовь, вечная жизнь.

Ночью, под одеялом, она скользит по морю в «Наутилусе» капитана Немо, под волнами, среди разноцветных кораллов.

Доктор Жеффар говорит ей, как называются раковины – *Lambis lambis*, *Cypraea moneta*, *Lophiotoma acuta*, – и дает ощупать их ребра, устья, завитки. Он рассказывает про эволюционное древо и геологические периоды. Иногда ей удается вообразить бесконечность прошедших эпох, миллионы, десятки миллионов лет.

– Почти все когда-либо жившие виды вымерли, Лоретта. У человека нет никаких причин считать себя исключением! – говорит он почти торжествующе и наливает себе вина.

Мари-Лоре представляется, что его голова – шкаф с десятью тысячами ящичков.

Летом по саду плывут запахи крапивы, маргариток и дождя. Мари-Лора с отцом пекут грушевый пирог, и он подгорает. Отец распахивает окно, чтобы выпустить чад, и с улицы внизу доносятся звуки скрипки. Однако в начале осени, раз или два в неделю, сидя в ботаническом саду или читая рядом с отцовским верстаком, Мари-Лора вдруг поднимает глаза от книги и ей кажется, что в воздухе пахнет бензином. Словно на нее медленно, неуверенно надвигается мощный поток машин.

Больше, быстрее, лучше

Членство в молодежной организации становится обязательным. В дружине Вернера мальчики учатся ходить строем, сдают нормативы физподготовки. Шестьдесят метров надо пробежать за двенадцать секунд. Через слово: отечество, победы, слава, жертвенность.

«Живи верно, – скандируют мальчишки, маршируя мимо поселка. – Сражайся храбро, умри смеясь».

Уроки, домашние обязанности, тренировки. Ночами Вернер допоздна слушает радио или разбирается в математических формулах, которые успел переписать из «Принципов механики», пока их не изъяли. Он зевает за едой, срывается на младших детей.

– Ты не заболел? – спрашивает фрау Елена, заглядывая ему в лицо.

– Нет, – отвечает Вернер, пряча глаза.

Теории Герца интересны, но Вернеру больше нравится что-нибудь собирать, нравится, когда руки и мозг действуют сообща. Он починил большие напольные часы в приюте и швейную машину у соседки. Соорудил систему блоков, чтобы втаскивать высушенное белье с улицы, и простую сигнализацию из батарейки, звонка и проволоки, чтобы фрау Елена слышала, когда кто-нибудь из малышей пытается сбежать за дверь. Придумал машинку для резки моркови: нажимаешь рычажок, опускаются девятнадцать лезвий – и морковка распадается на двадцать аккуратных цилиндров.

Как-то у соседки сломался радиоприемник, и фрау Елена посоветовала той позвать Вернера. Он отвинчивает заднюю панель, проверяет лампы. Одна отошла, и Вернер вставляет ее на место. Приемник тут же оживает, соседка ахает от восторга. Вскоре незнакомые люди уже приходят в сиротский дом и спрашивают радиомастера. Когда к ним, моргая, спускается с чердака тринадцатилетний Вернер с самодельным ящиком для инструментов, всклокоченный и белобрысый, они скептически хмыкают.

Старые приемники чинить легче всего: у них простая схема, одинаковые лампы. Иногда надо удалить парафин, накапавший с конденсатора, иногда – почистить резистор. И даже в новейших приемниках Вернер обычно может понять, что сломалось. Он разбирает аппарат, смотрит на схему, прослеживает пальцами путь электронов. Источник питания, триод, резистор, катушка. Динамик. Мозг настраивается на задачу, из хаоса возникает порядок, поломка становится очевидной, и вскоре приемник уже починен.

Иногда Вернеру дают несколько марок. Иногда шахтерская жена варит ему сосиски или заворачивает в салфетку печенье для сестренки. Скоро Вернер уже может мысленно нарисовать карту расположения всех приемников в округе: самодельный детекторный у аптекаря на кухне, десятиламповая радиола у начальника отдела (она была током при попытке сменить программу). Даже в самых бедных шахтерских домах есть государственный приемник с орлом и свастикой – длинно- и средневолновый «Фолькс-Эмпфенгер VE301», на котором указаны только немецкие станции.

Радио приковывает миллионы ушей к одному рту. Рокочущий голос рейха, точно некое неколебимое дерево, тянется из динамиков по всему Цольферайну, и граждане приникают к его ветвям, словно к устам Бога. А когда Бог умолкает, людям срочно нужен радиомастер, чтобы голос зазвучал снова.

Семь дней в неделю шахтеры вытаскивают уголь на свет, где его дробят и загружают в коксовые печи, затем охлаждают в огромных тушильных башнях и везут в домны, где из руды выплавляют чугун, и в мартены, где из чугуна делают сталь; сталь разливают в формы, слитки грузят на баржи и отправляют в огромную голодную пасть страны. «Лишь в жарчайшем пламени, – бубнит радио, – достигается очищение. Лишь из труднейших испытаний восстанут избранники Божьи».

Ютта шепчет:

– Сегодня из бассейна выгнали девочку. Инге Гахманн. Сказали, что нам нельзя плавать вместе с полукровкой. Негигиенично. Полукровка, Вернер. Разве мы не все полукровки? Половина крови от мамы, половина от папы?

– Они имели в виду, что она наполовину еврейка. Говори потише. Мы не полукровки.

– Наверняка мы наполовину кто-то.

– Мы стопроцентные немцы. Не половинки.

Герриберту Помзелю уже пятнадцать, он живет в шахтерском общежитии, работает во

вторую смену. Ганс Шильцер теперь старший мальчик в приюте. Он делает сто отжиманий подряд и собирается на партийный съезд в Эссен. Дерется на улицах; говорят, что он поджег чью-то машину. Однажды вечером Вернер слышит, как Ганс орет на фрау Елену. Хлопает парадная дверь, дети ворочаются в постелях. Фрау Елена долго ходит по комнате: шлепанцы шуршат вправо, шуршат влево. В сырой темноте за окном проезжают грузовики с углем. Вдалеке рокочут механизмы: стучат поршни, вращаются приводные ремни. Плавно. Бешено.

Начертание зверя

Ноябрь тридцать девятого. Холодный ветер гонит по дорожкам ботанического сада сухие платановые листья. Мари-Лора перечитывает «Двадцать тысяч лье под водой»: «Над нами развевались длинные космы фукусов, то шарообразные, то трубчатые, лауренсии, тонколистые кладостефы», неподалеку от ворот на улицу Кювье. Мимо, пиная шуршащие листья, проходит компания детей.

Мальчишеский голос что-то произносит, другие ребята смеются. Мари-Лора отрывает пальцы от книги. Смех ближе, громче. Внезапно первый голос раздаётся прямо над ухом:

– Немцы обожают слепых девчонок!

Дыхание у него частое. Мари-Лора поднимает руку, но там лишь воздух.

Она не знает точно, сколько с ним мальчишек. Трое или четверо, наверное. Судя по голосу, ему лет двенадцать-тринадцать. Мари-Лора встает, прижимая тяжелую книгу к груди, и слышит, как трость катится по скамейке и падает на землю.

Другой голос произносит:

– Наверное, слепых девчонок заберут еще раньше, чем калек.

Первый мальчишка издевательски стонет. Мари-Лора поднимает книгу, словно надеясь закрыться.

Второй мальчишка говорит:

– Заставят их делать всякое.

– Гадкое.

Взрослый голос издали зовет:

– Луи, Пьер!

– Кто вы? – шепчет Мари-Лора.

– Пока, слепая девчонка.

И тишина. Мари-Лора слушает, как шелестят деревья. Кровь у нее бурлит. Несколько долгих панических минут она ползает на четвереньках вдоль скамейки, ища трость.

В магазинах продают противогазы. Соседи заклеивают окна картоном. В музее с каждой неделей все меньше посетителей.

– Папа, – спрашивает Мари-Лора, – если начнется война, то что будет с нами?

– Не начнется.

– А если все-таки?

Его рука лежит на ее плече, ключи на поясе привычно позвякивают.

– И тогда у нас тоже все будет хорошо, ma chérie. Директор уже оформил мне бронь. Меня не призвуют.

Однако она слышит, как нервно он листает газету: торопливо, с хрустом переворачивая листы. Курит сигарету за сигаретой, работает почти без передышки. Неделя идет за неделей. Деревья облетели, и отец уже не зовет Мари-Лору прогуляться по саду. Ах, если бы только у них была непробиваемая подводная лодка, вроде «Наутилуса»!

В открытое окно ключной влетают прокуренные голоса секретарш:

– Они забираются по ночам в квартиры. Минируют буфеты, унитазы, бюстгальтеры. Откроешь ящик комода – оторвет пальцы.

Мари-Лоре снятся кошмары. Немцы бесшумно гребут в лодках по Сене, скользят словно по маслу, проносятся под мостами. У них звери на цепи; эти звери выпрыгивают из лодок и несутся мимо клумб, вдоль живых изгородей. Нюхают воздух у лестницы в Большую галерею. Из пастей капает слюна. Звери врываются в музей, бегут по кабинетам. Окна чернеют от крови.

* * *

Уважаемый профессор!

Я не знаю дойдет ли это письмо и передаст ли вам его радиостанция и вообще есть ли радиостанция. Мы неслышим вас уже два месяца. Вы больше не передаете или дело в нас? В Бранденбурге построили новую радиовышку Дойчландзендер-3. Брат говорит в ней триста тридцать метров и это второе по высоте здание в мире. Она заглушает практически все. Старая фрау Штресман говорит что слышит передачи Дойчландзендер пломбами в зубах. Брат говорит это можно если есть антенна и детектор и что-нибудь что будит динамиком. Он говорит можно принимать радио сигналы проволочной изгородью и может серебро в пломбах тоже их принимает. Мне интересно про это думать. А вам профессор? Песни в пломбах! Фрау Елена говорит нам сразу после школы идти домой. Она говорит не потому что евреи а потому что бедные но они тоже очень опасные. Теперь слушать иностранную радиостанцию это преступление. За него могут отправить на тяжелые работы. Ломать камень по пятнадцать часов в день или делать нейлоновые чулки или спускаться в шахты. Никто не поможет мне отправить это письмо даже брат поэтому я отправлю его сама.

Добрый вечер. Или хайль Гитлер, если предпочитаете

В мае ему исполняется четырнадцать. Сороковой год, над гитлерюгендом никто больше не смеется. Фрау Елена готовит пудинг, Ютта заворачивает в газету кусок кварца, близняшки Ханна и Сусанна Герлиц маршируют по кухне, играя в солдат. Пятилетний Рольф Гупфауэр сидит в уголке дивана, глаза у него сонно закрываются. Новенькая полугодовалая девочка у Ютты на коленях беззубыми деснами жует ее палец. Сквозь занавеску виден далекий огненный факел над фабричной трубой, он дрожит и колыхается.

Дети поют, потом съедают пудинг. Фрау Елена говорит: «Пора ложиться», и Вернер выключает приемник. Все молятся. Неся приемник в спальню, Вернер чувствует тяжесть во всем теле. Снаружи пятнадцатилетние подростки бредут к шахте, выстраиваются перед воротами в касках с фонарями. Он пытается вообразить их спуск в клетки, мелькание редких огоньков, скрип тросов, молчание, с которым они уходят в вечный мрак, где люди вгрызаются в угольный пласт под нависшей шестисотметровой толщиной скальной породы.

Еще год. Потом ему дадут каску с фонарем и запихнут его в клетку вместе с другими.

Уже много месяцев Вернер не слышал француза на коротких волнах. Год назад последний раз держал в руках покоробленные от сырости «Принципы механики». Еще не так давно он позволял себе грезить о Берлине с тамошними великими учеными. Фрицем Габером, придумавшим синтетические удобрения, Германом Штаудингером, изобретателем пластмассы, Герцем, сделавшим невидимое видимым. Всеми великими учеными, совершающими там открытия. «Я в тебя верю, — говорила фрау Елена. — Я думаю, ты совершишь что-нибудь великое». Теперь, в страшных снах, он идет по штольням. Кровля черная, гладкая, от нее откалываются плиты и повисают у него над головой. Стены трескаются. Вернер пригибается, но кровля все ниже, и он ползет. Скоро он уже не может поднять голову, шевельнуть рукой. Кровля весит десять миллиардов тонн, она леденит тело, вжимает его носом в пол. Перед самым пробуждением Вернер чувствует, что ему раздавило череп.

Ливень стучит по крыше. Вернер прижимается лбом к стеклу и смотрит сквозь струи. Внизу — мокрые крыши, много мокрых крыш, а за ними — длинные стены коксохимического комплекса, металлургического комбината, газового завода и черный силуэт надшахтного копра. Шахты и заводы тянутся вдаль, сколько хватает глаз, и дальше, к поселкам и городам, ко все ускоряющейся и растущей машине по имени Германия. И к миллионам людей, готовым отдать за нее жизнь.

Добрый вечер, думает Вернер. Или хайль Гитлер. Все предпочитают последнее.

Пока, слепая девчонка

Про войну говорят уже без вопросительного знака. Сотрудникам музея раздают служебные указания. Коллекции надо спасти. Небольшой штат курьеров начинает перевозить экспонаты в сельские усадьбы. Спрос на ключи и замки больше обычного. Отец Мари-Лоры работает до полуночи, до часу. На каждый ящик нужен замок, каждую опись надо убрать в надежное место. Грохочут бронированные грузовики. Нужно спрятать окаменелости и древние рукописи, жемчуг, золотые самородки, сапфир размером с мыш. И возможно, думает Мари-Лора, Море огня.

В каком-то смысле весна кажется спокойной – теплой и мягкой. Ночи благоуханны и безветренны. И тем не менее во всем чувствуется напряжение, словно город стоит на воздушном шарике, который кто-то надувает, так что он вот-вот лопнет.

Над цветочными бордюрами в ботаническом саду снуют пчелы. С платанов сыплются бархатистые орешки, скапливаются на дорожках шуршащими ворохами.

Если они перейдут в наступление, с какой стати им переходить в наступление, наступление было бы безумием.

Отступить – значит спасти человеческие жизни.

У ворот музея появляются мешки с песком. Два солдата на крыше Палеонтологической галереи смотрят в бинокли на сад. Однако чаша небес остается чистой – ни цеппелинов, ни бомбардировщиков, ни десантников-суперменов, лишь последние певчие птицы возвращаются из южных стран да юркие весенние ветерки наливаются зеленой тяжестью лета.

Слухи, свет, воздух. Нынешний май – самый прекрасный на памяти Мари-Лоры. Утром ее двенадцатого дня рождения на месте сахарницы нет ожидаемой коробочки-головоломки; у отца не хватило времени. Зато есть книга – второй брайлевский том «Двадцати тысяч лье под водой», толстый, как диванная подушка.

От подушечек пальцев по всему телу проходит дрожь.

– Как...

– На здоровье, Мари.

Стены квартиры дрожат: соседи двигают мебель, пакуют чемоданы, заколачивают окна. На входе в музей отец спокойно говорит сторожу:

– Говорят, мы удерживаем реку.

Мари-Лора садится на пол ключной и открывает книгу. К концу первой части профессор Аронакс проделал лишь шесть тысяч лье. Осталось еще четырнадцать. Однако происходит что-то странное: слова не складываются. Мари-Лора читает: «В этот день нашу свиту составляла грозная армада акул», но логика, которая вроде бы должна связывать одно слово с другим, ускользает.

Кто-то спрашивает:

– Директор уехал?

Кто-то другой отвечает:

– Уедет до конца недели.

Отцовская одежда пахнет соломой, от его пальцев воняет смазкой. Работа, работа, работа, несколько часов сна, и на заре снова в музей. Грузовики увозят заспиртованных осьминогов в банках, скелеты, метеориты, гербарии, египетское золото, южноафриканскую слоновую кость и триасовые окаменелости.

Первого июня над городом пролетают самолеты, высоко-высоко, сквозь перистые облака. Когда рядом не рычит мотор, Мари-Лора, стоя перед Большой галереей, может различить их гудение в миле над собой. На следующий день начинают умолкать радиостанции. Сторожа в своей камере стучат по приемнику, наклоняют его так и этак, но из динамика доносится только хрип помех. Как будто все радиорелейные вышки – свечи, и

кто-то затушил их пальцами.

В те последние парижские ночи, когда Мари-Лора, прижимая к груди книгу, за полночь возвращается домой вместе с отцом, ей кажется, что в паузах между стрекотом насекомых она различает дрожание воздуха – как будто лед идет тонкими трещинками под чем-то слишком тяжелым. Как будто все это время город был лишь макетом отцовской работы, а теперь его накрыла тень огромной руки.

Она ведь думала, что будет жить с отцом в Париже до конца жизни. Что всегда будет сидеть после обеда с доктором Жеффаром. Что каждый день рождения папа будет дарить ей коробочку-головоломку и новую книгу, что она прочтет всего Жюль Верна и всего Дюма, а может быть, даже Бальзака и Пруста. Что вечерами папа всегда будет мурлыкать себе под нос, мастера крохотные домики. Что она всегда будет знать, сколько шагов до булочной (сорок) или до ресторанчика (тридцать два), а утром в сахарнице всегда будет сахар для кофе.

Бонжур, бонжур.

Картошка на шести часах, Мари, шампиньоны на трех.

А теперь? Что будет теперь?

Вязание носков

Вернер просыпается после полуночи и видит, что одиннадцатилетняя Ютта сидит на полу рядом с его кроватью. На коленях у сестры коротковолновый приемник, рядом лист бумаги с неоконченным рисунком – многооконным городом ее фантазий.

Ютта отнимает от уха наушник и щурится. В сумерках копна ее волос кажется светлее обычного – будто зажженная спичка.

– В Союзе девочек, – шепчет она, – нас заставляют вязать носки. Зачем столько носков?

– Наверное, рейху нужны носки.

– Зачем?

– Для ног, Ютта. Для солдат. Не мешай мне спать.

И тут, словно нарочно, младший мальчик – Зигфрид Фишер – на первом этаже кричит один раз, затем второй. Вернер и Ютта ждут, пока фрау Елена спустится по лестнице, успокоит его и в доме вновь воцарится тишина.

– Тебе интересны только математические задачки, – шепчет Ютта. – И радиоприемники. Разве ты не хочешь понимать, что происходит?

– Что ты слушаешь?

Ютта прижимает наушник к уху, складывает руки на груди и не отвечает.

– Ты слушаешь что-то, чего слушать нельзя?

– А тебе-то что?

– Это опасно, вот что.

Она зажимает пальцем другое ухо.

– Остальные девочки всем довольны, – шепчет он. – Им нравится вязать носки, собирать макулатуру и все такое.

– Мы бомбим Париж, – говорит Ютта громко.

Вернер еле перебарывает желание заткнуть ей рот рукой.

Ютта вызывающе смотрит на него. Кажется, будто какой-то невидимый сквозняк дует ей в лицо.

– Вот что я слушаю, Вернер. Наши самолеты бомбят Париж.

Бегство

По всему Парижу люди упаковывают фарфор и убирают его в чуланы, зашивают жемчуг в одежду, прячут золотые кольца в книжных переплетах. Из музейных кабинетов забрали пишущие машинки. Залы превратились в упаковочные дворы, полы усыпаны соломой, опилками, кусками шпагата.

В полдень мастера вызывают в директорский кабинет. Мари-Лора сидит по-турецки на полу ключной и пытается читать свою книгу. Капитан Немо собирается вести профессора Аронакса и его спутников на подводную прогулку за жемчугом, но Аронакс боится акул, и, хотя Мари-Лоре хочется знать, что будет дальше, предложения на странице рассыпаются. Слова дробятся на буквы, буквы – на непонятные бугорки. Как будто у нее обе руки в толстых варежках.

Внизу, на вахте, сторож крутит настройку приемника, но слышны только хрипы и треск. Наконец он выключает приемник совсем, и на музей опускается тишина.

Вот бы это была головоломка, сложная игрушка, которую смастерил папа, задачка, которую можно решить. Первая дверь – кодовый замок. Вторая – щеколда. Третья откроется, если шепнуть в замочную скважину волшебное слово. Проползти через тринадцать дверей, и все снова будет хорошо.

В городе колокол на церкви бьет час. Затем половину. Папа все не возвращается. В какой-то момент по музею прокатываются несколько отчетливых ударов. Они идут из сада или с улицы, словно кто-то сбросил с облаков несколько мешков цемента. При каждом ударе в шкафах звенят тысячи ключей.

Коридор как вымер – ни шагов, ни голосов. Вторая серия толчков – ближе, сильнее. Ключи звенят громче, пол скрипит, и Мари-Лора вроде бы чувствует запах сыплющейся с потолка пыли.

– Папа?

Молчание. Ни сторожей, ни уборщиц, ни плотников, ни частого стука секретарских каблуков.

Они могут сутками маршировать без еды. Они заделывают детей каждой школьнице, которую встретят.

– Эй!

Как пугающе быстро коридор поглощает звук ее голоса!

Через мгновение слышны шаги, звон ключей и папин голос, зовущий ее по имени. Все происходит очень быстро. Он выдвигает большие низкие ящики шкафа, бренчит десятками связок ключей.

– Папа, я слышала...

– Поторопись.

– Моя книга...

– Лучше оставить ее здесь. Она слишком тяжелая.

– Оставить книгу?

Отец вытаскивает ее за дверь и запирает ключную. Снаружи волны паники расходятся по рядам деревьев, словно отголоски землетрясения.

– Где сторож? – спрашивает папа.

Голоса возле тротуара: солдаты.

У Мари-Лоры в голове все путается. Это гул самолетов? Пахнет дымом? Кто-то говорит по-немецки?

Отец перебрасывается несколькими словами с кем-то незнакомым и отдает ему ключи. Потом они выходят через ворота на улицу Кювье, пробираются между мешками с песком, или безмолвными полицейскими, или чем-то еще, недавно появившимся на тротуаре.

Шесть кварталов, тридцать восемь канализационных решеток. Мари-Лора пересчитывает их все. Из-за фанеры, которой отец забил окна, в квартире душно и жарко.

– Подожди немного, Мари-Лора. Потом я все объясню.

Отец запикивает что-то куда-то. Наверное, в свой холщовый рюкзак. Кажется, еду. Мари-Лора пытается определить по звукам. Кофе. Сигареты. Хлеб?

Что-то снова бухает, дребезжат стекла. В буфете звенит посуда. Мари-Лора подходит к макету и проводит пальцами по домам. Все на месте. Все на месте. Все на месте.

– Сходи в уборную, Мари.

– Мне не надо.

– Потом может долго не быть возможности.

Он надевает на нее зимнее пальто, хотя сейчас середина июня, и они быстро спускаются по лестнице. На рю-де-Патриарш Мари-Лора слышит далекий топот, словно идут тысячи людей. Она шагает рядом с отцом: в одной руке трость, другая держится за его рюкзак. Все начисто лишено логики, как в страшном сне.

Направо, налево. Между поворотами – длинные отрезки мостовой. Скоро они уже идут по улицам, где Мари-Лора точно никогда не бывала, далеко за пределами папиного макета. Она уже давно не считает удары палкой. Наконец они оказываются в толпе, такой плотной, что Мари-Лора чувствует идущий от людей жар.

– В поезде будет прохладней, Мари. Директор раздобыл нам билеты.

– А можно уже идти в поезд?

– Ворота закрыты.

От толпы тошнотворно разит волнением.

– Мне страшно, папа.

– Держись за меня крепче.

Он ведет ее куда-то в другую сторону. Они переходят шумную улицу и попадают в проулок, где пахнет, как в мокрой канаве. У отца в рюкзаке побрякивают инструменты, вдали безостановочно гудят автомобильные клаксоны.

Через минуту они снова утыкаются в толпу. Голоса эхом отражаются от высоких стен, пахнет мокрой одеждой. Кто-то выкликает имена в громкоговоритель.

– Где мы, папа?

– На вокзале Сен-Лазар.

Детский плач. Запах мочи.

– Здесь немцы?

– Нет, ma chérie.

– Но скоро будут здесь?

– Говорят, что да.

– А что мы будем делать, когда они придут?

– К тому времени мы уже будем в поезде.

Справа визжит ребенок. Мужчина дрожащим голосом просит толпу расступиться. Рядом женщина надрывно повторяет: «Себастьян? Себастьян?» – снова и снова.

– Уже ночь?

– Только-только начало смеркаться. Давай отдохнем. Не разговаривай, береги силы.

Кто-то говорит:

– Вторая армия разбита, Девятая в окружении.

Кто-то отвечает:

– Мы не выстоим.

Чемоданы скребут по плитам, тявкают собачонки, кондукторы свистят в свистки, какая-

то большая машина чихает, заводясь, потом умолкает. Мари-Лора силится успокоить сосущую боль под ложечкой.

– Но у нас же билеты! – кричит кто-то позади.

Шорох переступающих ног. Истерика волнами прокатывается по толпе.

– Как это выглядит, папа?

– Что, Мари?

– Вокзал. Ночь.

Щелкает зажигалка. Мари-Лора слышит, как папа затягивается, чувствует запах сигаретного дыма.

– Попробую рассказать. Во всем городе темно. Уличные фонари и окна не горят. Иногда в небе движутся лучи прожекторов. Ищут самолеты. Вот женщина в халате. А у другой в руках стопка тарелок.

– А что армия?

– Армии больше нет, Мари.

Он находит рукой ее ладонь. Страх немного успокаивается. По водосточной трубе бегут струйки дождя.

– А сейчас что мы делаем, папа?

– Надеемся сесть на поезд.

– А что делают все остальные?

– Тоже надеются.

Герр Зидлер

Стук в дверь во время комендантского часа. Вернер и Ютта вместе с другими детьми делают уроки за длинным деревянным столом. Фрау Елена, прежде чем открыть дверь, прикалывает к лацкану партийный значок.

В дом входит мокрый от дождя ефрейтор. У него на поясе пистолет, на левой руке повязка со свастикой. Вернер думает про коротковолновый приемник, упрятанный в старую деревянную аптечку под его кроватью. Он думает: они знают.

Ефрейтор оглядывает комнату: чугунную печку, развешанное белье, щуплых детей – с равной долей враждебности и снисходительности. Его черный пистолет как будто втягивает в себя весь свет.

Вернер украдкой косится на сестру. Та неотрывно глядит на гостя. Ефрейтор берет со стола книгу – детскую, про говорящий паровозик, – и тщательно перелистывает. Затем говорит что-то очень тихо – Вернер не может разобрать слов.

Фрау Елена складывает руки под фартуком, и Вернер понимает, что она силится унять дрожь.

– Вернер, – произносит фрау Елена медленным, как будто сонным, голосом, не отрывая глаз от ефрейтора, – этот человек говорит, что у него сломался приемник и надо...

– Возьми свои инструменты, – перебивает ефрейтор.

На улице Вернер оглядывается только один раз: лоб и ладони Ютты прижаты к оконному стеклу. Она против света и далеко, так что выражения не разглядеть. Потом дождевые струи окончательно ее скрывают.

Вернер в два раза ниже ефрейтора и на один его шаг вынужден делать два. Они проходят мимо караульного у ведомственных домов, где живет шахтное начальство. Косые струи дождя блестят в свете фонарей. Немногие встречные уступают ефрейтору дорогу.

Вернер не задает вопросов. С каждым ударом сердца он чувствует острое желание бежать.

Они подходят к самому большому дому – к дому, который Вернер видел тысячу раз, но к которому ни разу не подходил так близко. С подоконника верхнего этажа свисает большое, вымокшее от дождя красное знамя со свастикой посередине.

Ефрейтор стучит в заднюю дверь. Горничная в платье с завышенной талией забирает у них верхнюю одежду, умело стряхивает воду, вешает на вешалку с бронзовой подставкой. Из кухни пахнет пирогами.

Ефрейтор проводит Вернера в столовую, где в кресле листает журнал узколицая женщина с тремя свежими маргаритками в волосах.

– Два мокрых гуся, – говорит она и поднимает голову от журнала, но не предлагает им сесть.

Ботинки Вернера утопают в густом красном ковре, в люстре над столом горят электрические лампочки, по обоям вьются розы. В камине тлеют угли. На всех четырех стенах – ферротипы насупленных предков. Значит, сюда забирают мальчиков, чьи сестры слушают иностранные радиостанции? Женщина переворачивает страницы журнала, одну за другой. Ногти у нее выкрашены ярко-розовым лаком.

По лестнице спускается мужчина в удивительно белой рубашке.

– Господи, какой же он маленький! – говорит мужчина ефрейтору. – Так это ты знаменитый радиомастер?

У него густые черные волосы, словно приклеенные лаком к голове.

– Рудольф Зидлер, – представляется он и движением подбородка отпускает ефрейтора.

Вернер пытается выдохнуть. Герр Зидлер застегивает запонки на манжетах и оглядывает себя в мутном зеркале. Глаза у него голубые-голубые.

– Да, не очень-то ты разговорчив. А вот непослушный приемник. – Он указывает на большой американский «Филко» в соседней комнате. – Его уже двое смотрели. А потом мы услышали про тебя. Стоит попробовать, верно? Она, – он кивает в сторону женщины, – очень хочет услышать свою программу. И выпуски новостей, конечно.

Зидлер произносит это так, что Вернер понимает – женщине совершенно неинтересны

новости. Она не поднимает головы. Зидлер улыбается, словно говоря: «Мы-то с тобой, сынок, знаем, что новости – это еще далеко не все». У него очень маленькие зубы.

– Работай спокойно, спешить некуда.

Вернер садится перед приемником на корточки и пытается успокоить нервы. Включает его, ждет, пока не прогреются лампы, потом аккуратно крутит ручку настройки, двигаясь по шкале справа налево. Потом обратно. Тишина.

Ничего подобного Вернеру еще трогать не доводилось. Наклонная передняя панель, автоподстройка, размеры – с небольшой холодильник. Десятиламповый всеволновый супергетеродин, корпус из светлого и темного орехового дерева, гравированные наклейки. Две антенны – коротковолновая и широкополосная. Этот приемник стоит больше, чем всё в сиротском доме, вместе взятое. Герр Зидлер может, если захочет, ловить передачи из Африки.

Зеленые и красные корешки книг по стенам. Ефрейтор ушел. В соседней комнате герр Зидлер стоит в озерце света под лампой, говорит по черному телефону.

Никто не собирается Вернера арестовывать. Его просто вызвали починить радио.

Вернер снимает заднюю стенку и заглядывает внутрь. Все лампы работают, всё вроде бы на месте. «Хорошо, – шепчет он про себя. – Думай». Сидит по-турецки, изучает схему. Мужчина, женщина, книги, дождь – все отступает, остаются только радио и проводки в нем. Вернер пытается вообразить пути электронов как дорогу в густонаселенном городе: здесь входит РЧ-сигнал, проходит через усилительные каскады, попадает на переменные конденсаторы, затем на трансформаторные катушки...

И тут Вернер видит: обрыв на одном из проволочных резисторов. Он смотрит вверх приемника – слева женщина читает журнал, справа герр Зидлер говорит по телефону, время от времени проводя пальцами по складке на полосатых брюках, чтобы она была четче.

Как два человека могли просмотреть такую элементарную поломку? Просто подарок! Так легко. Вернер разматывает обмотку, сращивает проволоку и вставляет резистор на место. Затем включает приемник, почти ожидая, что тот сейчас займется огнем, и вместо этого слышит хрипловатый голос саксофона.

Женщина за столом откладывает журнал и упирается всеми десятью пальцами в щеки. Вернер встает из-за радиоприемника. Мгновение у него в голове нет ничего, только ощущение торжества.

– Он починил приемник силой мысли! – восклицает женщина.

Герр Зидлер прикрывает рукой телефонную трубку и оборачивается.

– Сидел тихо, как мышка, и думал, а через полминуты приемник заработал! – Женщина вскидывает наманикюренные пальцы и заливается детским смехом.

Герр Зидлер вешает трубку. Женщина идет в гостиную, встает перед приемником на колени – она без чулок и туфель, из-под подола юбки видны гладкие белые икры. Крутит настройку. Треск, затем веселая музыка. У приемника живой, насыщенный звук – Вернер впервые такой слышит.

Женщина ойкает и снова смеется.

Вернер собирает свои инструменты. Герр Зидлер стоит перед приемником и, кажется, хочет погладить Вернера по голове. «Поразительно», – говорит он, затем усаживает Вернера за стол и кричит горничной, чтобы та подала торт. Его приносят сразу:

четыре куска на гладкой белой тарелке. Каждый посыпан сахарной пудрой и украшен взбитыми сливками. Вернер смотрит ошарашенно, герр Зидлер смеется.

– Знаю, сливки запрещены, но... – он подносит палец к губам, – есть способы обойти запреты. Угощайся.

Вернер берет кусок торта. Пудра сыплется ему на подбородок. В соседней комнате женщина крутит настройку, из динамика вещают голоса. Она некоторое время слушает, стоя на коленях перед радио, потом хлопает в ладоши. Со стен смотрят строгие лица ферротипов.

Вернер съедает первый кусок торта, потом второй, затем берется за третий. Герр Зидлер наблюдает за ним, склонив голову набок, слегка улыбается и явно о чем-то думает.

– Что это ты такой зашуганный? Да еще волосы дыбом. Твой отец кем работает?

Вернер мотает головой.

– Ну да, конечно. Сиротский дом. Извини, не сообразил. Бери еще торта. И сливок положи побольше.

Женщина снова хлопает в ладоши. У Вернера громко бурчит в животе. Он чувствует на себе взгляд герра Зидлера.

– Многие считают, что должность здесь, на шахте, маловажная, – говорит герр Зидлер. – Спрашивают: «Разве ты не предпочел бы место в Берлине? Во Франции? Не хотел бы командовать на фронте, видеть, как солдаты идут в атаку, подальше от всей этой... – он машет рукой на окно, – копоты?» А я отвечаю им, что нахожусь в центре всего. Что отсюда идут уголь и сталь. Что это – горнило страны.

Вернер прочищает горло:

– Мы действуем в интересах мира. – Это дословная фраза, которую они с Юттой слышали по Дойчландзендер три дня назад. – Мы действуем в интересах человечества.

Герр Зидлер смеется, и Вернер вновь замечает, как много у того зубов и какие они мелкие.

– Знаешь, в чем главный урок истории? В том, что ее пишут победители. Кто победит, тот скажет, что и как было. Мы действуем в наших собственных интересах. Назови мне человека или народ, который поступает иначе. Хитрость в том, чтобы понять, в чем состоит наш интерес.

Остался один кусок торта. Радио тихонько звучит, женщина смеется. Герр Зидлер, решает Вернер, совсем не похож на его соседей – людей с вечно настороженным лицом, привыкших каждое утро провожать близких в шахты. У герра Зидлера лицо чистое и спокойное; он полностью уверен в своих привилегиях. А в четырех метрах отсюда стоит на коленях женщина с накрашенными ногтями и белыми гладкими икрами. Вернер никогда не видел таких женщин – как будто они с нею живут на разных планетах. Как будто она вышла из приемника «Филко».

– Отлично управляешься с инструментами, – продолжает герр Зидлер. – Смышлен не по летам. Есть место для таких, как ты. Школы генерала Хайссмайера[11]. Лучшие из лучших. Там изучают инженерные науки. Шифрование, реактивные двигатели, все самое современное.

Вернер не знает куда спрятать глаза:

– У нас нет денег.

– Тем-то и замечательны эти учреждения. Они набирают ребят из рабочих семей. Не испорченных, – герр Зидлер хмурится, – бюргерской шелухой. Кинематографом и всем таким. Им нужны упорные мальчики. Мальчики с исключительными способностями.

– Да, герр Зидлер.

– С исключительными способностями, – повторяет он, обращаясь как будто к самому себе. Потом негромко свистит.

Возвращается ефрейтор с каской в руке, косится на оставшийся кусок торта и тут же отводит глаза.

– В Эссене работает приемная комиссия, – говорит герр Зидлер. – Я напишу тебе рекомендательное письмо. И на, возьми.

Он дает Вернеру семьдесят пять марок, тот как можно быстрее прячет купюры в карман.

– Как будто они ему руки жгут! – смеется ефрейтор.

Внимание герра Зидлера занято другим.

– Я напишу Хайссмайеру письмо, – продолжает он. – Полезно для нас, полезно для тебя. Мы действуем в интересах человечества, верно?

Он подмигивает. Затем ефрейтор выписывает Вернеру пропуск с разрешением находиться на улице во время комендантского часа и провожает его до двери.

Вернер идет домой, не замечая дождя, и пытается осознать огромность происшедшего. Девять цапель стоят на канале рядом с коксохимическим заводом, словно цветы. Уныло гудит баржа, снуют вагонетки с углем, в темноте отдается мерный звук буксирной лебедки.

В сиротском доме все дети уже в постелях. Фрау Елена сидит с грудой стиранных носков на коленях, на полу рядом с нею бутылка хереса. Позади за столом Ютта, смотрит на Вернера наэлектризованным взглядом.

– Что ему было нужно? – спрашивает фрау Елена.

– Всего лишь починить радиоприемник.

– И ничего больше?

– Ничего.

– Тебе задавали вопросы? Про тебя? Про других детей?

– Нет, фрау Елена.

Фрау Елена шумно выдыхает, как будто за последние два часа ни разу не перевела дух.

– Dieu merci[12]. – Она обеими руками трет виски и говорит: – Можешь идти спать, Ютта.

Ютта медлит.

– Я его починил, – говорит Вернер.

– Ты молодец, Вернер. – Фрау Елена отпивает большой глоток хереса. Глаза у нее закрываются, голова запрокидывается. – Мы оставили тебе ужин.

Ютта неуверенно идет к лестнице.

В кухне все выглядит облезлым и закопченным. Фрау Елена приносит тарелку с разрезанной пополам вареной картошкой.

– Спасибо, – говорит Вернер.

Во рту у него все еще стоит сладость торта. Маятник старых напольных часов качается взад-вперед. Торт, взбитые сливки, розовые ногти и длинные икры фрау Зидлер – впечатления каруселью кружатся у Вернера в голове. Он вспоминает, как возил Ютту на тележке к шахте номер девять, где пропал их отец, – вечер за вечером, как будто отец может оттуда выйти.

Свет, электричество, эфир. Время, пространство, масса. «Принципы механики» Генриха Герца. Знаменитые школы Хайссмайера. Шифрование, реактивные двигатели, все самое современное.

«Откройте глаза, – говорил француз по радио, – и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки»

– Вернер?

– Да, фрау?

– Ты что, не голоден?

Фрау Елена ему почти что мать, никого ближе у него не будет. Вернер ест, хотя ему и не хочется. Потом отдает ей семьдесят пять марок. Она изумленно моргает, увидев сумму, и возвращает ему пятьдесят.

У себя на чердаке Вернер дожидается, пока фрау Елена не сходит в уборную и не ляжет, и тогда дом вновь погрузится в полную тишину. Считает до ста. Затем встает, вытаскивает из аптечки свой старый приемник со всеми усовершенствованиями, новым соленоидом, Юттиными пометками на катушке настройки – выносит его в улочку за домом и разбивает кирпичом.

Исход

Парижане продолжают напирать на ворота. К часу ночи жандармы уже не могут сдерживать толпу. За последние четыре часа не пришел и не ушел ни один поезд. Мари-Лора спит, положив голову на отцовское плечо. Ключный мастер не слышит ни гудков, ни лязга сцепляемых вагонов. На рассвете он решает, что лучше идти пешком.

Они идут все утро. Париж постепенно редет, превращаясь в низенькие дома и магазинчики, разделенные длинными полосами деревьев. Полдень застает их в заторе машин на новой автомобильной дороге у Вокрессона, больше чем в десяти километрах от их квартиры. Мари-Лора еще никогда не бывала так далеко от дому.

На вершине невысокого холма ее отец оглядывается: череда машин до самого горизонта.

Грузовики и фургоны, новый двенадцатицилиндровый автомобиль с матерчатым верхом зажат между повозками, в которые запряжены мулы. Есть машины с деревянными осями. У некоторых легковушек на крыше привязана мебель. У некоторых кончился бензин. Несколько тянут прицепы, заставленные клетками с курами и поросятами, рядом бредут коровы, сквозь лобовые стекла смотрят собаки.

Все это движется немногим быстрее пешехода. Запряжены обе полосы: все ползут на запад, прочь от города. Дама на велосипеде сплошь обвешана бижутерией. Мужчина толкает тачку с кожаным креслом, на сиденье умывается черный котенок. Женщины катят детские коляски с сервизами, птичьими клетками, подушками. Человек в смокинге кричит: «Ради бога, дайте дорогу!» – но никто его не пропускает.

Мари-Лора, с тростью в руке, прижимается к отцу. На каждом шагу в воздухе рядом с нею возникают бестелесные вопросы: «Долго еще до Сен-Жермена?», «Тетя Луиза, когда мы будем обедать?», «У кого есть бензин?» Она слышит, как мужья кричат на жен, слышит, что впереди ребенка задавило грузовиком. Три самолета проносятся в небе громко, быстро и низко. Люди пригибаются, некоторые кричат, некоторые спрыгивают в канаву и зарываются лицом в траву.

К сумеркам они уже западнее Версаля. У Мари-Лоры пятки стерты в кровь, чулки порвались, через каждую сотню шагов она спотыкается. Когда она говорит, что не может идти дальше, отец на руках выносит ее с дороги, бредет по цветущей горчице и выходит на луг метрах в двухстах от деревенского дома. Луг скошен только наполовину, сено не собрано в стога. Как будто крестьянин сбежал, бросив работу на середине.

Мастер достает из рюкзака батон и белые сосиски. Они тихо едят, потом он кладет ноги Мари-Лоры себе на колени. В полутьме на востоке смутно различаются ряды машин, слышно бляные клаксонов. Кто-то кого-то зовет – наверное, потерявшегося ребенка. Ветер уносит крики.

– Что-то горит, папа?

– Нет.

– Я чувствую запах дыма.

Он снимает с нее чулки, осматривает мозоли. Ее ступни в его руках легкие, как птички.

– Что это за звук?

– Кузнечики.

– Темно?

– Смеркается.

– Где мы будем спать?

– Здесь.

– А кровати тут есть?

– Нет, ma chérie.

– Куда мы идем, папа?

– Директор дал мне адрес человека, который нам поможет.

– Это где?

– В городе под названием Эврё. Мы должны найти там мсье Жанно. Он друг музея.

– А далеко до Эврё?

– Пешком мы будем добираться туда года два.

Она стискивает его руку.

– Я шучу, Мари. Эврё совсем близко. Если нас подвезут, будем там завтра. Вот увидишь.

Секунд десять она заставляет себя молчать. Потом спрашивает:

– А сейчас?

– А сейчас мы будем спать.

– Без постелей?

– На сене. Тебе должно понравиться.

– В Эврё у нас будут постели?

– Думаю, да.

– А что, если он не захочет нас приютить?

– Захочет.

– А если все-таки нет?

– Тогда мы поедем к моему дяде. К твоему двоюродному дедушке. В Сен-Мало.

– К дяде Этьену? Ты же говорил, что он сумасшедший.

– Отчасти да. Сумасшедший процентов на семьдесят шесть.

Она не смеется.

– Далеко до Сен-Мало?

– Хватит вопросов, Мари. Мсье Жанно приютит нас в Эврё. Уложит на большие мягкие кровати.

– А много у нас еды, папа?

– Пока есть. Ты еще голодная?

– Наоборот. Я хочу поберечь еду.

– Вот и хорошо. Давай беречь еду. Лежи тихо и отдыхай.

Она ложится на спину. Он снова закуривает. Осталось шесть сигарет. Летучие мыши стремительно проносятся сквозь облака мошки, мошка разлетается и вновь собирается в клубы. «Мы – мыши, – думает он, – а небо кишит ястребами».

– Ты очень храбрая, Мари-Лора.

Девочка уже уснула. Сумерки сгущаются. Докурив, он спускает дочкины ноги на землю, накрывает ее своим пальто и открывает рюкзак. Ощупью находит ящичек с инструментами. Тут пилки, стамески, надфили, штихели, мелкая шкурка. Многие еще дедовы. Из-под подкладки ящичка вытаскивает плотный холщовый мешочек. Развязывает шнурок и вытряхивает содержимое себе на ладонь.

Это камень размером с каштан. Даже в такой поздний час, в полумраке, он сияет голубым, странно холодным светом.

Директор сказал, будут три обманки. Вместе с настоящим, выходит, четыре камня. Один останется в музее. Три отправят в разных направлениях. Первый – на юг с молодым геологом. Второй на север с начальником охраны. И третий – на запад в ящичке с инструментами Даниэля Леблана, главного ключевого мастера Национального музея естествознания.

Три подделки. Один настоящий. Лучше, если никто не будет знать, подлинный у него камень или фальшивка. И каждый, добавил директор, серьезно глядя на них, должен вести себя так, будто настоящий алмаз – у него.

Ключный мастер уверяет себя, что у него – фальшивка. Не стал бы директор отдавать простому работнику бриллиант в сто тридцать три карата. И все же, глядя на камень, он не может отделаться от вопроса: «А что, если?..»

Он оглядывает луг. Деревья, небо, сено. Бархатистый сумрак. Уже зажглось несколько бледных звездочек. Мари-Лора мерно дышит во сне. Каждый должен вести себя так, будто настоящий алмаз – у него. Мастер убирает камень в мешочек, прячет обратно в рюкзак и ощущает его крохотный вес, как узелок у себя в голове.

* * *

Несколькими часами позже он просыпается и видит на фоне звезд силуэт летящего на восток самолета. Звук – будто рвется ткань. Потом самолет исчезает из виду, и через мгновение земля содрогается.

Край ночного неба за деревьями окрашивается алым. В дрожащем свете мастер видит, что самолет был не один, небо кишит ими, они проносятся туда и сюда во всех направлениях. Ему кажется, будто он смотрит не вверх, а вниз, словно луч прожектора направили в кровавую воду, небо стало морем, а самолеты – голодными рыбами, преследующими во тьме жертву.

2. 8 августа 1944 г.

Сен-Мало

Двери слетают с петель. Кирпичи крошатся в пыль. Фонтаны известки, земли и гранита взмывают в небо. Все двенадцать бомбардировщиков повернули, набрали высоту и выстроились над Ла-Маншем еще до того, как сорванная с крыш черепица закончила падать на улицы.

Пламя карабкается по стенам. Вспыхивают припаркованные машины, занавески, абажуры, диваны, матрасы и почти все двадцать тысяч томов в публичной библиотеке. Пламя течет вдоль стен, как прилив, выплескивается в проулки, перехлестывает через крыши, через автомобильную стоянку. Пыль, дым, пепел. Газетная стойка парит в воздухе, охваченная огнем.

В подвалах и криптах по всему городу малуэны молятся: «Господи, спаси град сей и людей его, не отврати лице Твое от нас имени Твоего ради». Старики крепче стискивают керосиновые лампы, дети кричат, собаки воют. Четырехсотлетние стропила вспыхивают в один миг. Часть Старого города, прижатая к западной стене, превращается в полыхающий ураган, из которого огненные шпильки встают на сто метров. Пламя так жадно потребляет кислород, что втягивает в себя все. Магазиновые вывески на цепях тянутся к огню. Кадки с деревцами скользят в его сторону по мостовой и падают. Стрижи, взлетевшие с крыш, вспыхивают, искрами проносятся над стенами и гаснут в море.

На рю-де-ла-Кросс «Пчелиный дом» на миг становится почти невесомым, закручивается огненным водоворотом и тут же сыплется на землю дождем обломков.

Дом № 4 по улице Воборель

Мари-Лора сжимается в комок под кроватью; в правой руке у нее камень, в левой – миниатюрная копия дома. Визжат гвозди в досках, осколки стекла, куски известки и кирпичей сыплется на пол, на макет, на матрас у нее над головой.

– Папа-папа-папа-папа, – повторяет Мари-Лора, но тело как будто отделилось от голоса, слова текут далекой, отрешенной чередой.

Ей представляется, что вся земля под Сен-Мало пронизана корнями огромного дерева в центре города, на площади, где никто никогда не бывал, а сейчас Божья рука вырывает это дерево, выворачивая комья гранита вместе с корневой системой – той же кроной, только перевернутой и воткнутой в землю (не так ли описал бы это доктор Жеффар?). Крепостные стены крошатся, улицы исчезают, здания длиной в квартал опрокидываются, словно игрушечные.

Медленно, облегченно мир оседает и успокаивается. Снаружи доносится тихий перезвон, – наверное, сыплется на улицу осколки стекла. Звук прекрасный и странный – как будто с неба идет дождь драгоценных камней.

Где бы ни был дядюшка Этьен, выжил ли он?

И можно ли выжить среди такого?

Жива ли она сама?

Дом кряхтит, скрипит, стонет. Затем нарастает вой, словно ветер бежит по высокой траве, только громче, голоднее. От него рвутся занавески и барабанные перепонки.

Мари-Лора чувствует запах дыма и понимает. Пожар. Окно в спальне выбито, и слышно, как что-то полыхает за ставнями. Что-то огромное. Весь район. Весь город.

Пол, стена, кровать над нею холодные. Дом пока не горит. Но надолго ли это?

Успокойся, думает Мари-Лора. Сосредоточься на своих легких. Вдох. Выдох. Снова вдох. Она не вылезает из-под кровати. Говорит себе:

– Ce n'est pas la réalité[13].

«Пчелиный дом»

Что он помнит? Он видел, как инженер Бернд закрыл дверь и сел на ступени. Видел, как великан Франк Фолькхаймер в золотистом кресле что-то снимал с брюк. Потом лампочка под потолком погасла, Фолькхаймер включил фонарь. И тут на них обрушился грохот, да такой оглушительный, словно орудие, пожирая все, сотрясло саму земную кору. Мгновение Вернер видел лишь луч фонаря, который бился, как испуганный мотылек.

Их тряхнуло. На мгновение – а может, на час или на сутки, определить невозможно, – Вернер вновь очутился в Цольферайне. Он стоял на краю поля, возле ямы, в которой шахтер похоронил двух мулов. Была зима, самому Вернеру еще не исполнилось пяти лет, а кожа у мулов стала почти прозрачной, так что из-под нее просвечивали кости. Комочки земли сыпались на открытые глаза мулов, а Вернер был так голоден, что гадал: не осталось ли на костях мяса, которое можно съесть.

Он слышал, как скребет по мелким камням лопата.

Слышал шумный вздох сестры.

Потом, словно некая эластичная лента растянулась до предела, его швырнуло назад, в подвал под «Пчелиным домом».

Пол уже не дрожит, но гул не умолкает. Вернер зажимает ладонью правое ухо. Гул остается – жужжание тысячи пчел, очень близко.

– Что-то гудит? – спрашивает он, но не слышит собственного вопроса.

Левая сторона лица мокрая. Наушники куда-то делись. Где радио, где верстак и что давит сверху?

С плеч, с груди, с волос Вернер снимает горячие куски дерева и камня. Найти фонарь, проверить, что с остальными, проверить радио. Проверить, что с выходом. Разобраться, что не так с его слухом. Вот рациональные шаги. Вернер пытается сесть, но потолок стал гораздо ниже, и он ударяется головой.

Жарко. И становится еще жарче. Вернер думает: нас заперли в ящике, а ящик бросили в жерло вулкана.

Проходят секунды. А может быть, минуты. Вернер по-прежнему стоит на коленях. Найти фонарик. Потом остальных. Потом выход. Потом разобраться, что со слухом. Может, австрияки сверху уже пробиваются через завалы на помощь. Однако Вернер никак не может найти фонарь. И даже встать не может.

В абсолютной тьме кружат тысячи алых и синих пятен. Языки огня? Призраки? Они скользят по полу, затем поднимаются к потолку, мерцая непонятым светом.

– Мы умерли? – кричит Вернер в темноту. – Мы что, умерли?

Шесть лестничных пролетов вниз

Рев бомбардировщиков едва затих, когда мимо дома со свистом проносится артиллерийский снаряд и с глухим звуком взрывается неподалеку. По крыше что-то дробно стучит – осколки снаряда? горящие угли? Мари-Лора говорит вслух: «Ты слишком высоко в доме» – и заставляет себя вылезти из-под кровати. И без того времени потеряно чересчур много. Она убирает камень в макет дома, задвигает дощечки, составляющие крышу, поворачивает трубу и убирает домик в карман платья.

Где туфли? Мари-Лора ползает по полу, но пальцы нащупывают только щепки и что-то острое – наверное, осколки стекла. Она находит трость и без туфель, в одних чулках, выходит в коридор. Здесь запах дыма сильнее. Пол все еще холодный, и стены тоже. Мари-Лора заходит пописать в уборную на шестом этаже, чуть было машинально не спускает воду, но вовремя себя одергивает, вспомнив, что если бачок опустеет, то уже не наполнится. Она замирает, проверяя, не стал ли воздух теплее, и лишь потом идет дальше.

Шесть шагов до лестницы. Второй снаряд со свистом проносится над домом. Мари-Лора вскрикивает. Снаряд взрывается – на этот раз где-то над устьем реки. Звенят подвески на люстре.

Дождь кирпичей, дождь мелких камешков, медленный дождь сажи. Восемь винтовых ступеней, вторая и пятая скрипят. Повернуться вокруг колонны лестницы. Еще восемь ступенек. Четвертый этаж. Третий. Здесь Мари-Лора проверяет проволоку, которую дедушка Этьен пропустил под телефонным столиком на площадке. Колокольчик на месте, проволока по-прежнему натянута, уходит вертикально в дыру, которую Этьен просверлил в стене. Никто не входил и не выходил.

Восемь шагов по коридору до ванной третьего этажа. Ванна наполнена. На поверхности что-то плавает, наверное мелкие хлопья побелки, а на полу под коленями грязь, но Мари-Лора все равно приникает губами к воде и жадно пьет, стараясь выпить как можно больше.

Назад на лестницу и по ней на второй этаж. Потом на первый, держась за резные перила. Вешалка опрокинута. В коридоре острые осколки чего-то – наверное, посуды из буфета в столовой. Мари-Лора ступает осторожно-осторожно.

На этом этаже окна, видимо, тоже выбиты: она вновь чувствует запах дыма. Дедушкино пальто висит на крючке в прихожей; Мари-Лора надевает его. Здесь туфель тоже нет – куда же она их задевала? Кухня – хаос упавших полок и кастрюль. Раскрытая поваренная книга на полу корешком вверх, словно сбита птица. В буфете Мари-Лора находит половинку батона – все, что осталось со вчерашнего дня.

Посреди кухни – вход в погреб. Она отодвигает обеденный стол, нащупывает металлическое кольцо и поднимает крышку люка.

Приют мышей, пахнувший сыростью и гнилыми моллюсками, как будто десятилетия назад сюда в прилив попала вода и потом долго-долго высыхала. Мари-Лора медлит над открытым люком. Сверху тянет пожаром, снизу – почти полной его противоположностью, затхлой влагой. Дым: дедушка Этьен говорит, что дым – это воздушная взвесь, миллиарды пляшущих в воздухе молекул углерода. Частички гостиных, кафе, деревьев. Людей.

Третий артиллерийский снаряд, визжа, несется к городу с востока. Мари-Лора нащупывает в кармане макет дома. Потом берет хлеб, трость, спускается по приставной лесенке и закрывает за собой люк.

В западне

Возникает свет. Вернер изо всех сил надеется, что это не галлюцинация. Янтарный луч шарит в пыльном воздухе, освещает упавший кусок стены, покореженную полку, два металлических шкафа, развороченные и смятые так, будто исполинская рука разорвала их пополам. Выхватывает из темноты россыпь инструментов, поломанные крюки и десяток совершенно целых банок с гвоздями и шурупами.

Фолькхаймер. Он включил фонарь и раз за разом проводит лучом по нагромождению обломков в дальнем углу: камням, цементу, ломаным доскам. Только через минуту до Вернера доходит, что это лестница.

То, что осталось от лестницы.

Весь угол обрушился. Луч замирает на миг, словно давая Вернеру возможность осознать их положение, сдвигается вправо и медленно, рывками ползет в клубах пыли. В отраженном свете Вернер видит огромный силуэт Фолькхаймера: тот, пригнувшись, спотыкаясь, пробирается под нависшей арматурой и трубами. Наконец свет останавливается. Держа фонарь в зубах, среди рваных косых теней, Фолькхаймер поднимает куски кирпичной кладки, доски, шматы штукатурки. Под ними что-то есть, и это что-то постепенно обретает форму.

Инженер. Бернд.

Его лицо бело от пыли, но глаза – черные дыры, рот – багровый провал. Бернд кричит, но Вернер ничего не слышит за гулом в ушах.

Фолькхаймер поднимает инженера. Пожилой человек на руках у обер-фельдфебеля, в свете фонаря, который тот зажал в зубах, кажется ребенком. Фолькхаймер несет его по заваленному обломками полу, пригибаясь, чтобы не задеть низкий потолок, и усаживает в золотистое кресло. Оно стоит как стояло, только засыпано известковой пылью.

Фолькхаймер большой рукой берет Бернда за челюсть и закрывает ему рот. Вернер, в полутора метрах от них, не слышит никакой перемены.

Погреб вновь содрогается, сверху сыплется горячая пыль.

Теперь луч фонаря кружит по тому, что осталось от потолка. Три огромные дубовые балки надломились, но пока держат. Штукатурка между ними покрыта паутиной трещин, в двух местах торчат трубы. Луч скользит у Вернера за спиной, озаряет упавший верстак и разбитый корпус радиоприемника. Наконец упирается в самого Вернера. Тот вскидывает ладонь, закрывая глаза от света.

Фолькхаймер подходит; его большое участливое лицо под каской придвигается совсем близко. Широкоскулое, знакомое. Глубоко посаженные глаза, раздвоенный кончик носа, массивный, как мышелки бедренной кости. Подбородок – словно континент. Фолькхаймер бережно трогает Вернера за щеку. Отводит руку – пальцы в чем-то красном.

– Надо выбираться наружу, – говорит Вернер. – Надо найти другой выход.

«Наружу?» – произносят губы Фолькхаймера. Он мотает головой. Другого выхода нет.

3. Июнь 1940 г.

Шато

На третий день после бегства из Парижа Мари-Лора с отцом входят в Эврё. Рестораны либо заколочены, либо переполнены людьми. Две женщины в вечерних платьях сидят, привалившись друг к дружке, на ступенях собора. Между рыночными прилавками лежит ничком человек – без сознания или хуже.

Почта закрыта. Телеграф не работает. Самая свежая газета – позавчерашняя. Очередь за талонами на бензин тянется от префектуры на квартал.

В первых двух гостиницах нет мест. В третьей не открывают. Ключный мастер то и дело ловит себя на том, что оглядывается через плечо.

– Папа, – растерянно повторяет Мари-Лора, – мне больно идти.

Он закуривает. Осталось три сигареты.

– Теперь уже близко, Мари.

На западной окраине Эврё дома заканчиваются, начинается сельская местность. Мастер вновь и вновь смотрит на записку, которую дал ему директор. «Мсье Франсуа Жанно, дом № 9, рю-Сен-Николя». Однако когда они доходят до указанного адреса, то видят пожар. В безветренных сумерках дым столбами поднимается над деревьями. В угол ворот въехала машина и сорвала их с петель. Дом – вернее, то, что от него осталось, – огромен. Двадцать стеклянных дверей с фасада, большие свежепокрашенные ставни, тщательно подстриженные живые изгороди. Un château[14].

– Папа, дымом пахнет.

Он ведет Мари-Лору по гравийной дорожке. Рюкзак – или камень глубоко внутри – с каждым шагом все тяжелее. На гравии не блестят лужи воды, перед домом не суется пожарные. Парные мраморные урны у входа опрокинуты. Лестница усыпана хрустальными

подвесками от люстры.

– Что горит, папа?

В дымных сумерках перемазанный в копоти мальчишка, не старше Мари-Лоры, катит им навстречу сервировочный столик. Колесики со стуком подпрыгивают на гравии, на столике дребезжат серебряные ложки и щипцы. С каждого из четырех углов улыбаются полированные купидоны.

– Это дом Франсуа Жанно? – спрашивает мастер.

Мальчишка, не отвечая, проходит мимо.

– Ты не знаешь, что с...

Дребезжание столика удаляется.

Мари-Лора дергает отца за полу:

– Папа, ну скажи, пожалуйста.

В пальтишке, на фоне темных деревьев, она кажется бледнее обычного. Такой испуганной отец ее еще не видел. Не слишком ли много он требует от дочери?

– Горит дом, Мари, и люди воруют оттуда вещи.

– Что за дом?

– Тот дом, куда мы с тобою так долго шли.

Поверх ее головы он видит, как разгорается и гаснет на ветру обугленный дверной косяк. Сквозь дыру в крыше проглядывает темнеющее небо.

Еще два мальчика появляются из клубов дыма. Они тащат портрет в золоченой раме в два раза выше себя. С портрета хмурится давным-давно умерший прапрадедушка. Мастер вскидывает обе руки, чтобы остановить мальчишек:

– Его разбомбили?

Один говорит:

– Внутри еще много осталось.

Полотно картины идет волнами на ветру.

– Ты знаешь, где сейчас мсье Жанно?

Второй отвечает:

– Сбежал еще вчера. Вместе с остальными. В Лондон.

– Не говори ему ничего, – вмешивается первый.

Мальчишки вместе с добычей убегают по дорожке и тают во тьме.

– В Лондон? – шепчет Мари-Лора. – Друг директора в Лондоне?

Мимо них ветер гонит почерневшие листы бумаги. В деревьях шепчутся тени. Лопнувшая дыня на дорожке, словно отрезанная голова. Мастер увидел слишком много. Весь день,

километр за километром, он воображал, как их пригласят в дом и накормят. Картофель с горячим нутром, куда они с Мари-Лорой будут вилками запихивать масло. Лук-шалот, шампиньоны, яйца вкрутую и соус бешамель. Кофе, сигареты. Он отдал бы мсье Жанно камень, а мсье Жанно вытащил бы из нагрудного кармана бронзовый двойной лорнет, поднес его к спокойным глазам и сказал бы: подлинник или фальшивка. Потом Жанно закопал бы камень в саду или спрятал в тайнике за стеной панелью, и на этом бы все закончилось. Долг был бы исполнен. Je ne t'en occupe plus[15]. Им предоставили бы отдельную комнату, они бы приняли ванну, быть может, кто-нибудь бы даже постирал их одежду. Мсье Жанно, наверное, рассказывал бы забавные истории про своего друга-директора, а утром под птичье пенье они бы прочли в свежей газете, что вторжение отменяется, а Франция отделалась небольшими уступками. Он вернулся бы в ключную и вечерами вставлял бы в макеты домиков распашные окошки. Бонжур, бонжур. Все как прежде.

Однако все не как прежде. Деревья колышутся, дом тлеет, а у мастера, который стоит в полутьме на гравийной дорожке, крутится в голове тревожная мысль: «Кто-нибудь может нас искать. Кто-нибудь может знать, что у меня с собой».

Он почти бегом ведет Мари-Лору назад по дорожке.

– Папа, мне больно идти.

Он перекидывает рюкзак себе на грудь, сажает ее на закорки и несет. Они проходят мимо сорванных ворот и разбитой машины, затем поворачивают не к востоку – к центру Эврё, – а к западу. Мимо проезжают велосипедисты. На их усталых лицах то ли подозрительность, то ли страх. А может, страх и подозрительность – в глазах самого мастера.

– Не так быстро, – просит Мари-Лора.

Они останавливаются в бурьяне в двадцати шагах от дороги. Вокруг ничего, лишь наступающая ночь да ухают на деревьях совы, а в воздухе над придорожной канавой носятся летучие мыши. Мастер напоминает себе, что алмаз – всего лишь кусок углерода, спрессованный за миллионы лет в недрах земли и выброшенный на поверхность вулканической трубкой. Кто-то его огранил, кто-то отшлифовал. Он точно так же не может быть источником проклятия, как древесный лист, или зеркало, или жизнь. В мире есть только случайность – случайность и законы физики.

Да и в любом случае то, что у него с собой, – стекляшка. Обманка для отвода глаз.

Позади, над Эврё, облачная гряда вспыхивает один раз, потом второй. Молния? На дороге впереди большой нескошенный луг и плавный силуэт строений. Сельский дом и сарай. Окна не горят, движения не видно.

– Мари, я вижу гостиницу.

– Ты сказал, они переполнены.

– Эта выглядит приветливой. Пошли. Осталось совсем немного.

Он вновь несет дочь. Еще чуть больше полкилометра. Окна сельского дома по-прежнему темны. Сарай чуть подальше. Мастер прислушивается, но слышит лишь стук крови в ушах. Ни собачьего лая, ни света фонарей. Возможно, крестьяне тоже сбежали. Он ставит Мари-Лору на землю перед сараем и тихонько стучит. Ждет, потом стучит снова.

Замок – новенький навесной «Берке», с одним ригелем; мастер легко вскрывает его своими инструментами. Внутри овес, ведра с водой и медленно кружащие слепни, но лошадей нет. Он открывает стойло, усаживает Мари-Лору в уголок и снимает с нее туфли.

– Вуаля, – говорит он. – Один из постояльцев завел в фойе своих лошадей, так что тут немножко пахнет. Но сейчас портье его выталкивают. Смотри, вот он уже за дверь. До свиданья, лошадка! Отправляйся спать в конюшню, пожалуйста!

Лицо у дочки растерянное. Испуганное.

За домом сад и огород. В полутьме можно различить розы, латук, листовой салат. Клубника по большей части еще не созрела. Мягкие белые морковки с налипшей на корешки черной землей. Ничто не шевелится; в окне не возникает крестьянин с ружьем. Мастер снимает рубашку, набирает в нее овощей, наливает воды из крана на улице, закрывает дверь и кормит дочь. Затем укладывает ее на свое пальто и вытирает ей лицо своей рубашкой.

Остались две сигареты. Затяжка, выдох.

Следуй путем логики. У каждого следствия есть причина, из каждой трудной ситуации есть выход. К каждому замку можно подобрать ключ. Можно вернуться в Париж, или остаться здесь, или идти дальше.

Снаружи долетает совиное уханье. Далекие раскаты грома или канонады, а может, того и другого. Он говорит:

– Гостиница очень дешевая, та chérie. Хозяин сказал, наш номер стоит сорок франков на ночь, но только двадцать, если мы сами приготовим себе постели.

Он прислушивается к ее дыханию.

– Я сказал: «Конечно мы сами приготовим себе постели». А он ответил: «Отлично, я дам вам доски и гвозди».

Мари-Лора не улыбается.

– Теперь мы отправимся к дяде Этьену?

– Да, Мари.

– Который на семьдесят шесть процентов сумасшедший?

– Он был с твоим дедом – своим братом, – когда тот погиб. На войне. Надышался ипритом и немного сдвинулся умом. Начал видеть всякое разное.

– Что значит «всякое разное»?

Раскаты все ближе. Сарай слегка подрагивает.

– То, чего нет.

Пауки ткуют паутину между потолочными брусьями. Мотыльки бьются в стекло. Начинается дождь.

Вступительные экзамены

Вступительные экзамены в школу национал-политического образования проходят в Эссене, в тридцати километрах от Цольферайна, в душном танцзале, где работают три огромных электрических калорифера. Один непрерывно лязгает и плюется паром, несмотря на все усилия его починить. С потолка свисают флаги военного министерства, каждый размером с танк.

Абитуриентов сто человек, все мальчики. Представитель школы, в черной форме, выстраивает их в шеренгу по четыре. На груди у него звякают медали.

– Вы, – объявляет он, – пытаетесь поступить в самую элитную школу мира. Экзамены продлятся восемь дней. Мы возьмем только самых чистых, самых сильных.

Второй представитель школы раздает форму: белые рубашки, белые шорты, белые носки. Мальчики переодеваются прямо на месте.

С Вернером в его возрастной группе еще двадцать шесть мальчиков. Все, кроме двух, выше его. Все блондины. Ни одного очкарика.

Все первое утро мальчики в белых формах заполняют анкеты. Полная тишина, только скребут карандаши по бумаге, расхаживают экзаменаторы да рычит калорифер.

Где родился твой дед? Какого цвета глаза у твоего отца? Работала ли твоя мать в учреждении? Из ста десяти вопросов про происхождение Вернер может уверенно ответить только на шестнадцать. Остальное – догадки.

Откуда родом твоя мать?

Из Германии.

Откуда родом твой отец?

Из Германии.

На каком языке говорит твоя мать?

Прошлого времени не предусмотрено. Вернер пишет: «на немецком».

Он вспоминает фрау Елену сегодня утром, когда все дети еще спали, а та, стоя в ночной рубашке под лампой, последний раз проверяла, все ли у него собрано. Она выглядела растерянной, как будто не успевает осознать стремительные перемены в жизни. Она говорила, что гордится им. Что Вернеру надо постараться изо всех сил. «Ты сообразительный мальчик. У тебя получится». Она снова и снова поправляла его воротник. Когда он сказал: «Я ж на неделю всего еду», ее глаза начали медленно наливаться слезами, как будто их уровень внутри неудержимо поднимается, а фрау Елена ничего не может с этим поделать.

Во второй половине дня абитуриенты бегают. Проползают под препятствиями, отжимаются, влезают по канатам, подвешенным к потолку, – сто детей в белой форме неразличимой чередой проходят перед глазами экзаменаторов, будто телята. В челночном беге Вернер пришел девятым. В лазанье по канату – предпоследним. Ему не справиться.

Вечером ребята высыпают в вестибюль. Некоторых встречают гордые родители на машинах, другие по двое или по трое уверенно исчезают в улочках, – видимо, все знают, куда идти. Вернер в одиночестве проходит шесть кварталов до спартанского хостела, где снимает койку (две марки за ночь), и долго лежит без сна под разговоры других постояльцев, слушая курлыканье голубей, бой башенных часов и рычание автомобилей. Это его первая ночь за пределами Цольферайна, и Вернер невольно думает

о Ютте, которая не разговаривала с ним с тех пор, как он разбил приемник. Смотрела с таким укором, что ему приходилось отводить взгляд. Ее глаза говорили: «Ты меня предал». Хотя ведь на самом деле он ее спасал?

На второе утро – проверка расовой чистоты. От Вернера много не требуется – только поднять руки или не моргать, пока ему в зрачки светят фонариком. Он потеет и переминается. Сердце беспричинно стучит. Пахнувший луком лаборант в белом халате измеряет расстояние между его висками, обхват головы, толщину и форму губ. Записывает длину его стопы, пальцев на руках, расстояние от пупка до глаз. Длину члена. Прикладывает к носу деревянный транспортир, чтобы определить его угол.

Второй лаборант оценивает цвет глаз по шкале, на которой представлены больше полусотни оттенков голубого и синего. У Вернера глаза *himmelblau* – небесно-голубые. Чтобы оценить цвет волос, лаборант отрезает у Вернера прядь и сравнивает с тремя десятками прядей, закрепленных на доске, – от самых темных до самых светлых.

– *Schnee*, – говорит лаборант и записывает.

Снег. У Вернера волосы белее самого светлого образца на доске.

Ему проверяют зрение, берут анализ крови, снимают отпечатки пальцев. К полудню он гадает, осталось ли у него что-нибудь неизмеренное.

Затем устный экзамен. Сколько всего учреждений национал-политического образования? Двадцать. Кто наши величайшие олимпийцы? Вернер не знает. Когда день рождения фюрера? Двадцатого апреля. Кто наш величайший писатель, что такое Версальский мир, какой немецкий самолет самый быстрый?

На третий день снова бег, лазанье, прыжки. Все под секундомер. Лаборанты, представители школы, экзаменаторы – все в формах чуть разного оттенка – записывают результаты на миллиметровке очень мелким почерком, затем миллиметровку лист за листом вкладывают в кожаные скоросшиватели с тисненой золотой молнией на обложке.

Абитуриенты взволнованным шепотом гадают:

– Я слышал, в школе есть моторные лодки, охотничьи соколы, тиры.

– Я слышал, возьмут только по семь человек из каждой возрастной группы.

– А я слышал, что только по четыре.

Они говорят о школе с надеждой и бравадой: каждый отчаянно хочет, чтобы его взяли. Вернер убеждает себя: «И я тоже хочу».

И все же по временам, несмотря на честолюбивые мечты, на него накатывает тоска: он видит Ютту с кусками радиоприемника в руках, и под ложечкой начинает сосать от неуверенности.

Абитуриенты взбираются на препятствия, бегают один спринт за другим. На пятый день трое выбывают из борьбы. На шестой – еще четверо. С каждым часом в танцзале все жарче, так что к седьмому дню воздух, стены и пол пропитаны резким мальчишеским запахом. В качестве последнего испытания каждый из четырнадцатилеток должен влезть по прибитой к стене лестнице, перебраться на крошечную платформу, упиравшись головой в потолок, зажмуриться и спрыгнуть на флаг, который держат другие абитуриенты.

Первым лезть крепкому деревенскому парнишке из Херне. Он быстро взбирается по лестнице, но, очутившись высоко на платформе, бледнеет. Коленки у него дрожат.

– Трус, – говорит кто-то.

Мальчик рядом с Вернером шепчет:

– Боится высоты.

Экзаменатор бесстрастно ждет. Мальчишка на платформе заглядывает через ее край – словно смотрит в клубящуюся бездну – и закрывает глаза. Его шатает. Тянутся бесконечные секунды. Экзаменатор смотрит на секундомер. Вернер крепче вцепляется в свой край флага.

Теперь уже все в зале смотрят на них, даже ребята из других возрастных групп. Парнишку снова шатает – ясно, что сейчас он потеряет сознание. И все равно никто не пытается ему помочь.

Он заваливается вбок. Абитуриенты успевают шагнуть в сторону и подставить флаг, но не удерживают край, так что парнишка ударяется руками в пол с таким звуком, будто кто-то ломает о колено пучок хвороста.

Парнишка садится. Обе его руки вывернуты под чудовищными углами. С мгновение он удивленно моргает, глядя на них, словно шарит в памяти и силится понять, как вообще сюда попал.

Потом начинает кричать. Вернер отводит глаза. Четирем мальчикам приказывают вынести пострадавшего.

Один за другим оставшиеся четырнадцатилетки взбираются по лестнице, дрожат и прыгают. Один безостановочно рыдает. Другой приземляется неудачно и вывихивает лодыжку. Следующий собирается с духом почти две минуты. Пятнадцатый мальчик оглядывает танцзал, словно это бурное холодное море, затем спускается назад по лестнице.

Вернер наблюдает за ними со своего места у флага. Когда подходит его очередь, он говорит себе, что трусить нельзя. Сквозь закрытые веки он видит металлические конструкции Цольферайна, огнедышащие трубы, людей, которые высыпают из подъемника, как муравьи, вход в Девятую шахту, где пропал отец. Ютта за мокрым от дождя стеклом смотрит, как он уходит с ефрейтором к герру Зидлеру. Вспоминается вкус взбитых сливок и сахарной пудры, гладкие икры жены герра Зидлера.

Им нужны упорные мальчики.

Мы возьмем только самых чистых, самых сильных.

Твой брат пойдет на шахту, точно так же, как остальные мальчики из этого дома.

Вернер взбирается по лестнице. Перекладины плохо оструганы, и он сажает занозы. Сверху красный флаг с белым кругом и черной свастикой кажется неожиданно маленьким. Кольцо бледных лиц обращено вверх. Здесь даже жарче, чем внизу, от запаха пота кружится голова.

Вернер без колебаний подходит к краю платформы, закрывает глаза и прыгает. Он приземляется точно в центр флага, мальчишки по сторонам издают коллективный стон.

Вернер уже на полу, все кости целы. Экзаменатор щелкает секундомером, записывает, поднимает лицо. Полсекунды или даже меньше они смотрят друг другу в глаза. Затем экзаменатор возвращается к своим записям.

– Хайль Гитлер! – орет Вернер.

Следующий мальчик начинает взбираться по лестнице.

Бретань

Утром их подбирает старенький мебельный фургон. Отец сажает Мари-Лору в кузов, где под брезентовым тентом уже устроились человек десять. Мотор рычит и чихает; грузовик едет немногим быстрее пешехода.

Женщина молится вслух с норманнским акцентом, кто-то угощает соседей пирожками, все пахнет дождем. «Штуки»[16] не пикируют на них, не поливают пулеметным дождем. Никто в грузовике не видел немцев. Половину утра Мари-Лора пытается убедить себя, что предыдущие дни были хитрым испытанием, которое придумал для нее отец, что фургон едет не из Парижа, а в Париж и сегодня же они вернутся домой. На верстаке будет стоять макет, на кухонном столе – сахарница с ложечкой. За открытым окном на рю-де-Патриарш торговец сыром будет запирает свой восхитительно пахнущий магазинчик, как почти каждый вечер на памяти Мари-Лоры, каштан будет шелестеть листьями, папа сварит кофе, нальет ей теплую ванну и скажет: «Ты отлично справилась, Мари-Лора. Я тобой горжусь!»

Фургон съезжает с шоссе на тряскую грунтовку. Высокие травы хлещут его по бокам. Сильно за полночь, западнее Канкаля кончается бензин.

– Теперь уже близко, – шепчет отец.

Мари-Лора бредет в полудреме. Дорога немногим шире тропы. Пахнет мокрым зерном и подстриженной живой изгородью. Между звуками их шагов слышится низкий, почти инфразвуковой рев. Она дергает отца, чтобы тот остановился:

– Армия.

– Океан, – отвечает он.

Мари-Лора наклоняет голову набок.

– Это океан, Мари. Честное слово.

Он несет ее на спине. Кричат чайки, пахнет мокрым камнем, птичьим пометом, солью, хотя прежде Мари-Лора не знала, что у соли есть запах. Море говорит на своем языке, и речь отдается в камнях, в воздухе, в небе. Как там говорил капитан Немо? Море не подвластно деспотам.

– Мы входим в Сен-Мало, – говорит ее отец. – В ту часть, которую тут называют «город внутри стен».

Он описывает то, что видит: решетку ворот, крепостные стены, гранитные здания, колокольню над крышами. Эхо его шагов отражается от высоких домов и дождем сыплется сверху. Мари-Лора достаточно взрослая, чтобы понимать: то, что папа описывает как приветливое и необычное, вполне может быть пугающим и чужим.

Над головой звучат непривычные птичьи голоса. Папа сворачивает налево, тяжело ступая под ее весом, потом направо. У Мари-Лоры такое чувство, будто все последние четыре дня они пробирались в центр запутанного лабиринта, а теперь на цыпочках крадутся мимо караульных в какую-то внутреннюю камеру, где, возможно, дремлет

чудовище.

– Рю-Воборель, – произносит отец, хрипло дыша. – Вход должен быть там. Или там?

Он идет назад, сворачивает в проулок и через некоторое время останавливается.

– А спросить не у кого?

– Ни в одном окне нет света, Мари. Все либо спят, либо притворяются, что спят.

Наконец он находит вход, ставит Мари-Лору на тротуар и жмет кнопку. Слышно, как в доме звенит звонок. И больше ничего. Он жмет второй раз. Снова ничего. Жмет третий.

– Это дом твоего дяди?

– Да.

– Он нас не знает.

– Он спит. Нам тоже сейчас следовало бы спать.

Они садятся спиной к холодной кованой решетке. Массивная деревянная дверь в нише сразу за ними. Мари-Лора кладет голову отцу на плечо, он стаскивает с нее туфли. Мир как будто слегка покачивается, словно город уплывает прочь. Словно там, дальше от моря, всей Франции осталось только кусать ногти, бежать, спотыкаясь и плача, а проснувшись на серой заре – не верить в то, что произошло. Кому сейчас принадлежат дороги? Поля? Деревья?

Отец вынимает из нагрудного кармана рубашки последнюю сигарету и закуривает.

В глубине дома слышны шаги.

Мадам Манек

Как только папа называет свое имя и фамилию, дыхание за дверью переходит в протяжное «ах!». Решетка скрипит, дверь за нею открывается.

– Матерь Божия! – произносит женский голос. – Вы были такой маленький!

– Моя дочь, мадам. Мари-Лора, это мадам Манек.

Мари-Лора пытается сделать реверанс. Две крепкие ладони берут ее за щеки – это руки геолога или садовника.

– Господи, вот правда, гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдется. Ой, милая, да у тебя все чулки изодраны! И ноги стерты! Ты наверняка умираешь с голоду.

Они проходят в узкий вход. Мари-Лора слышит, как лязгает, захлопываясь, решетка, потом женщина запирает за ними дверь. Два засова, одна цепочка. Их проводят в помещение, где пахнет пряными травами и опарой, – на кухню. Папа расстегивает на Мари-Лоре пальто, помогает ей сесть.

– Мы очень признательны. Я понимаю, какой поздний час, – говорит он.

Пожилая женщина – мадам Манек – быстрая и энергичная, видимо, уже переборола первое изумление. Оборвав папины благодарности, она вместе со стулом придвигает Мари-Лору к столу. Чиркает спичка, вода льется в чайник, хлопает дверца холодильника. Через мгновение уже слышно гудение газа и щелканье нагреваемого металла. Еще через мгновение к лицу Мари-Лоры прикасается теплое полотенце. Перед нею кружка с холодной чистой водой. Каждый глоток – счастье.

– О, город совершенно переполнен, – говорит мадам Манек, двигаясь по кухне. У нее странный выговор, какой-то напевный, почти сказочный. Судя по всему, она маленького роста, а на ногах у нее большие тяжелые башмаки. Голос низкий, хриловатый, как у матроса или курильщика. – Некоторым по карману гостиницы или меблированные комнаты, но многие ютятся на складах, на соломе, почти без еды. Я бы пригласила их сюда, да вы знаете своего дядюшку, его это может напугать. Нет ни солярки, ни керосина. Английские корабли давно ушли. Они ничего не оставили, все сожгли. Я сперва ни за что не хотела верить, но у Этьена радио работает круглые сутки...

Треск разбиваемых яиц. Шипение масла на сковородке. Отец рассказывает сокращенную историю их бегства: вокзал, напуганные толпы. Он пропускает остановку в Эврё, но вскоре Мари-Лору отвлекают запахи: омлета, шпината, плавящегося сыра.

Омлет на столе. Мари-Лора наклоняет лицо над его паром:

– Пожалуйста, можно мне вилку?

Старуха смеется. У нее чудесный добрый смех. Через секунду вилка уже у Мари-Лоры в руке.

Омлет воздушный и вкусный, как золотое облако. Мадам Манек говорит: «Я думаю, ей нравится», – и снова смеется.

Вскоре на столе появляется вторая тарелка с омлетом, и папа уплетает за обе щеки.

– Как насчет персиков, милая? – спрашивает мадам Манек.

Мари-Лора слышит, как консервный нож открывает банку, как льется в миску сироп. Через секунду она уже ест ломтики влажного солнечного света.

– Мари, – шепчет папа, – не забывай про приличия.

– Но они...

– Ешь, деточка, не стесняйся, у нас много. Я закатываю их каждый год.

После того как Мари-Лора съедает две банки персиков, мадам Манек тряпкой вытирает ей ноги, снимает с нее пальто, составляет посуду в раковину и спрашивает: «Сигарету?» Папа стонет от благодарности. Чиркает спичка, взрослые курят.

Открывается дверь или окно, и Мари-Лора слышит гипнотический голос моря.

– А Этьен? – спрашивает папа.

– То сидит взаперти, как покойник, то ест, как альбатрос.

– Он по-прежнему не?..

– Вот уже двадцать лет.

Может, взрослые говорят друг другу что-то еще. Может, Мари-Лоре следовало бы проявить больше любопытства насчет двоюродного дедушки, который видит то, чего нет, и насчет судьбы всего и всех, кого она когда-либо знала. Однако желудок у нее полон, кровь теплым золотом струится по жилам, а за открытым окном, за стенами, бьется море. Лишь кусок каменной кладки отделяет Мари-Лору от края Бретани, самого дальнего подоконника Франции. И пусть немцы накатывают неудержимо, как лава, Мари-Лора уплывает во что-то вроде сна или воспоминания о сне: ей шесть или семь лет, она ослепла совсем недавно, папа сидит на стуле рядом с ее кроватью, стругает деревяшку, курит, а на сто тысяч парижских крыш и труб спускается тихий вечер; стены вокруг мало-помалу тают, и потолок тоже, весь город растворяется в тумане, и наконец сон накрывает ее, словно тень.

Ты призван

Все хотят слушать рассказы Вернера. Как проходили экзамены, что его заставляли делать. Расскажи нам все. Младшие дети теребят его за рукав, старшие ведут себя уважительно. Снежноголовый мечтатель сумел выбраться из копоты.

– Сказали, что из моей возрастной группы возьмут только двоих. Может, троих.

Ютта сидит за дальним концом стола, и Вернер ощущает жар ее внимания. На остаток денег герра Зидлера он купил «народный приемник» за тридцать четыре марки восемьдесят, двухламповый, маломощный, дешевле даже соседских «Фолькс-Эмпфенгеров». Он принимает только длинноволновые общенемецкие программы Дойчландзендера. Больше ничего. Ничего иностранного.

Дети при виде приемника радостно вопят. Ютта не выказывает интереса.

– А много было математики? – спрашивает Мартин Заксе.

– Вам давали сыр? А пироги?

– Тебе дали пострелять из винтовки?

– Вы ездили на танках? Ведь правда ездили?

– Я не знал ответов на половину вопросов, – отвечает Вернер. – Я наверняка не поступлю.

Однако он поступает. Через пять дней после его возвращения из Эссена почтальон приносит в сиротский дом письмо и передает лично в руки Вернеру. Жесткий конверт с орлом и свастикой. Без марки. Как депеша от Бога.

Фрау Елена стирает. Младшие мальчики сгрудились вокруг нового приемника: слушают получасовую программу «Детский клуб». Ютта и Клаудиа Фёрстер повели трех младших девочек на ярмарочное кукольное представление; Ютта с самого возвращения Вернера не сказала ему и десяти слов.

«Ты призван», – говорится в письме. Вернеру указано прибыть в Учреждение национал-политического образования № 6 в Шульпфорте. Он стоит в гостиной сиротского дома, пытаюсь осознать новость. Стены в трещинах, лупящийся потолок, две скамьи, на

которых одни сироты сменяют других, сколько существует шахта. Он сумел отсюда выбраться.

Шульпфорта. Крохотная точка на карте возле Наумбурга, в Саксонии. Триста километров к востоку. Лишь в самых дерзких мечтах Вернер позволял себе надеяться, что когда-нибудь поедет так далеко. Он несет письмо в проулок за домом, где фрау Елена в клубах дыма кипятист простыни.

Она перечитывает листок несколько раз.

– Мы не сможем заплатить.

– Нам и не надо.

– Сколько туда ехать?

– Пять часов на поезде. Билет уже оплачен.

– Когда?

– Через две недели.

Фрау Елена: мокрые волосы прилипли к щекам, под глазами багровые мешки, розовые ободки у ноздрей. Тонкий крестик на влажной шее. Гордится ли она им? Фрау Елена трет глаза, рассеянно кивает и говорит:

– Они будут рады.

Потом возвращает ему письмо и смотрит в проулок между тесными рядами веревок с бельем и угольными ведрами.

– Кто, фрау?

– Все. Соседи. – Она смеется неожиданно резким смехом. – Заместитель министра. Тот, что забрал твою книгу.

– Но не Ютта.

– Да. Не Ютта.

Он мысленно репетирует доводы, которые изложит сестре. Pflicht. Это означает «долг». Обязательства. Каждый немец выполняет свое предназначение. Надевай башмаки и иди работать. Ein Volk, ein Reich, ein Führer[17]. У каждого из нас своя роль, сестренка. Однако еще до возвращения девочек известие, что его приняли в школу, облетает весь квартал. Соседи приходят один за другим, восклицают, трясут подбородками. Шахтерские жены приносят свиные ножки и сыр, передают из рук в руки письмо, грамотные читают вслух неграмотным, и Ютта, вернувшись, застаёт полную комнату ликующих людей. Близняшки Ханна и Сусанна Герлиц упоенно носятся вокруг дивана, шестилетний Рольф Гупфауэр затягивает: «Вставай! Слава отечеству!» – несколько других детей подхватывают, и Вернер не видит, как фрау Елена говорит с Юттой в уголке, как Ютта убегает наверх.

Когда звонят к обеду, она не спускается. Фрау Елена просит Ханну Герлиц прочесть молитву и говорит Вернеру, что побеседует с Юттой, а он должен оставаться здесь, ведь все эти люди пришли ради него. В голове у него то и дело искрами вспыхивают слова: «Ты призван». Каждая ускользающая минута сокращает его срок в этом доме. В этой жизни.

После обеда маленький Зигфрид Фишер, не старше пяти лет, обходит стол, дергает

Вернера за рукав и протягивает ему вырванную из газеты фотографию. На снимке шесть бомбардировщиков плывут над облачной грядой. На фузеляжах застыли солнечные полосы, шарфы пилотов развеваются.

– Ты ведь им покажешь, правда? – спрашивает Зигфрид Фишер.

Его лицо пылает верой. Оно словно обводит кружком все часы, что Вернер провел в сиротском доме, мечтая о чем-то большем.

– Да, – говорит Вернер; глаза всех детей обращены на него. – Да, обязательно.

Оссирег

[18]

Мари-Лора просыпается от боя часов на церкви: два, три, четыре, пять. Слабый запах плесени. Старые пуховые подушки, слежавшиеся от времени. Шелковые обои за продавленной кроватью, на которой она сидит. Вытянув руки, Мари-Лора почти может коснуться стен с обеих сторон.

Эхо колокольного звона затихает. Она проспала почти весь день. Что это за приглушенный рокочущий гул? Толпа? Или по-прежнему море?

Мари-Лора спускает ноги на пол. Кровавые мозоли на пятках пульсируют. Где трость? Осторожно – чтобы не удариться обо что-нибудь щиколоткой – Мари-Лора возит ступнями по половицам. За занавеской окно – высоко, не дотянуться. Напротив – комод. Ящики из него можно выдвинуть только наполовину – дальше они упираются в кровать.

Погода здесь такая, что ее можно ощущать пальцами.

Мари-Лора нащупывает дверной проем и выходит – куда? В коридор? Здесь гул тише, почти как шепот.

– Есть кто-нибудь?

Тишина. Затем движение вниз, тяжелые башмаки мадам Манек взбираются по узким винтовым ступеням, ее затрудненное прокуренное дыхание все ближе – третий этаж, четвертый – сколько же в доме этажей? Наконец голос мадам зовет: «Мадемуазель?» Мари-Лору берут за руку и ведут назад в комнату, где она проснулась, усаживают на край кровати.

– Тебе надо в уборную? Наверняка надо, а потом в ванну. Ты очень хорошо спала, твой папа сейчас в городе, хочет отправить телеграмму, хотя я его предупредила, что легче вытаскивать перья из патоки. Есть хочешь?

Мадам Манек взбивает подушки, встряхивает одеяло. Мари-Лора уговаривает себя сосредоточиться на чем-нибудь маленьком и конкретном. На макете в Париже. На одной-единственной ракушке в лаборатории доктора Жеффара.

– А что, весь этот дом принадлежит моему двоюродному дедушке Этьену?

– Каждая комната.

– И как же он за него платит?

Мадам Манек смеется:

– Сразу быка за рога! Твой двоюродный дедушка унаследовал этот дом от отца, твоего прадедушки. Он был очень успешный и богатый человек.

– Вы его знали?

– Я работаю здесь с тех пор, как мсье Этьен был маленьким мальчиком.

– И мой дедушка тоже? Вы и его знали?

– Да.

– А я сегодня познакомлюсь с дядей Этьеном?

Мадам Манек отвечает не сразу:

– Возможно, нет.

– Но он здесь?

– Да, детка. Он всегда здесь.

– Всегда?

Большие руки мадам Манек заключают ее в объятия.

– Давай пока займемся ванной. Твой папа придет и все тебе объяснит.

– Папа ничего не объясняет. Он сказал только, что его дядя был на войне вместе с моим дедушкой.

– Так и было. И твой двоюродный дедушка вернулся с войны... – мадам Манек ищет слова, – не совсем таким, каким на нее ушел.

– Вы хотите сказать, стал видеть то, чего нет.

– Испуганным. Как мышь в мышеловке. Он видел, как мертвые проходят сквозь стены. Ужасы на перекрестках. Теперь он не выходит из дому.

– Никогда?

– Уже много лет. Но Этьен – чудо. Он знает все на свете.

Мари-Лора слышит скрип деревянных стропил, крики чаек и тихий рокот за окном.

– Мы очень высоко, мадам?

– На шестом этаже. Удобная кровать, правда? Я надеялась, что вы с папой хорошо отдохнете.

– Окно открывается?

– Да, милая. Хотя, наверное, пока лучше оставить ставни закрытыми...

Мари-Лора уже стоит на кровати, ведет ладонями по стене:

– Отсюда видно море?

– Нам велели держать окна и ставни закрытыми. Но разве что на минутку...

Мадам Манек поворачивает ручку, открывает створки внутрь, распахивает ставни. И тут же в комнату врывается ветер – яркий, свежий, соленый, лучезарный. Рокот вздымается и опадает.

– А тут есть улитки, мадам?

– Улитки? В океане? – Снова смех. – Их там как капель в дожде. Ты интересуешься улитками?

– Да-да-да. Я находила древесных улиток и садовых, а морских – никогда.

– Тогда ты приехала куда надо, – говорит мадам Манек.

Она наливает теплую ванну на третьем этаже. Из ванной Мари-Лора слышит, как мадам закрывает дверь. В тесной ванной комнате пол стонет под тяжестью воды, стены потрескивают, как будто это каюта «Наутилуса». Боль в пятках слабеет. Мари-Лора погружается с головой. Никогда не выходить из дому! Десятилетиями прятаться в этом странном узком доме!

К обеду ее наряжают в крахмальное платье, которому неизвестно сколько десятилетий. Они сидят за квадратным кухонным столом, папа и мадам Манек друг напротив друга, упираясь под столом коленями. Окна и ставни плотно закрыты. Приемник отрывисто перечисляет имена министров. Де Голль в Лондоне, Поля Рейно сменил Петен. На обед рыба, тушенная с зелеными помидорами. Папа рассказывает, что письма не приходят и не отправляются уже три дня. Телеграфные линии не работают. Самой свежей газете – шесть дней. По радио диктор читает частные объявления.

Мсье Шемину, бежавший в Оранж, ищет своих троих детей, оставленных с багажом в Иври-сюр-Сен.

Франсис в Женеве ищет информацию о Мари-Жанне, последней раз виденной в Жантийи.

Мама молится о Люке и Альберте, где бы те ни были.

Л. Рабьер ищет сведения о своей жене, последней раз виденной на вокзале Орсе.

А. Коттер сообщает матери, что жив и находится в Лавале.

Мадам Мейзё разыскивает шесть своих дочерей, отправленных поездом в Редон.

– Все кого-нибудь потеряли, – шепчет мадам Манек.

Папа Мари-Лоры выключает приемник; пощелкивают, остывая, лампы. Наверху тот же голос продолжает тихо читать имена. Или это ей кажется? Она слышит, как мадам Манек встает и собирает тарелки, а папа выдыхает так, будто табачный дым давит на его легкие и нужно их быстрее освободить.

Вечером они с папой поднимаются по винтовой лестнице и ложатся спать бок о бок на той же продавленной кровати, в той же спальне со старыми шелковыми обоями, на том же шестом этаже. Отец возится с рюкзаком, с дверной задвижкой, со спичками. Вскоре в воздухе уже привычный запах его сигарет, синих «Галуаз». Мари-Лора слышит, как со скрипом и щелчком раскрываются створки окна, и сразу – долгожданный шелест ветра или моря и ветра – ее ухо не может их разделить. Вместе с ним в комнату врываются запахи соли, сена, рыбного рынка и далеких болот. И ничего такого, что походило бы

на запах войны.

– А мы можем пойти завтра к морю, папа?

– Скорее всего, не завтра.

– А где дядя Этьен?

– Наверное, в своей комнате на пятом этаже.

– И видит то, чего нет?

– Нам очень повезло, что он есть.

– И что есть мадам Манек. Она замечательно готовит, правда? Может быть, даже чуть лучше тебя?

– Ну если только чуть-чуть.

Мари-Лора рада, что в голосе отца наконец появилась улыбка. Однако она чувствует, что за улыбкой его мысли бьются, как птицы в клетке.

– Что значит, папа, что они нас оккупируют?

– Это значит, они разместят на наших площадях свои грузовики.

– Они заставят нас говорить на своем языке?

– Может быть, они заставят нас перевести часы на один час.

Дом скрипит. Чайки кричат. Папа снова закуривает.

– Как можно «занять страну»? Это как занимают комнату?

– Это военный контроль, Мари. Хватит вопросов на сегодня.

Тишина. Двадцать сердцебиений. Тридцать.

– Как может одна страна заставить другую перевести часы? А если все откажутся?

– Тогда многие придут на работу слишком рано. Или опоздают.

– Помнишь нашу квартиру, папа? Мои книги, и наш макет, и шишки на подоконнике?

– Конечно.

– Я расставляла шишки по размеру, от больших к маленьким.

– Они по-прежнему там.

– Ты так думаешь?

– Я знаю.

– Ты не можешь знать.

– Ладно, не знаю, но уверен.

– А прямо сейчас немецкие солдаты укладываются на наши кровати, папа?

– Нет.

Мари-Лора старается лежать очень тихо. Она почти слышит, как у папы в голове крутятся шестеренки.

– Все будет хорошо, – шепчет она; отец стискивает ей руку. – Мы немного побудем здесь, а потом вернемся в свою квартиру, и шишки будут там, где мы их оставили, и «Двадцать тысяч лье под водой» будут лежать в ключной, и никто не будет спать на наших кроватях.

Далекое торжественное пение моря. Стук чьих-то каблучков по булыжной мостовой внизу. Мари-Лоре очень хочется услышать: «Да, конечно, *ma chérie*», но папа молчит.

Не лги

Он не может сосредоточиться на уроках, на простых разговорах или домашних поручениях. Стоит закрыть глаза, его захватывает видение школы в Шульпфорте: красные флаги, мускулистые лошади, сверкающие лаборатории. Лучшие мальчишки Германии. Иногда он видит в себе символ новых возможностей, на который обращены все взгляды. А по временам перед ним мелькает деревенский парень со вступительных экзаменов, как тот побледнел и зашатался, но никто не пришел ему на помощь.

Почему Ютта за него не рада? Почему даже сейчас, когда он вырвался отсюда, в глубине мозга звучат какие-то непонятные предостережения?

– Расскажи нам снова про ручные гранаты! – просит Мартин Заксе.

– И про соколиную охоту! – подхватывает Зигфрид Фишер.

Трижды Вернер готовит доводы, и трижды Ютта поворачивается на каблуках и уходит прочь. Час за часом она возится с малышами, или отправляется за покупками на рынок, или выискивает другие предлоги помочь фрау Елене, найти себе дело вне дома.

– Она не хочет меня слушать, – говорит Вернер фрау Елене.

– А ты все-таки постарайся.

Он сам не успел заметить, как до отъезда остался один день. Вернер просыпается до зари и заходит в спальню девочек. Ютта лежит, обхватив голову руками, одеяло намотано на тело, подушка заткнута в щель между матрасом и стеной: даже во сне все не так, все поперек. Над кроватью ее фантастические рисунки: родной поселок фрау Елены, Париж с кружащими птичьими стаями над тысячью белых башен.

Вернер зовет ее по имени.

Ютта плотнее заворачивается в одеяло.

– Ты выйдешь со мной пройтись?

К его удивлению, она садится на постели. Они выходят из спящего дома. Вернер идет молча. Они перелезают через один забор, потом через второй. У Ютты за ботинками

тянутся незавязанные шнурки. Репейник царапает колени. Встающее солнце прожигает дырочку в горизонте.

Останавливаются на краю оросительного канала. В прошлые зимы Вернер довозил Ютту в тележке до этого самого места, и они смотрели, как конькобежцы соревнуются на замерзшем канале: крестьяне с привязанными к обуви лезвиями, с заиндевевой бородой, проносились мимо группами по пять-шесть человек на дистанции в десять или пятнадцать километров. Глаза конькобежцев были как у лошадей в длинном забеге. Вернеру нравилось смотреть на них, ощущать поднятый ими ветер, слушать звон коньков – сперва рядом, потом затихающий вдали. Его наполняло странное волнение, и казалось, сейчас душа вырвется и заговорит с ними. Но как только они исчезали за излучиной реки, оставив только белые следы от коньков, волнение спадало, и он вез Ютту назад, чувствуя себя одиноким, брошенным и запертым в своей безнадежной жизни.

– Прошлой зимой конькобежцев не было, – говорит он.

Сестра смотрит на канал. Глаза у нее лиловые. Волосы всклокоченные, непослушные. Может, даже светлее, чем у него. Schnee.

– В этом году тоже не будет, – отвечает она.

Шахтный комплекс – дымящийся горный хребет у нее за спиной. Даже сейчас Вернер слышит вдали мерный механический стук: утренняя смена спускается в клетки, ночная поднимается – все эти мальчишки с усталыми глазами и черным от угольной пыли лицом выходят навстречу солнцу, – и на миг Вернер чувствует нечто огромное, черное, страшное где-то совсем близко.

– Знаю, ты злишься...

– Ты станешь, как Ганс и Герриберт.

– Не стану.

– Поведешься с такими, как они, и станешь.

– Ты хочешь, чтобы я не ехал? Пошел работать на шахту?

Они смотрят, как вдалеке по дорожке едет велосипедист. Ютта прячет ладони под мышки.

– Знаешь, что я слушала? По нашему приемнику? Пока ты его не разбил?

– Тише, Ютта. Пожалуйста.

– Передачи из Парижа. Там говорили прямо противоположное тому, что нам рассказывал Дойчландзендер. Говорили, что мы – чудовища. Что мы совершаем зверства. Ты понимаешь, что значит «зверства»?

– Прошу тебя, Ютта.

– Правильно ли делать что-то только потому, что все остальные так поступают?

Сомнения пролезают, как угри. Вернер выталкивает их прочь. Ютте всего двенадцать лет. Она еще совсем маленькая.

– Я буду писать тебе каждую неделю. Два раза в неделю, если получится. Можешь не показывать письма фрау Елене, если не хочешь.

Ютта закрывает глаза.

– Это не навсегда, Ютта. Может, на два года. Половина принятых не доходит до выпуска. А вдруг я все-таки чему-нибудь научусь? Стану инженером? Или летчиком, как говорит маленький Зигфрид. Ну что ты мотаешь головой? Мы же всегда мечтали побывать внутри самолета, помнишь? Мы полетим на запад, ты, я и фрау Елена, если захочет. Или поедем на поезде. Через леса, через *villages de montagnes*[19], про которые рассказывала фрау Елена, когда мы были маленькими. Может быть, доедем до самого Парижа.

Быстро светает. Мягко шелестит трава. Ютта открывает глаза, но не смотрит на брата:

– Не лги. Себе можешь лгать, Вернер, а мне не лги.

Десятью часами позже он уже в поезде.

Этьен

Первые три дня Мари-Лора не встречается с двоюродным дедушкой. Затем, утром четвертого дня, нащупывая дорогу в уборную, она наступает на что-то маленькое и твердое. Садится на корточки, находит это что-то пальцами.

Оно гладкое и закрученное. Коническая спираль с рельефными ребрами. Устье широкое овальное.

– Трубач, – шепчет Мари-Лора.

В шаге от первой ракушки обнаруживается вторая. Затем – третья и четвертая. Дорожка из ракушек огибает уборную и спускается по винтовой лестнице к закрытой двери пятого этажа, где, как уже знает Мари-Лора, живет дедушка Этьен. Оттуда слышны звуки фортепьянного концерта. «Входи», – произносит голос.

Она ждет затхлости и старческой вони, однако в комнате стоит легкий запах мыла, книг, сухих водорослей. Почти как в лаборатории доктора Жеффара.

– Дядя Этьен?

– Здравствуй, Мари-Лора.

Голос густой и мягкий – кусок шелка, который можно держать в комод и вынимать лишь изредка, просто чтобы погладить. Мари-Лора тянется в пустоту, и ее ладонь оказывается в прохладной руке, худой и почти невесомой. Этьен говорит, что сегодня чувствует себя получше.

– Извини, что не познакомился с тобой раньше.

Фортепьяно по-прежнему играют – впечатление, что их десятки и музыка льется со всех сторон.

– Сколько у тебя приемников, дядя?

– Давай покажу. – Он прикладывает ее руки к полке. – Этот стерео. Гетеродиновый. Я собрал его сам.

Ей представляется крохотный пианист во фраке, который играет внутри приемника. Потом дядя кладет ее руки на большое тумбовое радио, затем на маленькое – не крупнее тостера. Всего их одиннадцать, говорит Этьен, и в его голосе сквозит мальчишеская гордость.

– Я могу слушать корабли в море. Мадрид. Бразилию. Лондон. Однажды поймал Индию. Здесь, на краю города, на высоком этаже, очень хорошо принимает.

Он дает ей порыться в коробке с предохранителями и в другой, с переключателями. Затем подводит к шкафам: корешки сотен книг, птичья клетка, жуки в спичечных коробках, электрическая мышеловка, стеклянное пресс-папье (дядя говорит, что там внутри сушеный скорпион), банки с разными штепселями и еще сотня вещей, которые она не может определить.

Весь пятый этаж, за исключением лестничной площадки, – одна большая дядина комната. Три окна выходят на улицу Воборель, еще три – в проулок. Кровать маленькая, старинная, покрывало на ней гладкое и плотное. Аккуратно прибранный письменный стол, кушетка.

– Вот и вся экскурсия, – говорит Этьен почти шепотом.

Мари-Лора чувствует, что он добрый, любопытный и нисколько не сумасшедший. И еще он словно застыл: как дерево в безветрие. Или как моргающая в темноте мышь.

Мадам Манек приносит бутерброды. Этьен говорит, что у него нет Жюль Верна, зато есть Дарвин, и читает ей из «Путешествия на „Бигле“», переводя с английского на французский: «Разнообразие видов прыгающих пауков чуть ли не бесконечно...»[20] Из приемников струится музыка. Так хорошо задремывать на кушетке, в тепле и сытости, и чувствовать, что фразы подхватывают тебя и переносят куда-то далеко.

* * *

В шести кварталах отсюда, в телеграфном отделении, отец Мари-Лоры прижимается лицом к окну и смотрит, как через Сен-Венсанские ворота въезжают два немецких солдата на мотоциклах с колясками. Все ставни в городе закрыты, но в щелки глядят тысячи глаз. За мотоциклистами едут два грузовика, а за ними – черный «мерседес-бенц». Эмблема на капоте и хромированные детали сверкают на солнце. Процессия останавливается перед высокими замшелыми стенами Шато-де-Сен-Мало. У входа ждет пожилой, неестественно загорелый человек (мэр, объясняет кто-то) с белым платком в больших матросских руках. Руки эти дрожат, но только самую малость.

Из машин вылезают немцы, больше десяти человек. Их сапоги сверкают, мундиры – как новенькие. У двоих в петлицах гвоздики. Один ведет на поводке бигля. Некоторые ошарашенно глазят на фасад шато.

Низенький человек в полевой капитанской форме выбирается с заднего сиденья «мерседеса» и стряхивает с рукава невидимую пылинку. Он говорит несколько слов тощему адъютанту, тот переводит мэру. Мэр кивает. Коротышка проходит в большие двери. Через несколько минут адъютант распахивает ставни на окне верхнего этажа и мгновение смотрит на крыши домов внизу, затем разворачивает красный флаг с черной свастикой посредине и закрепляет его на подоконнике.

Юнгманы

Школа – сказочный замок: восемь или девять каменных зданий под холмом, бурые крыши, узкие окна, шпили и башенки, между черепицами пробивается трава. Спортивные площадки в излучинах очаровательной речки. В самый ясный час самого ясного цольферайнского дня Вернер не дышал воздухом, в котором бы настолько не было пыли.

Однорукий воспитатель быстрым злым голосом перечисляет правила:

– Вот ваша парадная форма, вот ваша полевая форма, вот ваша спортивная форма. Подтяжки сзади скрещены, спереди параллельны. Рукава закатаны до локтя. Каждый должен носить нож в ножнах справа на ремне. Когда хотите, чтобы вас вызвали, поднимайте правую руку. Всегда стройтесь в шеренги по десять. Запрещено держать в шкафчиках книги, сигареты, еду и личные вещи. Там должна находиться только ваша форма, ботинки, нож, вакса. Разговоры после отбоя запрещены. Письма домой будут отправляться по средам. Вы отбросите слабости, малодушие, нерешительность. Вы станете как водопад, как залп пуль – будете мчать в одном направлении, с одной скоростью, к одной цели. Вы забудете про удобство и станете жить исключительно ради долга, питаться страной и дышать народом. Все поняли?

Мальчишки хором кричат, что да. Их четыре сотни плюс тридцать преподавателей и еще пятьдесят человек персонала, воспитателей и поваров, конюхов и егерей. Младшим кадетам всего по девять лет. Старшим – по семнадцать. Готические лица, прямые носы, острые подбородки. Голубые глаза – у всех без исключения.

Вернер спит в крохотной спальне вместе с семьей другими четырнадцатилетками. Его койка нижняя, верхнюю занимает Фредерик, тоненький, как травинка, с очень белой кожей. Фредерик тоже новичок. Он из Берлина. Его отец – помощник посла. В разговоре Фредерик поминутно отводит глаза вдаль, словно высматривает что-то в небе.

Они с Вернером впервые едят в столовой, сидя в новых накрахмаленных рубашках за длинным деревянным столом. Некоторые мальчишки переговариваются шепотом, другие сидят поодиночке, некоторые наворачивают так, будто не ели много дней. Сквозь три сводчатых окна пробивается золотистый рассвет.

Фредерик шевелит в воздухе пальцами и спрашивает:

– Ты любишь птиц?

– Конечно.

– Знаешь про серых ворон?

Вернер мотает головой.

– Серые вороны умнее многих млекопитающих. Даже обезьян. Я видел, как они кладут орехи, которые не могут расколоть, на дорогу и ждут, пока машины их раздавят, а потом выклеивают мякоть. Вернер, я уверен, мы с тобою крепко подружмся.

В каждой классной комнате со стены сурово глядит портрет фюрера. Ученики сидят на скамьях без спинок, за деревянными столами, изрезанными от скуки бесчисленными поколениями мальчишек: послушников, рекрутов, кадетов. В первый же день Вернер проходит мимо полуоткрытой двери научно-технической лаборатории и видит помещение,

большое, как цольферайнская аптека, с новехонькими мойками и стеклянными шкафами, в которых ждут сверкающие мензурки, весы и горелки. Он замирает, и Фредерик вынужден его поторопить.

На второй день старенький френолог читает общую лекцию. В столовой почти темно, жужжит проектор, на дальней стене возникает схема с множеством кружков. Старик стоит перед экраном и бильярдным кием показывает разные части схемы:

– Белые кружки означают чистую немецкую кровь. Круги с черным означают долю чуждой крови. Обратите внимание на группу два, номер пять. – Он стучит кончиком кия, экран идет складками. – Браки между чистыми немцами и евреями на одну четверть по-прежнему разрешены, видите?

Получасом позже Вернер и Фредерик на уроке литературы читают Гёте. Затем на практикуме намагничивают иголки. Воспитатель зачитывает расписание. Понедельник – механика, история Германии, расовые науки. Вторник – верховая езда, ориентирование, военная история. Все, даже девятилетние, будут учиться чистить и разбирать маузеровскую винтовку. Стрелять тоже будут все.

Во второй половине дня они надевают патронташи и бегают. Бегом с холма, бегом к флагу, бегом на холм. Бег с товарищем на спине, бег с поднятой над головой винтовкой. Бег, ползание по-пластунски, плавание. Затем снова бег.

Звездные ночи, росистые зори, тихие внутренние галереи, вынужденный аскетизм – никогда еще Вернер не ощущал такого одиночества с другими, никогда не испытывал такой потребности стать своим. Здесь есть кадеты, которые перед отбоем обсуждают горные лыжи, дуэли, джаз-клубы, гувернанток, охоту и марки сигарет, названные по фамилиям кинозвезд; виртуозно ругаются грязными словами. Есть мальчики, которые небрежно упоминают «телефонный звонок полковнику», и мальчики, у которых матери – баронессы. Есть мальчики, которых взяли не за способности, а потому, что их отцы работают в министерствах. А как они разговаривают! «Не родится на терновнике виноград». «Эх ты, нюня, я бы ей сразу вдул». «Давай, ребята, мать вашу в душу!» Некоторые кадеты все делают образцово: на стрельбах они всегда попадают в цель, у них идеальная выправка, а ботинки начищены так, что отражают небо с облаками. Есть кадеты, у которых кожа как сливочное масло, глаза как сапфиры и тончайшая сеть голубых жилок на тыльной стороне ладони. Однако сейчас, в ежовых рукавицах дисциплины, они все «юнгманы» – воспитанники. Они вместе входят в столовую, вместе заглатывают яичницу, вместе строятся на перекличку, салютуют флагу, стреляют из винтовок, бегают и моются вместе. Им всем одинаково тяжело. Каждый из них – комок глины, и горшечник – толстый комендант школы с лоснящимся лицом – лепит из них четыре сотни одинаковых горшков.

«Мы молоды, – поют они, – мы упорны, мы никогда не шли на компромисс, у нас впереди столько крепостей, которые нам предстоит штурмовать».

Вернера кидает из крайности в крайность: то он обессилен и растерян, то упоен восторгом. Не верится, что его жизнь так круто переменялась. Чтобы не поддаваться сомнениям, он учит наизусть стихи или старается удержать перед глазами образ научно-технической лаборатории: девять столов, тридцать табуретов, катушки, переменные конденсаторы, усилители, батареи, паяльники, запертые в стеклянных шкафах.

Над ним, на верхней койке, Фредерик стоит на коленях, смотрит через открытое окно в старый полевой бинокль и отмечает на бортике кровати увиденных птиц. Под словами «серощекая поганка» – одна черточка. Под словами «обычный соловей» – шесть. Внизу отряд десятилеток марширует к реке, несет факелы и знамена со свастикой. Процессия останавливается (порыв ветра наклонил пламя факелов), затем идет дальше. Песня ярким, пульсирующим облаком врывается в окно:

Меня, меня возьмите в свои ряды!

Я не хочу в ничтожестве жизнь влачить.

Чем ждать бесславной смерти, лучше

Мертвым на жертвенный лечь курган[21].

Вена

Фельдфебелю Рейнгольду фон Румпелю сорок один год – еще вполне можно надеяться на повышение. У него влажные красные губы, бледные щеки, почти прозрачные, как сырое филе камбалы, и умение держать нос по ветру, которое редко его подводит. Жена мужественно переносит разлуку с ним, расставляя фарфоровых кошечек по цвету – от темных к светлым – на двух полках в штутгартской гостиной. Еще у него две дочери, которых он не видел девять месяцев. Старшая, Вероника, очень идейная. Ее письма к нему пестрят такими выражениями, как «святая решимость», «невиданные свершения» и «впервые в истории».

У фон Румпеля есть особый талант, и этот талант – алмазы. В огранке и шлифовке он не уступает лучшим арийским ювелирам Европы и часто на глаз может определить подделку. Он изучал кристаллографию в Мюнхене, стажировался у шлифовальщика в Антверпене и однажды – незабываемый день! – побывал в алмазном магазине без вывески на Чартерхауз-стрит в Лондоне, где его заставили вывернуть карманы, провели по трем лестничным пролетам, через три запертые двери и усадили за стол, а там человек с острыми нафабранными усами показал ему необработанный алмаз из Южной Африки весом в девяносто два карата.

До войны Рейнгольду фон Румпелю жилось вполне неплохо. Он был оценщиком в магазине на втором этаже, позади Старого штутгартского замка. Клиенты приносили камни и спрашивали, сколько те стоят. Иногда он брался за переогранку алмазов или консультировал проекты по добавлению facets, а если иногда обманывал клиента, то говорил себе, что это входит в игру.

Война расширила сферу его деятельности. Фельдфебель фон Румпель получил возможность делать то, чего не делал никто со времен Великих Моголов, а может, и за всю историю человечества. Франция капитулировала всего несколько недель назад, а он уже повидал такое, чего не надеялся увидеть и за шесть жизней. Глобус семнадцатого века размером с небольшой автомобиль, вулканы отмечены рубинами, полюса – сапфирами, а мировые столицы – алмазами. Держал – держал! – рукоять кинжала по меньшей мере четырехвековой давности, из белого нефрита с изумрудами. Только вчера, по пути в Вену, он оприходовал фарфоровый сервиз в пятьсот семьдесят предметов, с бриллиантом огранки «маркиза» в ободке каждой тарелки. Где изъяты сокровища и у кого, фон Румпель не спрашивает. Он уже упаковал все в окованный железом ящик, запер, белой краской написал сверху номер и лично проследил, как ящик грузят в круглосуточно охраняемый вагон.

Теперь вагон дожидается отправки верховному командованию. Дождется, когда в него погрузят другие ящики.

Сегодняшним летним вечером, в пыльной геологической библиотеке Вены, фельдфебель фон Румпель вместе с пигалицей-секретаршей перебирает стопки старых журналов. На

секретарше коричневые туфли, коричневые чулки, коричневая юбка и коричневая блузка. Она подставляет скамеечку, снимает с полок книги.

Тавернье. «Путешествия в Индию». 1676.

П. С. Паллас. «Путешествие по южным провинциям Российского государства». 1793.

Стритер. «Драгоценные камни и минералы». 1898.

По слухам, фюрер составляет список предметов, которые хочет получить из Европы и России. Говорят, он решил превратить австрийский Линц в город-сказку, культурную столицу мира. Широкий променад, мавзолей, акрополь, планетарий, библиотека, оперный театр – все из мрамора и гранита, все безукоризненно чистое. А в центре – километровой длины музей, вместилище величайших достижений человеческой культуры.

Фон Румпелю говорили, что документ существует на самом деле. Четыреста страниц.

Он сидит за столом. Пытается закинуть ногу на ногу, однако сегодня его беспокоит припухлость в паху – странная, но не болезненная. Пигалица-секретарша приносит книги. Фон Румпель листает Тавернье, Стритера, «Очерки Персии» Мюррея. Читает о трехсоткаратовом бриллианте «Орлов» в Москве, о «Нур-уль-Айне», о Дрезденском зеленом бриллианте весом сорок целых восемь десятых карат. К вечеру он находит то, что ищет. Историю о бессмертном царевиче, о жреце, рассказавшем про гнев богини, о французском священнике, якобы купившем камень несколько столетий спустя.

Море огня. Серовато-голубой с красным нутром. По утверждению источников, весит сто тридцать три карата. То ли утрачен, то ли завещан в 1738 году королю Франции с условием, что двести лет будет оставаться под замком.

Фон Румпель поднимает голову. Зеленые лампы, ряды золотистых пыльных корешков. Вся Европа – а ему предстоит отыскать в ее складках один-единственный камешек.

Боши

Папа говорит, их оружие блестит, словно из него никогда не стреляли. Говорит, сапоги начищены, форма без единого пятнышка. Говорит, они выглядят так, будто только что сошли с комфортабельного поезда.

Соседки, которые останавливаются посудачить с мадам Манек у дверей кухни, говорят, что немцы (они называют их «боши») скупили все открытки. Говорят, что боши вымели подчистую соломенных куколок, засахаренные абрикосы и черствые булочки с витрины кондитерской. Боши покупают сорочки у мсье Вердые и женское белье у мсье Морвэна; боши едят невероятное количество масла и сыра; они вылакали все шампанское, которое продал им caviste[22].

Гитлер, шепчутся женщины, объезжает Париж на автомобиле.

Объявлен комендантский час. Запрещена всякая музыка, которую можно услышать на улице. Запрещены общественные танцы. «Страна в трауре, и мы должны вести себя подобающе», – объявляет мэр, хотя не понятно, какая у него власть.

Когда Мари-Лора рядом с отцом, она то и дело слышит, как он чиркает спичкой,

закуривая новую сигарету. По утрам он то в кухне у мадам Манек, то в табачной лавке, то на почте – стоит в бесконечной очереди к телефону. По вечерам папа что-нибудь чинит у Этьена в доме – болтающуюся дверцу шкафа, скрипучую половицу. Он спрашивает у мадам Манек, кому из соседей можно доверять. Щелкает задвижкой на ящике с инструментами снова и снова, пока мадам Манек не просит его перестать.

В один день Этьен сидит с Мари-Лорой и читает ей вслух своим шелковистым голосом, в другой – запирается у себя в комнате из-за «мигрени». Мадам Манек угощает Мари-Лору шоколадками, кусками торта; сегодня утром они выжимали лимоны в подслащенную воду, и мадам Манек разрешила Мари-Лоре пить лимонад сколько хочется.

– А подолгу он вот так сидит у себя, мадам?

– Иногда всего лишь день-два. Иногда больше.

Неделя в Сен-Мало превратилась в две недели. Мари-Лора чувствует, что ее жизнь, как «Двадцать тысяч лье под водой», делится на две части. Том I: Мари-Лора с папой жили в Париже и ходили на работу. Теперь начался том II, в котором немцы ездят на мотоциклах по узким улочкам, а дядюшка Этьен прячется в собственном доме.

– Папа, когда мы уедем?

– Как только я получу известия из Парижа.

– Почему мы должны спать в этой маленькой спальне?

– Если хочешь, можем попросить комнату внизу.

– А что с той комнатой, которая напротив нашей?

– Мы с Этьеном согласились, что там никто жить не будет.

– Почему?

– Это была комната твоего деда.

– Когда мне можно будет пойти на море?

– Не сегодня, Мари.

– Может, хотя бы прогуляемся по ближайшей улице?

– Это слишком опасно.

Ей хочется съехиться. Что за опасности такие? Открывая окно спальни, Мари-Лора не слышит ни криков, ни взрывов, только голоса птиц, которых дядя Этьен называет бакланами, да иногда рокот пролетающего самолета.

Она часами изучает дом. Первый этаж принадлежит мадам Манек. Тут чисто, легко найти дорогу и всегда много гостей – они заходят через черную дверь поделиться городскими сплетнями. Вот столовая, вот фойе, вот буфет со старыми тарелками, которые звенят всякий раз, как кто-нибудь проходит мимо. Рядом с кухней дверь в комнату мадам. Там кровать, раковина, ночной горшок.

Одиннадцать винтовых ступеней ведут на второй этаж, где пахнет увядшим величием. Бывшая швейная комната, бывшая комната горничной. Прямо здесь на площадке, рассказывает мадам Манек, носильщики уронили гроб с двоюродной бабкой Этьена. «Гроб перевернулся, и покойница пролетела целый пролет. Все были в ужасе, а ей – хоть бы хны!»

На третьем этаже все загромождено: ящики с банками, металлические диски, ржавые пилы, ведра с какими-то электрическими деталями, инженерные учебники стопками вокруг унитаза. На четвертом этаже вещи уже навалены повсюду: в комнатах, в коридорах, вдоль лестницы, – корзины с запчастями, обувные коробки со сверлами, кукольные домики, сделанные прадедушкой. Огромная комната Этьена занимает весь пятый этаж. Там то совершенно тихо, то звучит музыка или треск из радиоприемников.

Дальше шестой этаж: аккуратная спальня деда слева, прямо впереди – уборная, справа – комнатка, где живут Мари-Лора с папой. Когда дует ветер (то есть почти всегда) и ставни гремят, а стены стонут, дом с его захлапленными комнатами и туго закрученной лестницей в середине кажется материальным воплощением дядюшкиного внутреннего мира: он так же замкнут в себе, но в нем можно отыскать затянутые паутиной сокровища.

В кухне подруги мадам Манек восхищаются, какие у Мари-Лоры волосы и веснушки. В Париже, говорят старухи, люди стоят в очередях за хлебом по пять часов. Едят собак и кошек, убивают камнями голубей и варят из них суп. Нет ни свинины, ни крольчатины, ни цветной капусты. Фары машин покрашены синей краской, а по вечерам в городе тихо, как на кладбище: ни автобусов, ни трамваев. Бензин достать практически невозможно. Мари-Лора сидит за квадратным кухонным столом перед тарелкой с печеньем и воображает этих старух: морщинистые руки со вздутыми венами, мутные глаза, огромные уши. Сквозь раскрытое окно доносится щебетание ласточек, шаги по городской стене, стук тросов о мачты, скрип цепей и блоков в порту. Призраки. Немцы. Улитки.

Гауптман

Щуплый преподаватель технических наук доктор Гауптман снимает китель с медными пуговицами и вешает на спинку стула. Потом велит кадетам взять металлические коробки из запертого шкафа в дальнем конце лаборатории.

В каждой коробке шестерни, линзы, предохранители, пружины, скобы, резисторы. Вот толстая катушка медной проволоки, вот молоточек, вот аккумуляторная батарея размером с ботинок – никогда еще Вернеру не приходилось держать в руках такие качественные детали. Коротышка-преподаватель рисует на доске схему простейшего устройства для изучения азбуки Морзе. Откладывает мел, сводит тонкие пальцы и велит кадетам собрать этот контур из деталей в наборе.

– У вас один час.

Многие мальчики бледнеют. Высыпают все на стол и осторожно трогают пальцем, словно неведомые подарки из будущего. Фредерик одну за другой вынимает детали из коробки и подносит к свету.

На миг Вернер снова на чердаке сиротского дома, в голове у него роятся вопросы. Что такое молния? Как высоко можно подпрыгнуть на Марсе? Какая разница между дважды двадцать пять и дважды пять и двадцать? Затем он берет из коробки батарею, две металлические пластины, гвоздики, молоток. Через минуту у него уже готов осциллятор по схеме.

Маленький преподаватель хмурится. Проверяет контур – работает.

– Хорошо. – Он стоит перед столом Вернера, сцепив руки за спиной. – Теперь возьмите

из коробки дисковый магнит, проволоку, винт и батарею. – Хотя инструкция обращена ко всему классу, смотрит он только на Вернера. – Вот все, что вы можете использовать. Кто сделает простой мотор?

Некоторые без энтузиазма перебирают детали. Другие просто сидят и смотрят.

Вернер ощущает внимание доктора Гауптмана, как луч прожектора. Он прикладывает винт головкой к магниту, а острым концом – к положительной клемме батареи. Затем подводит проволоку одним концом к отрицательной клемме батареи, другим – к магниту; магнит и винт начинают вращаться. Вся сборка не занимает и пятнадцати секунд.

Доктор Гауптман приоткрывает рот. Лицо у него красное от волнения.

– Как ваша фамилия, кадет?

– Пфенниг, герр доктор.

– Что еще вы можете сделать?

Вернер разглядывает детали на столе:

– Дверной звонок, герр доктор? Радиомаяк, герр доктор? Омметр?

Другие мальчишки тянут шею. У доктора Гауптмана розовые губы и на удивление тонкие веки. Как будто он следит за Вернером, даже когда прикрывает глаза.

– Собери это все, – говорит он.

Летающий диван

На рынке, на стволах деревьев на площади Шатобриана появляется объявление. Добровольная сдача огнестрельного оружия. За отказ – расстрел. К полудню следующего дня появляются бретонцы с оружием – из дальних деревень едут крестьяне на телегах, запряженных мулами, приходят, еле переставляя ноги, старые моряки с допотопными пистолетами; несколько охотников сдают винтовки, с обидой и возмущением глядя в пол.

В итоге набирается жалкая кучка – от силы триста стволов, половина из них ржавые. Два молодых жандарма грузят их в грузовик и увозят по узкой улочке к дамбе. Ни речей, ни объяснений.

– Папа, а можно мне выйти погулять, пожалуйста?

– Потерпи, ласточка.

Однако он думает о чем-то другом, курит так много, словно задумал обратить себя в пепел. Вечерами засиживается допоздна, лихорадочно мастеря макет Сен-Мало, добавляя по несколько домов каждый день, выстраивая укрепления, прокладывая улицы, чтобы Мари-Лора изучила город, как когда-то их парижский район. Дерево, клей, гвозди, наждачная бумага – звуки и запахи этой маниакальной работы не успокаивают ее, а, наоборот, пугают. Зачем ей изучать улицы Сен-Мало? Сколько они здесь пробудут?

В большой комнате на пятом этаже дядюшка Этьен читает Мари-Лоре «Путешествие натуралиста». Дарвин охотился на страусов нанду в Патагонии, наблюдал сов в окрестностях Буэнос-Айреса, на Таити взбирался по водопаду. Он обращает внимание на рабов, камни, молнии, вьюрков, на церемонию прижимания носами в Новой Зеландии. Мари-Лоре особенно нравится слушать про темное побережье Южной Америки: непроходимая стена деревьев, вонь гниющих водорослей, мычание тюленей. Ей нравится воображать Дарвина ночью, когда тот, опершись о борт корабля, смотрит на фосфорическую воду, расчерченную огненно-зелеными следами пингвинов.

– Bonsoir[23], – говорит она Этьену, стоя на кушетке в его комнате. – Мне всего двенадцать лет, но я отважная французская путешественница и приехала помогать вам в приключениях.

Этьен отвечает с британским акцентом:

– Добрый вечер, мадемуазель, почему бы вам не отправиться со мной в джунгли и не угоститься бабочками? Они размером с тарелку и, возможно, даже не все ядовиты.

– Я охотно съела бы бабочку, мсье Дарвин, но прежде я съем вот это печенье.

Иногда по вечерам они играют в «Летающий диван»: усаживаются рядышком на кушетку, и Этьен спрашивает:

– Куда сегодня, мадемуазель?

– В джунгли! – Или: – На Таити! – Или: – В Мозамбик!

– О, на сей раз нам предстоит долгое путешествие, – говорит Этьен совсем другим голосом, вкрадчивым, бархатистым, медленным, как у проводника в поезде. – Сейчас под нами Атлантический океан, он мерцает в свете луны. Чувствуешь его запах? Чувствуешь, как тут холодно? Как ветер треплет волосы?

– Где мы сейчас, дядя?

– Мы над Борнео, разве ты еще не поняла? Скользим над верхушками деревьев, под нами поблескивают огромные листья, а вот кофейные деревья – чувствуешь запах?

Мари-Лора и впрямь чувствует. Ей не хочется решать: то ли Этьен провел у нее под носом чашкой с остатками кофейной гущи, то ли они и впрямь летят над Борнео.

Они посещают Шотландию, Нью-Йорк, Сантьяго. Несколько раз надевают зимние пальто и отправляются на Луну.

– Чувствуешь, Мари, какие мы легкие? Чуть толкнешься – и взмоешь на огромную высоту.

Он усаживает ее в кресло на колесиках и, пыхтя, возит кругами, пока у нее от хохота не начинает болеть под ложечкой.

– Вот, попробуй кусочек свежей Луны. – И Этьен вкладывает ей в рот что-то очень похожее по вкусу на сыр.

Заканчиваются все путешествия одинаково: они сидят рядышком на кушетке, молотят по подушкам, а комната мало-помалу материализуется вокруг них.

– Ах, – говорит Этьен уже почти обычным голосом, в котором свозит чуть заметная нотка страха, – вот мы и на месте. Дома.

Сумма углов

Вернера вызывают в кабинет преподавателя технических наук. Он входит. У его ног выются три длинноногие гончие. Комнату освещают две настольные лампы под зелеными стеклянными абажурами. В темноте по стенам – шкафы с энциклопедиями, моделями ветряных мельниц, подзорными трубами, призмами. Доктор Гауптман, в кителе с медными пуговицами, стоит за большим письменным столом, как будто тоже только вошел. Бледный лоб обрамляют тугие светлые кудри; доктор медленно стягивает кожаные перчатки, каждый палец по отдельности.

– Подбросьте, пожалуйста, дров в камин.

Вернер проходит через комнату, ворошит угли и только тут замечает, что в комнате есть третий: здоровущий верзила прикорнул в кресле, рассчитанном на куда более щуплого человека. Это Франк Фолькхаймер, старшеклассник, семнадцатилетний исполин из какой-то северной деревушки. Младшие кадеты рассказывают о нем легенды: Фолькхаймерде перенес через реку трех первогодков, держа их над головой. Приподнял комендантский автомобиль, так что под заднюю ось смогли вставить домкрат. Еще говорят, будто он голыми руками задушил коммуниста. Выколол глаза бродячему псу, чтобы приучить себя к зрелищу чужих страданий. У него прозвище Великан. Даже в мерцающем свете камина видно, как вены синей виноградной лозой выются по его рукам.

– Еще ни один учащийся не сумел построить мотор, – говорит Гауптман, не глядя на Фолькхаймера. – По крайней мере, без подсказки.

Вернер не знает, что ответить, поэтому молчит и снова тычет кочергой в камин. Искры летят в трубу.

– Вы знаете тригонометрию, кадет?

– Только то, что выучил сам.

Гауптман достает из ящика лист бумаги, что-то пишет:

– Вы знаете, что это?

Вернер щурится.

– Формула, герр доктор.

– Вы знаете, для чего она нужна?

– Чтобы по двум известным точкам найти третью, неизвестную.

Голубые глаза учителя блестят, словно он внезапно заметил под ногами нечто чрезвычайно ценное.

– Если я дам вам две известные точки и расстояние между ними, вы сможете решить задачу, кадет? Построить треугольник?

– Думаю, да.

– Садитесь за мой стол, Пфенниг. Сюда, на мой стул. Вот карандаш.

Вернер садится. Ноги у него не достают до пола. От камина в комнате жарко. Забыть про Фолькхаймера с его колоссальными ботинками и квадратной челюстью. Забыть про маленького лощеного учителя, который расхаживает перед камином, про поздний час, про собак, про шкафы, заставленные интереснейшими предметами. Есть только это:

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\text{и } \sin(\alpha+\beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Теперь d можно перенести в левую часть уравнения:

Вернер подставляет числа, которые дал Гауптман. Воображает, как два наблюдателя измеряют шагами расстояние между своими позициями, затем берут азимуты на далекий ориентир: корабль или фабричную трубу. Когда он просит логарифмическую линейку, учитель сразу кладет ее на стол, словно только и ждал этой просьбы. Вернер берет ее, не глядя, и начинает вычислять синусы.

Фолькхаймер наблюдает. Маленький учитель ходит из угла в угол, сцепив руки за спиной. Огонь в камине потрескивает. Слышно лишь дыхание собак да щелканье бегунка на логарифмической линейке.

Наконец Вернер говорит:

– Шестнадцать запятая сорок три, герр доктор.

Он чертит треугольник, подписывает расстояния и отдает листок учителю. Тот что-то смотрит в кожаной записной книжке. Фолькхаймер шевелится в кресле; его глаза поблескивают ленивым любопытством. Гауптман, упершись ладонью в стол, глядит в записную книжку, словно додумывая какую-то мысль. На Вернера накатывает безотчетное дурное предчувствие, но тут учитель вновь смотрит на него, и страх проходит.

– При поступлении вы написали, что после школы хотите изучать электротехнику в Берлине. И что вы сирота. Это так?

Вернер косится на Фолькхаймера, кивает:

– Моя сестра...

– Работу ученого, кадет, определяют два фактора. Его интересы и требования времени. Вам понятно?

– Да.

– Мы живем в исключительное время, кадет.

Волнение распирает грудь. Озаренный пламенем кабинет с книжными шкафами – в таких местах и вершатся великие дела.

– После обеда вы будете работать в лаборатории. Каждый вечер. Включая воскресенье.

– Да, герр доктор.

– Приступите завтра.

– Да, герр доктор.

– Фолькхаймер будет за вами приглядывать. Возьмите печенье. – Учитель достает перевязанную ленточкой жестяную коробку. – И дышите, кадет Пфенниг. Вы не сможете задерживать дыхание на все то время, что находитесь в моей лаборатории.

– Да, герр доктор.

По коридорам гуляет холодный ветер. Воздух такой чистый, что у Вернера кружится голова. Под потолком спальни вьются три ночные бабочки. Вернер в темноте снимает ботинки, складывает брюки, ставит сверху жестянку с печеньем. С верхней койки свешивается Фредерик:

– Ты где был?

– Мне дали печенье, – говорит Вернер.

– Я сегодня слышал филина.

– Тсс! – шикает мальчик через две койки от них.

Вернер протягивает наверх печенье.

– Знаешь их? – шепчет Фредерик. – Они очень редкие. Большие, как планер. Этот, наверное, был молодой самец, искал новую территорию. Он сидел на тополе за плацем.

– Ой, – говорит Вернер. Перед закрытыми глазами плывут греческие буквы: равнобедренные треугольники, беты, синусоиды. Он видит себя в белом халате среди механизмов.

Когда-нибудь он выиграет большую премию.

Шифрование, реактивные двигатели, все самое современное.

Мы живем в исключительное время, кадет.

В коридоре слышен стук подкованных каблуков – идет воспитатель. Фредерик ныряет обратно в койку.

– Я не видел, – шепчет он, – но слышал совершенно отчетливо.

– Заткни пасть! – говорит другой мальчик. – Из-за тебя нам всем влетит!

Фредерик умолкает. Вернер перестает жевать. Шагов больше не слышно: воспитатель то ли ушел, то ли стоит под дверью. Снаружи кто-то колет дрова. Слышен звон кувалды по

колуны и частое, испуганное дыхание мальчиков вокруг.

Профессор

Этьен читает Мари-Лоре Дарвина и вдруг останавливается на полуслове.

– Дядя?

Он нервно дышит, выпятив губы, словно дует на горячий суп. Говорит шепотом:

– Здесь кто-то есть.

Мари-Лора ничего не слышала. Ни шагов, ни стука. Этажом выше мадам Манек шаркает по полу щеткой. Этьен протягивает внучке книгу и выключает радио из розетки. Судя по звукам, он запутался в проводах.

– Дядя? – повторяет она.

Но Этьен уже выходит из комнаты, бежит по лестнице – неужто они в опасности? – и Мари-Лора спешит за ним в кухню, где слышит, как он сдвигает кухонный стол.

Этьен тянет за железное кольцо посреди пола. Под крышкой люка – квадратная дыра, из которой пугающе тянет сыростью.

– Вниз, давай скорее!

Это погреб? Что увидел дядя? Мари-Лора уже стоит на верхней перекладине лестницы, когда в кухне раздается тяжелая поступь мадам Манек.

– Мсье Этьен! Умоляю вас, прекратите!

– Я что-то слышал. Кого-то, – доносится снизу голос Этьена.

– Вы ее пугаете. Все хорошо, Мари-Лора. Вылезай.

Мари-Лора выбирается обратно. Внизу дядюшка шепчет себе колыбельную.

– Я могу немного с ним посидеть, мадам. Может, ты еще считаешь мне эту книгу, дядя?

Насколько она может понять, погреб – просто сырая яма. Они некоторое время сидят на свернутом ковре под открытым люком и слушают, как мадам Манек, напевая себе под нос, заваривает чай и собирает на стол. Этьен дрожит.

– А ты знаешь, – говорит Мари-Лора, – что шанс погибнуть от удара молнии один на миллион? Мне доктор Жеффар сказал.

– За год или за всю жизнь?

– Не знаю.

– Надо было спросить.

Снова частые короткие выдохи. Словно каждая клеточка в его теле требует бежать прочь.

– Что будет, если ты выйдешь наружу?

– Мне станет беспокойно.

Его голос едва слышен.

– Отчего?

– Оттого, что я снаружи.

– А что в этом плохого?

– Большие пространства.

– Не все пространства большие. Ведь улица, на которой стоит дом, не большая?

– Не такая большая, как те, к которым привыкла ты.

– Ты любишь инжир и яйца. И помидоры. Они были сегодня на второй завтрак. И они растут снаружи.

Он тихонько смеется:

– Разумеется.

– Ты не скучаешь по миру, дядя?

Этьен молчит, поэтому молчит и она. Обоих затягивает воронка воспоминаний.

– У меня целый мир здесь, – говорит он, похлопывая по книге. – И в моих радиоприемниках. Только руку протянуть.

Дядюшка немного похож на ребенка; он по-монашески неприхотлив и свободен от любых временных обязательств. И все же Мари-Лора чувствует: его посещают такие кошмары, да в таком множестве, что почти ощущаешь пульсирующий в нем страх. Как будто какой-то зверь дышит на стекла его сознания.

– Почитай мне еще, пожалуйста, – просит она.

Этьен раскрывает книгу и шепчет:

– «День прошел восхитительно. Но и это слово само по себе слишком слабо, чтобы выразить чувства натуралиста, впервые бродящего в одиночестве в бразильском лесу...»

Мари-Лора выслушивает несколько абзацев, затем без всяких вступлений просит:

– Расскажи про комнату наверху. Напротив той, в которой живу я.

Он умолкает. Вновь то же быстрое дыхание.

– Там, в дальней стене, дверь, – продолжает Мари-Лора, – но она заперта. Что за ней?

Этьен молчит так долго, что Мари-Лора успеваешь пожалеть о своем вопросе, но тут дядя встает. Колени у него хрустят, как сухие сучья.

– У тебя снова мигрень, дядюшка?

– Идем со мной.

Они поднимаются по лестнице. На площадке шестого этажа поворачивают влево, и Этьен открывает дверь в комнату дедушки Мари-Лоры. Здесь она уже давно все ощупала: прибитое к стене весло, длинные шторы на окнах. Узкую кровать. Модель корабля на полке. У дальней стены стоит платяной шкаф, такой огромный, что Мари-Лора не может дотянуться до верха или одновременно коснуться боковых стенок.

– Это его вещи?

Этьен открывает задвижку на двери рядом со шкафом:

– Идем.

Мари-Лора на ощупь входит в замкнутое сухое помещение. Мыши разбегаются из-под ног. Она натывается руками на деревянную перекладину.

– Это лестница в мансарду. Тут невысоко.

Семь перекладин. Мари-Лора выпрямляется. По ощущению она в длинном пространстве под коньком крыши. Даже в самом высоком месте потолок совсем низко над ее головой.

Этьен выбирается следом и берет ее за руку. Она ступает по проводам. Они тянутся между пыльными ящиками, взбираются на козлы. Дядюшка ведет ее через их хитросплетение и усаживает на мягкую банкетку.

– Мы на чердаке. Перед нами печная труба. Положи руки на стол. Вот так.

Стол заставлен металлическими ящиками. Здесь есть лампы, катушки, переключатели, шкалы, по меньшей мере один патефон. Мари-Лора понимает, что вся эта часть мансарды – какой-то большой механизм. Черепичная крыша у них над головой раскалена от солнца. Этьен надевает на Мари-Лору наушники. Через них она слышит, как он поворачивает какую-то ручку, и тут же раздается простая приятная мелодия. Ощущение такое, будто пианист играет у нее в голове.

Музыка мало-помалу становится тише, и вступает голос: «Представьте себе кусок угля в вашей семейной печке. Видите его, дети? Когда-то он был зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос миллион лет назад. А может, не миллион, а два или даже сто миллионов лет назад».

Некоторое время спустя голос вновь сменяется мелодией. Дядя снимает с Мари-Лоры наушники.

– В детстве, – говорит он, – мой брат был талантлив во всем, но особенно люди восхищались его голосом. Монахини в школе Святого Викентия хотели создать хор, чтобы брат был в нем солистом. Мы с Анри мечтали записывать и продавать грампластинки. У него был голос, у меня знания, а тогда грамзаписи были в моде. И почти никто не делал детских программ. Мы обратились в парижскую звукозаписывающую студию, там заинтересовались. Я написал десять сценариев о науке, Анри их отрепетировал, и мы наконец приступили к записи. Твой отец был тогда еще маленький, но он приходил и слушал. Никогда в жизни я не был так счастлив.

– А потом началась война.

– Мы стали связистами. Наша работа, моя и твоего дедушки, заключалась в том, чтобы тянуть телеграфные провода от командных постов в тылу к офицерам на передовой. По

ночам противник выпускал над окопами снаряды, называемые «сигнальные ракеты Вери»: короткоживущие звезды на парашютах, которые освещали цель для снайперов. Пока они горели, каждый солдат в радиусе их действия замирал. Иногда за час противник мог выпустить восемьдесят-девять таких ракет, одну за другой, и ночь обращалась в странный черно-белый день, как от фотовспышки. Тихо-тихо, только трещат ракеты, а потом слышишь, как свистит снайперская пуля и попадает в землю позади тебя. Мы старались держаться как можно ближе друг к другу. Однако на меня иногда нападал какой-то паралич: я не мог шевельнуть не то что рукой или ногой, даже пальцем. Не мог открыть глаза. Анри лежал рядом со мной и нашептывал эти сценарии, те самые, что мы записали. Иногда всю ночь. Снова и снова. Как будто плел вокруг нас какую-то защитную сеть. До самого утра.

– Но он погиб.

– А я нет.

Мари-Лора понимает: вот откуда идет его страх, все страхи. Что свет, который ты бессилён остановить, зависнет над тобой и направит в тебя пулю.

– Кто построил это все, дядюшка? Этот механизм?

– Я. После войны. Строил много лет.

– И как он работает?

– Это радиопередатчик. Вот этот тумблер, – дядюшка кладет ее руку на то, о чем рассказывает, – включает микрофон, а этот – фонограф. Вот усилитель с предварительной модуляцией, вот лампы, вот катушки. Антенна выдвигается в печную трубу. Двенадцать метров. Вот рычаг, чувствуешь? Представь, что энергия – это волны и передатчик шлет во все стороны ровные круги. Твой голос их деформирует...

Мари-Лора уже не слушает. Пахнет пылью, все вокруг непонятное и в то же время завораживает. Сколько лет этому передатчику? Десять? Двадцать?

– Что ты передаешь?

– Записи моего брата. Парижская студия их не купила, но я каждую ночь проигрывал все десять наших записей, пока они почти совсем не стерлись. И музыке.

– Фортепьяно?

– «Лунный свет» Дебюсси. – Он трогает металлическую трубку с шариком на конце. – Просто вставляю микрофон в патефонную трубу, и вуаля!

Мари-Лора наклоняется над микрофоном и говорит: «Здравствуйте!» Дядюшка смеется своим легким смехом.

– А кто-нибудь из детей слышал твою передачу? – спрашивает она.

– Не знаю.

– А далеко она доходит, дядюшка?

– Далеко.

– До Англии?

– Запросто.

– До Парижа?

– Да. Однако я не стремился к тому, чтобы услышали в Англии. Или в Париже. Я думал, если сигнал будет достаточно мощный, может быть, брат меня услышит. И тогда я немного успокою его, защищу, как он всегда защищал меня.

– Ты проигрывал брату его собственный голос? После его смерти?

– И Дебюсси.

– А он когда-нибудь отзывался?

Чердак поскрипывает. Что за привидения пробираются бочком вдоль стен, подслушивая разговор? Мари-Лора почти ощущает в воздухе вкус дядюшкиного страха.

– Нет, – говорит он. – Ни разу.

* * *

Дорогая Ютта!

Мальчишки шепчутся, что доктор Гауптман связан с очень влиятельными министрами. Он не говорит [REDACTED]. Но он хочет, чтобы я все время ему помогал! Я каждый вечер хожу в его лабораторию, и доктор поручает мне собирать контуры для радио, которое он испытывает. И еще я решаю тригонометрические задачки. Он говорит мне включить все мои творческие способности; он говорит, творчество – топливо для рейха. Поручает одному большому старшекласснику, его прозвали Великаном, стоять надо мной с секундомером и проверять, как быстро я считаю. Треугольники, треугольники, треугольники. Я решаю за вечер, наверное, по пятьдесят задач. Зачем – мне не объясняют. Ты не поверишь, какая у них тут медная проволока – [REDACTED]. Когда Великан идет, все уступают ему дорогу.

Доктор Гауптман говорит, мы можем сделать что угодно, построить что угодно. Говорит, фюрер пригласил ученых, чтобы те помогли ему управлять погодой. Говорит, фюрер может построить ракету, которая долетит до Японии. Что фюрер может построить город на Луне.

Дорогая Ютта!

Сегодня на полевых учениях комендант рассказал нам про Райнера Шикера. Он был молодым капралом, а его командиру надо было заслать кого-нибудь во вражеский тыл, чтобы составить карту оборонительных сооружений. Командир спросил, есть ли добровольцы, и вызвался один Райнер Шикер. Но на следующий же день его поймали. На следующий же день! Поляки схватили его и стали пытать током. Они включали такой сильный ток, что у Шикера расплавились мозги, сказал комендант, но он все равно ничего не выдал. Он сказал: «Я жалею лишь о том, что могу отдать за Родину только одну жизнь».

Все говорят, у нас будет очень важный экзамен. Гораздо труднее всех остальных.

Фредерик говорит, история про Райнера Шикера

Из-за того, что я провожу вечера с Великаном – его зовут Франк Фолькхаймер, – другие ребята обходятся со мною уважительно. Я едва дохожу ему до пояса. Он выглядит не мальчиком, а взрослым дядей. Он, как Райнер Шикер, честный и преданный до самой глубины сердца. Пожалуйста, скажи фрау Елене, что еды здесь дают много, но никто не умеет печь лепешки, как она. Скажи маленькому Зигфриду, чтобы не ленился. Думаю о тебе каждый день.

Зиг хайль.

Дорогая Ютта!

Вчера было воскресенье, и мы ходили на полевые учения в лес. Почти все охотники на фронте, так что в лесу полно куниц и оленей. Другие мальчики сидели в засидках и говорили о славных победах и как скоро мы переправимся через Ла-Манш и уничтожим [REDACTED] и собаки доктора Гауптмана принесли по кролику. Фредерик вернулся с тысячей ягод в подоле рубашки и порвал все рукава о колючки, и чехол для бинокля тоже был порван. Я сказал, что ему здорово влетит, а он глянул на свою одежду так, будто впервые ее видит. Фредерик может узнать любую птицу просто по голосу. У озера мы слышали ласточек, чибисов, ржанок, полевого луны и еще с десятков птиц, чьи названия я забыл. Я уверен, что тебе бы Фредерик понравился. Он видит то, чего не видят другие. Надеюсь, кашель у тебя прошел и у фрау Елены тоже.

Зиг хайль.

Парфюмер

Его зовут Клод Левитт, но все называют его Большим Клодом. Уже лет десять он держит парфюмерную лавочку на улице Воборель. Торговля идет плохо и оживляется только на то время, когда солят треску и даже камни в городе начинают вонять рыбой.

Однако сейчас подвернулись новые возможности, а Клод не из тех, кто их упускает. Он покупает у крестьян в Канкале барашков и кроликов, укладывает мясо в два одинаковых виниловых чемодана жены и везет поездом в Париж. В некоторые недели он зарабатывает до пятисот франков. Спрос и предложение. Разумеется, нужно выправлять все бумаги; бывает, кто-то из чиновников чует, что дело нечисто, и требует свою долю. Однако Клод, с его изворотливостью, обходит любые препоны.

Сегодня он весь взмок: пот течет по спине и по бокам. В Сен-Мало пекло. Уже октябрь, пора задуть холодным океанским ветрам, и тогда с деревьев полетят листья. Однако ветер заглянул в город ненадолго и умчал прочь, как будто не одобрил здешние перемены.

Весь день Клод караулит в лавке за сотнями разноцветных баночек и флаконов с ароматами розы, лаванды и муската, но никто не заходит. Лопасты электрического

вентилятора медленно проплывают перед лицом. Клод не читает и почти не шевелится, только регулярно запускает руку под табурет, достает пригоршню печенья из круглой жестяной коробки и отправляет в рот.

Примерно в четыре по улице Воборель проходят немецкие солдаты. Они стройные и розовощекие, глаза горят рвением, винтовки дулом вниз заброшены за плечо, как кларнеты.

Солдаты пересмеиваются; от касок на лицах нежные золотистые отсветы.

Клод понимает, что должен их ненавидеть, но его восхищает их выправка, целеустремленность, уверенная походка. Они всегда знают, куда идут, и не сомневаются, что именно туда им и надо. Качества, которых всегда недоставало его соотечественникам.

Солдаты сворачивают на рю-Сен-Филип и пропадают из виду. Клод пальцами чертит на прилавке овалы. Наверху его жена пылесосит: слышно, как она возит щеткой по полу круг за кругом. Его клонит в сон, и он уже почти дремлет, когда из дома Этьена Леблана, чуть дальше по улице, выходит гостящий там парижанин. Худой горбоносый человек, который все время толчется перед телеграфным отделением и выстреливает деревянные коробочки.

Парижанин крохотными шажками, ставя одну ногу перед другой, идет в ту же сторону, что и солдаты. Доходит до конца улицы, записывает что-то в книжечку, поворачивает на сто восемьдесят градусов, идет в обратную сторону. В конце квартала смотрит на дом Рибо и снова что-то отмечает в книжечке. Смотрит вверх-вниз – прикидывает высоту. Покусывает ластик карандаша, как будто нервничает.

Большой Клод подходит к окну. Вот еще возможность. Оккупационным властям наверняка интересно будет узнать о приезде, который мерит шагами расстояния и записывает высоту домов. Они захотят выяснить, кто ему платит. И есть ли у него разрешение.

Это хорошо. Просто замечательно.

Время страусов

Они по-прежнему не возвращаются в Париж. Ее по-прежнему не выпускают на улицу. Мари-Лора считает каждый день, проведенный взаперти. Сто двадцать. Сто двадцать один. Она думает о передатчике наверху, как он рассылал дедушкин голос за море: «Представьте себе кусок угля в вашей семейной печке», и он плыл, как Дарвин, от Плимута к Зеленому Мысу, к Патагонии, к Фолклендским островам, над волнами, через границы.

– Когда ты закончишь макет, – спрашивает она папу, – я смогу наконец выйти на улицу?

Он продолжает молча шкурить деревяшку.

Пряательницы мадам Манек приносят на кухню все более страшные, все более невероятные истории. Чей-то парижский родственник, о котором тридцать лет не было ни слуху ни духу, теперь пишет слезные письма, умоляет прислать каплунов, ветчину, кур. Зубной врач торгует вином по почте. Парфюмер поездом возит в Париж мясо и

продает с баснословной выгодой.

В Сен-Мало жителей штрафуют за то, что они запирают двери, держат голубей или запасают мясо впрок. Трюфели исчезли. Игристые вина исчезли. Не смотреть в глаза. Не болтать у входа в дом. Не загорать, не петь, не гулять парочками по городским стенам в вечерние часы. Таких писанных правил нет, но все их соблюдают. Налетают ледяные ветры с Атлантики, Этьен баррикадируется в комнате брата. Мари-Лора, чтобы выдержать медленный ливень минут и часов, водит пальцами по раковинам в его комнате, раскладывает их по размеру, по видам, по морфологии, вновь и вновь проверяет порядок, убеждаясь, что не пропустила ни одной ракушки.

Ведь можно же ей выйти на полчаса? Под руку с отцом? Однако папа всякий раз говорит «нет», а из закутков ее памяти звучат голоса:

– Слепых девчонок заберут еще раньше, чем калек.

– Заставят их делать всякое.

За городскими стенами курсируют несколько военных судов; лен вяжут в снопы, грузят, вьют из него веревки, канаты или парашютные стропы; чайки в полете роняют устриц или мидий, и от внезапного стука по крыше Мари-Лора резко садится на кровати. Мэр объявляет, что введен новый налог. Приятельницы мадам Манек ворчат, что он их продал, что на этом месте нужен un homme à roigne[24], другие спрашивают, а куда же мэру деваться. Появилось даже выражение: «время страусов».

– А кто спрятал голову в песок, мадам, мы или они?

– Да, наверное, все, – тихо отвечает мадам Манек.

В последнее время она частенько задремывает за столом, сидя рядом с Мари-Лорой, а когда несет еду Этьену на пятый этаж, идет медленно, пыхтя. Почти каждое утро, пока все еще спят, мадам что-нибудь печет, затем, с сигаретой в зубах, уходит в город – отнести пироги или судки с рагу бедствующим и больным. Наверху отец Мари-Лоры трудится над макетом: шкурит, прибывает, пилит, измеряет – с каждым днем все лихорадочнее, будто торопится успеть к какому-то известному ему одному сроку.

Слабейший

Полевой тренировкой руководит комендант школы по фамилии Бастиан, исполняющий свои обязанности с исключительным рвением. У него широкая походка, круглый живот, а на груди звенят боевые медали. Лицо Бастиана рябое от оспы, плечи словно вылеплены из мягкой глины. Он с утра до вечера ходит в кованных сапогах, и кадеты шутят, что он ими выбивался из материнской утробы.

Бастиан требует, чтобы они запоминали наизусть карты, определяли высоту солнца, сами вырезали себе ремни из телячьей кожи. Каждый вечер, в любую погоду, он стоит перед ними на плацу и выкрикивает идеологические изречения: «Благополучие зависит от свирепости. Если у ваших разлюбленных бабулечек есть чай с печеньем, то лишь благодаря вашим кулакам!»

На поясе у него висит старый пистолет. Самые рьяные кадеты смотрят на Бастиана с блеском в глазах. Вернеру думается, что Бастиан человек жестокий и злопамятный.

– Армия – это тело, – говорит комендант, крутя в руке резиновый шланг, так что кончик проносится в сантиметрах от лица одного из мальчишек в строю. – Такое же, как человеческое. И как вы должны изгнать всякую слабость из собственного тела, так же следует учиться изгонять всякую слабость из армии.

Как-то в октябре Бастиан вызывает из строя косолапого мальчика:

– Ты будешь первым. Как твоя фамилия?

– Бекер, господин комендант.

– Бекер. Скажи нам, Бекер, кто в этой группе слабейший?

Вернера начинает бить дрожь. Он самый маленький среди своих ровесников. Он выпрямляется насколько может и пытается раздуть грудь. Взгляд Бекера скользит вдоль строя.

– Он, господин комендант?

Вернер выдыхает. Бекер выбрал мальчика довольно далеко от него, одного из немногих брюнетов в школе. Эрнста Как-его-там. Выбор понятен: Эрнст и впрямь бежит медленно и неуклюже.

Бастиан велит Эрнсту выйти из строя и повернуться к товарищам. У того дрожит нижняя губа.

– Без толку распускать нюни. – Бастиан машет рукой в дальний конец поля, туда, где поперек бурьяна тянется цепочка деревьев. – У тебя будет десять секунд форы. Добеги до меня раньше, чем тебя догонят. Понял?

Эрнст не мотает головой и не кивает. Бастиан демонстративно кривится:

– Когда я подниму левую руку – беги. Когда подниму правую – бежите вы все, дурачье.

И вразвалку уходит прочь: резиновый шланг на шее, пистолет болтается на боку.

Шестьдесят мальчишек ждут, тяжело дыша. Вернер вспоминает Ютту, ее прозрачные волосы, быстрые глаза и резкие манеры. Сестру никто и нигде не назвал бы слабейшей. Эрнст Как-его-там дрожит всем телом, от запястий до щиколоток. Отойдя метров на двести, Бастиан поворачивается и поднимает левую руку.

Эрнст бежит. Руки у него почти прямые, ноги вихляются. Бастиан ведет обратный отсчет от десяти.

– Три! – доносится издалека его голос. – Два! Один!

На слове «ноль» он вскидывает правую руку, и мальчишки срываются с места. Темноволосый Эрнст успел оторваться метров на сорок, но расстояние сразу начинает сокращаться.

Пятьдесят девять четырнадцатилетних ребят стаями преследуют одного. Кто-то вырывается вперед, кто-то уже отстал. Вернер старается держаться в середине. Сердце стучит, в голове черный вихрь растерянности. Он гадает, где Фредерик, зачем они догоняют этого мальчика и что будут делать, если его настигнут?

Однако какая-то атавистическая часть мозга отлично понимает, что они будут делать.

Самые быстроногие уже почти нагнали одинокую фигурку. Эрнст лихорадочно работает

ногами, но ему явно не хватает дышалки. Трава колышется на ветру, солнечный свет бьет сквозь ветви деревьев, стоя все ближе, и Вернер чувствует злость: почему Эрнст так медленно бегаёт? Почему не тренировался? Как он вообще прошел вступительные экзамены?

Самый быстрый кадет почти хватается Эрнста за рубашку. Сейчас черноволосого мальчика поймают, и Вернеру отчасти хочется, чтобы это случилось. Однако Эрнст добегаёт до Бастиана на долю секунды раньше остальных.

Надлежит сдать

Мари-Лоре приходится трижды просить отца, прежде чем тот соглашается прочесть документ вслух:

– «Жителям надлежит сдать все находящиеся в их распоряжении радиоприемники. Радиоприемники следует доставить по адресу: рю-де-Шартр, двадцать семь, не позднее завтрашнего полудня. Неисполнение этого приказа будет рассматриваться как саботаж и повлечет за собой арест».

Некоторое время все молчат. Внутри Мари-Лоры просыпается застарелая тревога.

– А он сейчас...

– В бывшей комнате твоего дедушки, – отвечает мадам Манек.

Завтрашний полдень. Полдома, думает Мари-Лора, занимают радиоприемники и детали к ним.

Мадам Манек стучит в комнату Анри – никакого ответа. Вечером они упаковывают все радиооборудование из комнаты Этьена. Папа и мадам Манек выключают приемники из сети и складывают в ящики. Мари-Лора сидит на кушетке и слушает, как они умолкают один за другим: старенькая «Радиола-V», «Титан» фирмы «Жорж, Монтастье, Руж», их же «Орфей». Тридцатидвухвольтовый портативный «Делко», который Этьен в двадцать втором году выписал издалека – из самой Америки.

Самые большие приемники папа упаковывает в картон и на старенькой ручной тележке свозит их по лестнице. Мари-Лора сидит, положив руки на колени, и чувствует, как у нее немеют пальцы. Она думает про механизм на чердаке, про его провода и переключатели. Передатчик, выстроенный, чтобы говорить с призраками. Считается ли он радиоприемником? Надо ли о нем упоминать? Знают ли папа и мадам Манек? Похоже, не знают. Вечером на город наплывает холодный, пахнущий рыбой туман. Они на кухне ужинают картошкой и морковкой. Мадам Манек оставляет тарелку перед дверью в комнату Анри и стучит, но дверь не открывается и еда остается нетронутой.

– Что они сделают с приемниками? – спрашивает Мари-Лора.

– Отправят в Германию, – отвечает папа.

– Или выбросят в море, – говорит мадам Манек. – Давай, золотко, пей свой чай. Это еще не конец света. Сегодня я принесу тебе еще одеяло.

Утром Этьен по-прежнему в комнате брата. Неизвестно, в курсе ли он, что происходит

в его доме. В десять утра папа начинает возить приемники на рю-де-Шартр. Одна ходка, вторая, третья. Наконец он ставит на тележку последнее радио. Этьен за все это время так и не появился. Мари-Лора держит мадам Манек за руку и слушает, как хлопает дверь, как скрипит нагруженная тележка по улице Воборель и как вновь наступает полная тишина.

Музей

Фельдфебель Рейнгольд фон Румпель просыпается спозаранку. Натягивает форму, убирает в карманы пинцет и лупу, надевает белые перчатки. К шести часам он уже в фойе гостиницы, полностью готовый к выходу: ботинки начищены, кобура застегнута. Хозяин приносит хлеб и сыр в темной плетеной корзинке, сверху полотняная салфетка – все как в лучших домах.

Приятно выйти в город до восхода солнца, когда еще горят фонари, а гул парижского дня только-только пробуждается. Когда фон Румпель сворачивает с улицы Кювье в ботанический сад, его встречают мглистые торжественные деревья – зонты, раскрытые специально для него.

Он любит вставать рано.

У входа в Большую галерею два ночных сторожа замирают, как в столбняке. Смотрят на его нашивки, и жилы у них на горле напрягаются. По лестнице сходит человек в черном костюме, по-немецки просит его извинить. Представляется заместителем директора и говорит, что ожидал мсье фельдфебеля только через час.

– Мы можем беседовать по-французски, – отвечает фон Румпель.

За спиной у заместителя директора – второй сотрудник. У него очень тонкая сухая кожа, и он явно боится смотреть посетителю в глаза.

– Мы почтем за честь показать вам собрание музея, фельдфебель, – чуть слышно говорит замдиректора. – Это наш минералог профессор Юблэн.

Юблэн моргает два раза подряд. Он похож на пойманного зверя. Оба сторожа смотрят на них из коридора.

– Позвольте взять вашу корзинку?

– Мне не тяжело.

Минералогическая галерея такая длинная, что фон Румпель почти не видит другой ее конец. Впереди – ряды опустелых витрин, по темным пятнам на выцветшем бархате можно угадать, где лежали экспонаты. Фон Румпель идет, неся корзинку на локте, забыв обо всем на свете. Сколько сокровищ осталось! Великолепная друза желтого топаза на сером субстрате. Огромная щетка розового берилла, похожая на кристаллизованные мозги. Фиолетовая колонна мадагаскарского турмалина, такого густого оттенка, что фон Румпель не отказывает себе в удовольствии ее погладить. Бурнонит, апатит на мусковите, переливчатый циркон и еще десятки минералов с незнакомыми ему названиями. «Эти люди, – думает он, – за неделю держат в руках больше драгоценных камней, чем я – за всю жизнь».

Каждый экспонат внесен в огромный каталожный фолиант. Тома описи заполнялись столетиями. Бледный Юблэн показывает фон Румпелю страницы:

– Начало собранию положил Людовик Тринадцатый, учредив Медицинский кабинет, куда камни помещались по своим якобы лечебным свойствам: нефрит от почечных болей, глина от несварения желудка. К тысяча восемьсот пятидесятому году в коллекции было уже двести тысяч образцов, бесценное минералогическое наследие...

Время от времени фон Румпель достает из кармана записную книжечку и делает в ней пометки. Ему некуда спешить. В конце зала замдиректора останавливается и сцепляет пальцы на животе:

– Надеюсь, фельдфебель, вы довольны? Вам понравилась экскурсия?

– Очень.

Электрические лампы на потолке далеко одна от другой, тишина в огромном пространстве подавляет.

– Однако, – продолжает фон Румпель медленно, подчеркивая каждый слог, – как насчет экспонатов, не выставленных на публичное обозрение?

Замдиректора и минералог обмениваются взглядами.

– Вы видели все, что мы могли вам показать, фельдфебель.

Фон Румпель говорит вежливо. Культурно. В конце концов, Париж – не Польша. Действовать следует аккуратно. Нельзя просто изъять все ценности. Как там говорил его отец? «Смотри на препятствия как на ступеньки к победе, Рейнгольд. Черпай в них вдохновение».

– Есть здесь место, где мы можем поговорить? – спрашивает он.

Кабинет замдиректора расположен в пыльном углу третьего этажа и выходит окнами на сад. В помещении жарко натоплено. Стены обшиты ореховым деревом и украшены жуками и бабочками в черных и белых рамках под стеклом. За письменным столом весом в полтонны висит один-единственный рисунок: угольный портрет французского биолога Жан-Батиста Ламарка.

Замдиректора садится за стол, фон Румпель – напротив, поставив корзину между ногами. Минералог стоит. Длинношея секретарша приносит чай.

Юблэн говорит:

– Мы постоянно пополняем коллекцию. По всему миру промышленное развитие ведет к уничтожению уникальных месторождений. Мы стараемся собрать все существующие минералы. Для куратора они все равноценны.

Фон Румпель смеется. Да, он оценил игру. Но разве они не понимают, что его победа предрешена? Он ставит чашку на стол и говорит:

– Я хотел бы видеть ваши особо охраняемые экспонаты. Особенно меня интересует один, который, насколько мне известно, лишь недавно достали из запертого хранилища.

Замдиректора проводит рукой по волосам, на воротник сыплется перхоть.

– Фельдфебель, минералы, которые вы сейчас видели, помогли сделать открытия в электрохимии, установить фундаментальные законы математической кристаллографии. Национальный музей обязан стоять выше прихотей отдельных коллекционеров, беречь

свой фонд для будущих поколений...

– Я подожду, – улыбается фон Румпель.

– Вы не поняли нас, мсье. Мы показали вам все, что могли.

– Я подожду, пока вы не покажете то, чего не можете.

Замдиректора смотрит в чашку с чаем. Минералог переступает с ноги на ногу – видимо, силится сдержать kloкочущий в нем гнев.

– Я очень хорошо умею ждать, – продолжает фон Румпель. – Это мой главный талант. Я всегда был слаб в спорте и в математике, но с самого детства одарен исключительным терпением. Я ждал в парикмахерской, пока маме делали прическу. Сидел часами на стуле, без журналов, без игрушек, даже ногами не болтал. На других мамаш это производило большое впечатление.

Замдиректора ерзает в кресле, Юблэн нервно поводит плечами. Интересно, кто подслушивает под дверью?

– Пожалуйста, сядьте, если хотите, – обращается фон Румпель к минералогу и похлопывает по соседнему стулу.

Юблэн не садится. Время идет. Фон Румпель допивает последний глоток чая и очень аккуратно ставит чашку на край замдиректорского стола. Где-то включается вентилятор, несколько минут жужжит, потом умолкает.

Юблэн говорит:

– Не совсем понятно, чего вы ждете, фельдфебель.

– Я жду от вас откровенности.

– С вашего позволения...

– Оставайтесь здесь, – говорит фон Румпель. – Сядьте. Я уверен, что если вам надо отдать какие-нибудь указания, довольно их произнести, и похожая на жирафа мадемуазель услышит. Не так ли?

Замдиректора возит под столом ногами. Время уже за полдень.

– Не хотите ли осмотреть скелеты? – спрашивает замдиректора. – Зал человека великолепен. А наша зоологическая коллекция превосходит...

– Я хотел бы посмотреть минералы, которые вы не выставляете в галерее. Особенно один.

У минералога горло идет красными пятнами. Он по-прежнему не садится. Замдиректора, видимо, смирился с тем, что ситуация патовая. Он достает из стола толстую пачку сшитых листов и начинает читать. Юблэн делает шаг к двери, но фон Румпель говорит просто:

– Оставайтесь здесь, пока мы не решим вопрос.

Ожидание, думает он, своего рода война. Надо всего лишь сказать себе: ты не вправе проиграть. На столе звонит телефон, замдиректора тянется к трубке, но фон Румпель поднимает руку, и телефон через десять или одиннадцать гудков умолкает. Проходит, возможно, целый час. Юблэн смотрит на свои ботинки, замдиректора что-то помечает в рукописи серебристой авторучкой. Фон Румпель сидит совершенно неподвижно. В дверь

тихонько стучат.

– Господа? – спрашивает голос.

– Спасибо, нам ничего не нужно, – отвечает фон Румпель.

– У меня есть другие дела, фельдфебель, – говорит замдиректора.

– Вы будете ждать здесь, – произносит фон Румпель все тем же ровным голосом. – Вы оба. Будете ждать со мной, пока я не увижу то, за чем пришел. Потом мы все сможем вернуться к нашей важной работе.

У минералога дрожит подбородок. Вентилятор опять включается, гудит, умолкает. Пятиминутный таймер, догадывается фон Румпель. Он ждет, пока вентилятор вновь не включится и не выключится. Потом ставит корзину на колени. Указывает на стул, говорит мягко:

– Садитесь, профессор. Вам будет удобнее.

Юблэн не садится. Два часа, в городе звонят сотни церковных колоколов. Гуляющие на дорожках. С деревьев падают последние осенние листья.

Фон Румпель кладет на колени салфетку. Медленно ломает хлеб, засыпая себя крошками. Жуя, он почти слышит, как у обоих французов урчит в желудке. Угоститься не предлагает. Закончив, промакивает углы рта салфеткой.

– Вы неправильно меня поняли, господа. Я не зверь. Я не собираюсь грабить вашу коллекцию. Она принадлежит всей Европе, всему человечеству, не так ли? Мне нужно только нечто очень маленькое. Меньше вашей коленной чашечки.

Говоря, он смотрит на минералога. Тот багровеет и отводит взгляд.

– Это нелепость, фельдфебель! – взрывается замдиректора.

Фон Румпель складывает салфетку, убирает ее в корзину, ставит корзину на пол. Слюнявит палец и одну за другой снимает с мундира крошки. Потом смотрит прямо на замдиректора:

– Лицей Карла Великого, не так ли? На рю-Шарлемань?

Глаза у замдиректора раскрываются так, что кожа вокруг них натягивается.

– Ведь туда ходит ваша дочь? – Фон Румпель поворачивается на стуле. – И коллеж Святого Станислава, верно, доктор Юблэн? Там учатся ваши сыновья-близнецы? На рю-Нотр-Дам-де-Шам? Если я не ошибаюсь, сейчас эти очаровательные мальчишки собираются идти домой?

Юблэн хватается за спинку пустого стула. Костяшки пальцев у него белеют.

– Один со скрипкой, другой с альтом, если я ничего не путаю? Переходят столько улиц с оживленным движением. Долгая дорога для десятилетних мальчиков.

Замдиректора сидит очень прямо. Фон Румпель продолжает:

– Я знаю, господа, что его здесь нет. Даже последний уборщик сообразил бы, что алмаз надо перепрятать. Однако я хотел бы посмотреть, где вы его держали. Узнать, какое хранилище вы сочли достаточно надежным.

Оба француза молчат. Замдиректора смотрит в рукопись, хотя очевидно, что он уже не

читает. В четыре секретарша стучит в дверь, и вновь фон Румпель отсылает ее прочь. Он старается сосредоточиться только на морганин. На биении жилки на шее. Тук-тук-тук-тук. Другие, думает он, действовали бы более грубо. Пустили бы в ход детектор лжи, взрывчатку, пистолетные дула, кулаки. Фон Румпель использует лишь самый дешевый материал: только минуты, только часы.

Бьет пять. Сад за окном погружается в тень.

– Прошу вас, фельдфебель, – говорит замдиректора, положив обе ладони на стол. Поднимает голову. – Уже очень поздно. Мне надо в уборную.

– Не стесняйтесь. – Фон Румпель указывает на металлическое мусорное ведро под столом.

Минералог морщится. Снова звонит телефон. Юблэн грызет ногти. Лицо замдиректора болезненно кривится. Вентилятор жужжит. Деревья в саду темнеют, а фон Румпель по-прежнему ждет.

– Ваш коллега, – говорит он минералогу, – человек логического склада, верно? Он не верит в легенды. Но вы темпераментнее. Вы не хотите верить, убеждаете себя, что не верите. Однако на самом деле вы верите. – Он качает головой. – Вы держали алмаз в руках. Ощутили его силу.

– Это нелепость, – отвечает Юблэн. Глаза у него закатываются, как у перепуганной лошади. – Цивилизованные люди так себя не ведут. Что с нашими детьми, фельдфебель? Я требую, чтобы вы дали нам возможность узнать, что с нашими детьми.

– Вы ученый, и все равно верите мифам. Верите в мощь разума и одновременно в сказки. В богинь и проклятия.

Замдиректора резко выдыхает.

– Все. Хватит, – говорит он.

У фон Румпеля убыстряется пульс. Неужто уже? Так быстро? Он готов был ждать еще два дня, три, пока вражеские ряды не дрогнут.

– Нашим детям ничто не угрожает, фельдфебель?

– Это зависит от вас.

– Можно мне позвонить?

Фон Румпель кивает. Замдиректора берет трубку, говорит: «Сильвия», некоторое время слушает, затем вешает трубку. Входит женщина со связкой ключей. Извлекает из ящика замдиректорского стола еще один ключ. Простой, изящный, длинный.

Маленькая запертая дверь в конце коридора первого этажа. Она открывается двумя ключами; судя по всему, для замдиректора замок непривычный. Фон Румпеля ведут вниз по винтовой лестнице, потом замдиректора открывает вторую дверь. Они проходят лабиринтом коридоров, мимо сторожа, который роняет газету и резко выпрямляется на стуле. В подсобке, наполненной ящиками и кусками холста для завешивания экспонатов, минералог убирает лист фанеры. За ней – простой сейфовый замок, замдиректора открывает его без особых затруднений.

Никакой сигнализации. Только один сторож.

Внутри сейфа ящик, уже более интересный. Он довольно тяжелый – минералогу и замдиректора приходится вынимать его вдвоем.

Изящно сделано. Стыков не видно. Ни марки изготовителя, ни кодового замка. Надо полагать, внутри пустое пространство, но нет ни петель, ни гвоздей, ни креплений. С виду сплошной кусок тщательно отполированного дерева. Штучная работа.

Минералог вставляет ключ в крохотное, почти невидимое отверстие снизу и поворачивает. Открываются еще две миниатюрные замочные скважины на противоположной стороне. Замдиректора вставляет в них парные ключи. Судя по всему, там не меньше пяти сувальд.

Три взаимосвязанных цилиндрических замка.

– Умно, – шепчет фон Румпель.

Весь ящик плавно распадается на части.

Внутри маленький фетровый мешочек.

– Откройте, – говорит фон Румпель.

Минералог смотрит на замдиректора. Тот берет мешочек, растягивает завязки и вытряхивает себе в руку что-то завернутое в лоскут ткани. Пальцем раздвигает складки. На ладони у него камень размером с голубиное яйцо.

Платяной шкаф

Горожан, которые зажигают свет во время затемнения, штрафуют или забирают, хотя мадам Манек рассказывает, что в «Отель-Дьё» свет горит всю ночь и в любой час можно видеть немецких офицеров, которые заходят туда или выходят наружу, заправляя рубашки и одергивая брюки. Мари-Лора старается не уснуть, ждет, не услышит ли дядюшку. Наконец дверь по другую сторону лестничной клетки открывается, ноги шаркают по половицам. Мари-Лоре представляется, что сказочный мышонок выглядывает из норки.

Она спрыгивает с кровати, стараясь не разбудить отца, и выходит на площадку:

– Дядя, не бойся.

– Мари-Лора?

От него пахнет приближающейся зимой, могилой, тяжелой инерцией времени.

– Как ты себя чувствуешь?

– Чуть лучше.

Они садятся на ступени.

– Тут было одно объявление, – говорит Мари-Лора. – Мадам положила его тебе на стол.

– Что за объявление?

– Твои радиоприемники.

Они спускаются на пятый этаж. Этьен что-то невнятно бубнит. Водит пальцами по опустевшим полкам. Старых друзей нет. Мари-Лора ждет гневных возгласов, но вместо этого Этьен, задыхаясь, лепечет строчки из детского стишка:

– ...à la salade je suis malade au céleri je suis guéri...[25]

Мари-Лора берет его за локоть и усаживает на кушетку. Он все еще бормочет, пытаясь от чего-то отгородиться, и она чувствует, как от него пышет страхом, заразным и ядовитым, похожим на клубы испарений от банок с формалином в отделе зоологии.

Дождь стучит в окна. Голос Этьена доносится словно издалека:

– Все до одного?

– Кроме радио на чердаке. Я о нем не сказала. Мадам Манек про него знает?

– Мы никогда его не обсуждали.

– Оно хорошо спрятано, дядя? Его могут найти, если дом будут обыскивать?

– Кто станет обыскивать наш дом?

Молчание.

– Мы еще можем его сдать, – говорит Этьен. – Сказать, что мы просто о нем забыли.

– Последний срок был вчера в полдень.

– Может, они поверят?

– Дядя, ты правда думаешь, будто они поверят, что можно случайно забыть про передатчик, который слышно в Англии?

Вновь испуганное дыхание. Ночь катится вперед на своих бесшумных колесах.

– Помоги мне, – говорит Этьен.

Он приносит из комнаты на третьем этаже автомобильный домкрат, затем вместе с Мари-Лорой поднимается на шестой этаж, закрывает дверь в комнату ее бабушки и, не зажигая даже свечу, встает на колени рядом с огромным платяным шкафом. Он вставляет домкрат под шкаф и приподнимает левую сторону. Подсовывает под ножки сложенные тряпки, затем поднимает другую сторону и делает то же самое.

– А теперь, Мари-Лора, упрись руками вот здесь. И толкай.

С дрожью волнения она осознает, что они сейчас задвинут шкафом маленькую дверь на чердак.

– Изо всех сил. Готова? Раз, два, три...

Огромный шкаф сдвигается на дюйм. Тяжелые зеркальные створки легонько хлопают. У Мари-Лоры такое чувство, будто они толкают по льду целый дом.

– Отец, – произносит Этьен, отдуваясь, – говорил, что сам Христос не занес бы этот шкаф по лестнице. Наверное, сперва поставили шкаф, а потом уже начали строить здание. Ну, поднажмем еще раз? Готова?

Они толкают, отдыхают, снова толкают, снова отдыхают. Наконец шкаф встает перед дверью: вход на чердак перекрыт. Этьен вновь поочередно поднимает его домкратом с боков, вытаскивает тряпки и, тяжело дыша, опускается на пол. Мари-Лора садится рядом. Еще до того, как по городу прокатывается рассвет, оба уже спят.

Черные дрозды

Утренняя переключка. Френология, учебные стрельбы, строевая подготовка. Черноволосый Эрнст ушел из школы через пять дней после того, как на занятиях Бастиана его выбрали слабейшим. Двое других – на следующей неделе. Из шестидесяти учеников осталось пятьдесят семь. Каждый вечер Вернер работает в лаборатории, то подставляя числа в тригонометрические формулы, то совершенствуя приемопередатчик, который конструирует Гауптман. Маленький доктор объяснил, что прибор должен быстро переходить к передаче на разных частотах, а также измерять пеленг принимаемого сигнала. Может Вернер это сделать?

Он почти полностью переделывает схему. Иногда по вечерам Гауптман общителен, подробно разъясняет роль соленоида и резистора, может вдруг сообщить, как называется паук, спускающийся на ниточке с потолка, или пуститься в рассказ о научной конференции в Берлине, где почти любой разговор, по его словам, открывает новые горизонты. Относительность, квантовая механика – в такие вечера он охотно говорит на любые интересующие Вернера темы.

Однако порой – иногда на следующий же вечер – Гауптман замыкается в себе. В такие дни он молча наблюдает за работой Вернера, а Вернер не задает ему вопросов. То, что у доктора Гауптмана такие связи – что телефон на столе соединяет его с людьми за сотню километров, с людьми, которые одним движением пальца отправляют десятки «мессершмиттов» бомбить какой-нибудь город, – пьянит и завораживает Вернера.

Мы живем в исключительное время.

Вернер гадает, простила ли его Ютта. Ее письма состоят по большей части из ничего не значащих пустяков («у нас тут много дел», «фрау Елена передает тебе привет») либо так исчерканы цензором, что в них ничего не понять. Горюет ли она о его отъезде? Или заставила свои чувства окостенеть, защищая себя, как учится сейчас делать он?

Фолькхаймер, как и Гауптман, натура противоречивая. Для других мальчишек Великан – громила, орудие грубой силы, и все же, когда Гауптман в Берлине, Фолькхаймер приносит из его кабинета ламповый радиоприемник «Грюндиг», вставляет коротковолновую антенну и наполняет лабораторию музыкой. Моцарт, Бах, даже итальянец Вивальди. Чем сентиментальнее, тем лучше. Великан откидывается в кресле, которое протестующе стонет под его весом, и полуприкрывает веки.

Почему всегда треугольники? Для чего нужен прибор, который он собирает? Какие две точки Гауптман знает и для чего ему нужно знать третью?

– Это всего лишь числа, – произносит Гауптман свою любимую максимуму. – Чистая математика, кадет. Привыкайте мыслить в таких категориях.

Вернер строит гипотезы и делится ими с Фредериком, но Фредерик ходит как во сне, штаны слишком широки ему в талии, рубашка вечно вылезает наружу. Глаза одновременно

напряжены и рассеянны; он не замечает, когда промахивается по мишени. Почти каждый вечер, засыпая, Фредерик что-нибудь бормочет себе под нос: читает стихи, рассказывает о повадках гусей, о летучих мышах за окном.

Птицы, всегда птицы.

– ...Полярные крачки, Вернер, летят от Северного полюса к Южному. Они настоящие кругосветные путешественники. Никто, наверное, за всю историю животного мира не мигрировал так далеко – на семьдесят тысяч километров в год..

На конюшнях, винограднике и стрельбище лежит металлический зимний свет. Небо над холмами исчеркано птичьими строчками – пути миграции воробьиных проходят прямо над шпилями школы. Иногда вся стая садится на огромную липу за плацем и мельтешит среди листьев.

Мальчишки шестнадцати-семнадцати лет, старшекласники, которым свободно выдают патроны, придумали забаву: палить по деревьям и считать, кто сколько птиц убил. Дерево кажется пустым, нежилым. Выстрел – и крона разлетается во все стороны, в полсекунды воздух наполняется отчаянно гомонящими птицами, словно взорвалось само дерево.

Как-то вечером в спальне Фредерик, упершись лбом в оконное стекло, шепчет:

– Я их ненавижу. Ненавижу их всех.

Когда звонят к обеду и все мчатся в столовую, Фредерик всегда приходит последним. Глаза под желтой челкой страдальческие, шнурки волочатся по полу. Вернер моет за Фредериком миску, делится с ним ответами к домашним заданиям, гуталином, конфетами от доктора Гауптмана; во время полевых учений они всегда бегут рядом. У каждого на лацкане – легкий бронзовый значок; сто четырнадцать подкованных подметок выбивают искры из щебнистой дороги. Замок с башенками и бастионами высится мгlistым видением былой славы. У Вернера кровь вскачь несется по жилам; он думает о приемопередатчике Гауптмана, о припое, предохранителях, аккумуляторах, антеннах; их с Фредериком подошвы ударяют по земле точно в такт.

SSG35 A NA513 NL WUX

КОПИЯ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ

10 ДЕКАБРЯ 1940

МСЬЕ ДАНИЭЛЮ ЛЕБЛАНУ

СЕН МАЛО ФРАНЦИЯ

= ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПАРИЖ КОНЦЕ МЕСЯЦА ТЧК СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ =

Ванна

Последние часы лихорадочной работы, и макет Сен-Мало дошкурен и доклеен. Он не покрашен, собран из полудюжины разных сортов дерева, в нем недостает подробностей. Однако теперь дочь сможет учиться по нему, если до такого дойдет: все восемьсот шестьдесят пять зданий на месте и заключены в неправильный многоугольник укреплений.

Мастер чувствует себя выжатым. Камень, который ему поручили сберечь, не настоящий – иначе директор давно прислал бы кого-нибудь забрать такую ценность. Тогда почему, когда смотришь на него в лупу, внутри видны крохотные кинжалы пламени? Почему за спиной слышны шаги, хотя точно знаешь, что там никого нет? И почему его преследует идиотская мысль, будто камень в кармане принес ему несчастье, навлек на Мари-Лору опасности и вообще вызвал немецкую оккупацию?

Бред. Нелепость.

Он проверял камень всеми способами, какие мог измыслить. Всеми, которые не требуют участия других людей.

Положил между двумя кусочками фетра и ударил молотком – не колетса.

Царапал расколотой кварцевой галькой – не царапается.

Подносил к пламени свечи, погружал в воду, кипятил. Прятал камень под матрасом, в ящике с инструментами, в ботинке. Как-то ночью на несколько часов закопал под геранями мадам Манек в цветочном ящике за окном, потом убедил себя, что герани вянут, и вытащил обратно.

Сегодня на вокзале в очереди за билетами, человек за пять дальше его, мелькнуло знакомое лицо. Где-то он видел этого вечно потного толстяка с множеством подбородков. Их взгляды встретились. Толстяк отвел глаза.

Сосед Этьена. Парфюмер.

Недели четыре назад, измеряя расстояния для макета, мастер видел, как парфюмер стоит на укреплениях и фотографирует море. Скверный человечико, сказала мадам Манек, от него хорошего не жди. Но это просто человек в очереди за билетами.

Логика. Принцип достоверности. К каждому замку есть ключ.

Уже более двух недель телеграмма директора эхом отдается в голове. Двусмысленность последнего указания – «соблюдайте осторожность» – сводит с ума. Это значит везти камень с собой или оставить здесь? Ехать поездом? Или каким-то другим, теоретически более надежным способом?

А что, если, думает мастер, телеграмму отправил вовсе не директор?

Вопросы ходят кругами. Отстояв очередь, он покупает билет на утренний поезд до Ренна и оттуда до Парижа, потом узкими темными улочками возвращается на рю-Воборель. Покончить с этим, и все будет позади. Снова за работу, в ключную, мастерить замки. Через неделю он налегке съездит в Бретань и заберет Мари-Лору.

На ужин мадам Манек подает овощное рагу и багеты. Затем мастер по крутой лестнице ведет Мари-Лору в ванную на третьем этаже. Наливает большую чугунную ванну и, отвернувшись, ждет, когда дочь разденется.

– Мылся сколько хочешь, – говорит он. – Я купил еще брусок мыла.

Билет в кармане – как улика предательства.

Он моет ей голову. Мари-Лора вновь и вновь водит пальцами по мыльным хлопьям на воде, словно пытается определить их вес. В том, что касается дочери, мастер живет в постоянной легкой панике – его не отпускает подспудный страх, что он плохой отец и все делает не так. Что не совсем понимает правила. Все эти парижские мамы, которые катят коляски по ботаническому саду или выбирают кофты в магазинах, – ему всегда казалось, что, видя их с Мари-Лорой, эти женщины понимающе переглядываются, словно обладают неким тайным знанием, для него недоступным. Как вообще можно проверить, правильно ли все делаешь?

Впрочем, есть и гордость – гордость, что он все сделал сам. Что у дочери столько упорства и любопытства. Быть отцом такого сильного существа – значит учиться смирению. Как будто ты – лишь тоненький проводок для чего-то куда более значительного. Так он и ощущает себя сейчас, стоя на коленях рядом с ванной и ополаскивая дочери волосы: словно любовь к ней рвется за пределы его тела. Стены могут рухнуть, даже целый город, а яркость этого чувства не померкнет.

Рычит слив, тесно стоящие здания обступают дом.

Мари поднимает мокрое лицо:

– Ты ведь уезжаешь, да?

В эту секунду он рад, что она его не видит.

– Мадам сказала мне про телеграмму.

– Я ненадолго, Мари. На неделю. Самое большее – на десять дней.

– Когда?

– Завтра. Ты еще будешь спать.

Мари-Лора нагибает голову над коленями. Волосы у нее длинные, светлые и расходятся на выступах позвонков. Когда-то она засыпала, зажав в кулачке его указательный палец. А став старше, ложилась с книгой под верстаком в ключной, и ее руки бегали по страницам, как паучки.

– А я останусь здесь?

– С мадам. И с Этьеном.

Он дает ей полотенце, помогает выбраться на кафельный пол и ждет снаружи, пока она надевает ночную рубашку. Потом ведет ее на шестой этаж, в их комнатку, хотя и знает, что дочь дошла бы сама. Сидит на краю кровати и смотрит, как она, встав на колени перед макетом, берется тремя пальцами за колокольню собора.

Не включая лампу, он находит ее щетку для волос.

– Десять дней, папа?

– Самое большее.

Стены скрипят. Окно в просвете меж занавесок черно: город готовится ко сну. Где-то там скользят над подводными каньонами немецкие подводные лодки, и десятиметровые спруты таращатся огромными глазами в холодный мрак.

– Мы хоть одну ночь провели не вместе?

– Нет.

Его взгляд скользит по неосвещенной комнате. Камень в кармане как будто пульсирует. Что он увидит сегодня во сне, если сможет уснуть?

– Пока тебя не будет, можно мне выйти погулять?

– Как только я вернусь. Обещаю.

Он, как может бережно, водит щеткой по ее мокрым волосам. Окна дребезжат на морском ветру.

Пальцы Мари-Лоры тихо шуршат по домикам. Она повторяет названия улиц:

– Рю-де-Кордьер, рю-Жак-Картье, рю-Воборель.

– Ты выучишь их за неделю, – говорит отец.

Мари-Лора взбирается пальцами на внешние укрепления. Дальше – море.

– За десять дней, – говорит она.

– Самое большее.

Слабейший (№ 2)

Декабрь высасывает из замка весь свет. Солнце, не успев толком выглянуть из-за горизонта, прячется снова. Снег идет, тает, идет снова. На третий раз он уже ложится окончательно. Вернер никогда не видел снежной целины, не испачканной копотью и угольной пылью. Единственные посланцы внешнего мира – редкие птицы, садящиеся на липы за плацем (их сбили с пути штормовые ветры или сражения, а может, и то и то), и два гладковыбритых ефрейтора, которые заходят в столовую примерно раз в неделю – всегда сразу после молитвы, когда мальчики только-только подносят ко рту первую ложку. Они проходят под геральдическими украшениями, останавливаются за спиной у очередного кадета и шепчут тому на ухо, что его отец пал в бою.

А бывает, что староста кричит: «Ахтунг!» – кадеты встают, и в столовую неспешной походкой входит комендант Бастиан. Мальчики молча глядят на еду, покуда Бастиан идет вдоль ряда, ведя по их спинам указательным пальцем.

– Скучаете по дому? Нечего скучать! Фюрер – наш отчий дом. Что в сравнении с этим все остальное?

– Ничто! – кричат мальчики.

Каждый день, в любую погоду, комендант свистит в свисток, и четырнадцатилетки выбегают на улицу. Он высится над ними: мундир на животе натянут, медали позвякивают, резиновый шланг крутится в руке.

– Есть два вида смерти, – говорит комендант, и его дыхание клубится морозным

облачком. – Кто-то дерется как лев. А кого-то убить проще, чем вытащить волос из чашки с молоком. – Он обводит взглядом шеренги, помахивает шлангом, драматически таращит глаза. – Как умрете вы, ребята?

Как-то ветреным днем он вызывает из строя Гельмута Рёделя. Гельмут – низкорослый южанин, учится средне, а руки у него постоянно сжаты в кулаки.

– И кто это, Рёдель? По. Твоему. Мнению. Кто слабейший член данного подразделения?

Комендант помахивает шлангом.

Рёдель отвечает без запинки:

– Он, господин комендант.

У Вернера внутри обрывается что-то тяжелое: Рёдель указал прямо на Фредерика.

Бастиан вызывает Фредерика вперед. Если другу и страшно, Вернер этого не видит. Фредерик выглядит рассеянным. Почти философичным. Бастиан вешает шланг на шею и неторопливо трусит по полю, увязая в снегу. Вот уже он не более чем темное пятнышко у дальней ограды. Вернер тщетно пытается поймать взгляд Фредерика – тот смотрит куда-то за горизонт.

Комендант поднимает левую руку и кричит: «Десять!» Ветер доносит только обрывок слова. Фредерик несколько раз моргает, как обычно на уроке, когда к нему обращается учитель. Ждет, когда его внутренняя жизнь догонит внешнюю.

– Девять!

– Беги! – громко шепчет Вернер.

Фредерик хороший бегун, лучше Вернера, но сегодня комендант считает быстрее обычного. Фредерик получил меньшую фору, и ему мешает снег. Он все еще в двадцати метрах от остальных ребят, когда Бастиан поднимает правую руку. Ребята срываются с места. Вернер старается держаться в задних рядах. Винтовки ритмично хлопают их по спине. Самые резвые уже бегут быстрее обычного, как будто им надоело проигрывать.

Фредерик выкладывается изо всех сил. Однако самые резвые мальчишки – гончие, отобранные со всей страны за скорость и готовность повиноваться. У Вернера такое чувство, что они бегут яростнее, целеустремленнее прежнего. Им не терпится узнать, что будет, когда кого-нибудь догонят.

Фредерик не добегает до Бастиана пятнадцати шагов – его валят на землю. Получается куча-мала.

Толпа сгущается вокруг нее. Фредерик и его преследователи встают. Они все в снегу. Подходит Бастиан. Кадеты окружают своего наставника: все они тяжело дышат, многие упираются руками в колени. Морозные облачка пара сливаются в одно и тут же растворяются на ветру. Фредерик стоит в середине круга и хлопает длинными ресницами.

– Обычно это случается быстрее, – говорит Бастиан ласково, словно обращаясь к самому себе. – Обычно первого ловят раньше.

Фредерик щурится на небо.

Бастиан спрашивает:

– Кадет, ты слабейший?

– Не знаю, господин комендант.

– Не знаешь? – Пауза. В лице Бастиана мелькает неприязнь. – Гляди на меня, когда отвечаешь.

– Одни люди слабы в одном, господин комендант. Другие – в другом.

У Бастиана сжимаются губы и суживаются глаза, лицо наливается медленной концентрированной злостью. Как будто ветер на миг развеял облако – и проступила истинная, изувеченная сущность Бастиана. Он снимает с шеи шланг и вручает Рёделю.

Тот моргает.

– Давай, – говорит Бастиан, словно понукает робкого ученика войти в холодную воду.
– Поучи его уму-разуму.

Рёдель смотрит на шланг – черный, метровый, затвердевший от холода. Проходит несколько минут – Вернеру они кажутся часами. Ветер гонит по мерзлой траве султанчики и струйки поземки. Внезапно на Вернера накатывает тоска по Цольферайну, по детским дням, когда он черными от копоти задворками катал сестренку в тележке. Грязь под ногами, хриплые голоса рабочих, мальчишки спят на составленных в ряд кроватях, их штаны и куртки висят на крюках по стене. Фрау Елена идет вдоль кроватей, как ангел, шепчет: «Знаю, холодно, но ведь я здесь, рядом, видите?»

Ютта, закрой глаза.

Рёдель делает шаг вперед и, взмахнув шлангом, бьет Фредерика по плечу. Тот отшатывается. Ветер свистит в траве.

– Еще раз, – говорит Бастиан.

Все странно замедлено. Рёдель размахивается и бьет. Удар приходится Фредерику по скуле. Вернер старается удержать перед глазами образы дома: комнату для стирки, розовые натруженные пальцы фрау Елены, собак в проулке, дым из фабричных труб. Каждая клеточка его тела хочет завопить: «Ведь это же неправильно!»

Однако здесь это правильно.

Всё никак не заканчивается. Фредерик выдерживает третий удар. «Еще!» – командует Бастиан. На четвертый раз Фредерик вскидывает руки, удар приходится ему по локтю, он оступается. Рёдель замахивается снова, Бастиан восклицает: «Нас веди своим примером за собою, о Христос!» – и весь зимний день перекашивается вбок, лопается с треском. Происходящее отдаляется, Вернер наблюдает за сценой словно с другого конца длинного тоннеля: маленькое белое поле, кучка мальчишек, голые деревья, игрушечный замок. Все так же не связано с явью, как истории про эльзасское детство фрау Елены или сказочный Париж Юттиных рисунков. Еще шесть раз Вернер слышит свист рассеяемого воздуха и странно глухой хлопок резины о руки, плечи, лицо Фредерика.

Фредерик может часами бродить по лесу, за пятьдесят метров различать певчих птах по голосам. Фредерик почти не думает о себе. Он сильнее Вернера почти во всем. Вернер открывает рот и тут же закрывает снова. Закрывает глаза, мозг.

Ударов больше не слышно. Фредерик лежит ничком на снегу.

– Господин комендант? – спрашивает Рёдель, тяжело дыша.

Бастиан забирает у него шланг, вешает себе на шею и поддевает ремень, поправляя брюки на круглом животе. Вернер опускается на колени рядом с Фредериком и

поворачивает того на бок. Из носа – а может, из глаза или из уха – течет кровь. А может, отовсюду сразу. Один глаз уже заплыл, другой открыт и смотрит в небо. Следит за чем-то в серой голубизне.

Вернер отваживается поднять голову: над ними парит одинокий ястреб.

– Встать! – говорит Бастиан.

Вернер встает. Фредерик не шевелится.

– Встать, – повторяет Бастиан тише.

Фредерик поднимается на одно колено. Встает, шатается. Щека рассечена, из нее тонкими струйками сочится кровь. Снег, попавший за шиворот, тает на рубашке. Вернер подает ему руку.

– Кадет, ты слабейший?

Фредерик не смотрит на Бастиана:

– Нет, господин комендант.

Ястреб по-прежнему парит в небе. Толстый комендант мгновение думает, двигая челюстями. В следующий миг звучит его зычный голос: «Бегом!» Пятьдесят семь кадетов пересекают поле и по заснеженной дороге трусят через лес. Фредерик на своем всегдашнем месте, рядом с Вернером. Левый глаз распух, щеки в кровавых разводах, ворот бурый и мокрый.

Ветки качаются и скрипят. Пятьдесят семь мальчишек поют в унисон:

Нет цели светлей и желаннее!

Мы вдребезги мир разобьем!

Сегодня мы взяли Германию,

А завтра – всю Землю возьмем! [26]

Зима в лесах старой Саксонии. Вернер не отваживается еще раз взглянуть на друга. Он трусит по морозу, с незаряженной пятипатронной винтовкой через плечо. Ему почти пятнадцать.

Арест мастера

Его берут на станции рядом с Витре, в нескольких часах от Парижа. Двое полицейских в штатском выводят его из поезда под взглядами немногочисленных пассажиров. Допрашивают в полицейском фургоне, потом еще раз в ледяном помещении, украшенном плохими акварелями океанских лайнеров. Сперва допрашивают французы, через час их

сменяют немцы. Мастеру демонстрируют его записную книжку и ящичек с инструментами. Берут его кольцо с ключами и насчитывают семь разных отмычек. Зачем они нужны? Для чего вам эти надфили и пилки? Как насчет записной книжки с архитектурными замерами?

Макет для моей дочери.

Ключи для музея, где я работаю.

Бога ради.

Его заталкивают в камеру. Замок на двери и петли огромные и старинные – не иначе как времен Людовика XIV. Или Наполеона. Вот-вот подъедет директор или кто-нибудь из музея и все объяснит. Недоразумение обязательно разрешится.

Наутро немцы проводят второй, более лаконичный допрос. В углу стучит машинистка. Кажется, его обвиняют в том, что он хотел взорвать Шато-де-Сен-Мало, хотя неясно, с чего они это взяли. Допрашивающие еле-еле понимают по-французски и явно больше заняты своими вопросами, чем его ответами. На просьбу дать бумагу, сменное белье, позвонить по телефону – отказ. Его фотографируют.

Отчаянно хочется курить. Он лежит ничком на полу и воображает, как целует спящую Мари-Лору сперва в один глаз, потом в другой. Через два дня после ареста его отвозят в загон для скота под Страсбургом. Через щель в заборе он наблюдает, как школьницы в форме шагают под зимним солнцем колонной по две.

Охранники приносят бутерброды, твердый сыр, достаточно воды. В загоне еще человек тридцать. Спят на соломе, брошенной на мерзлую грязь. В основном это французы, но есть бельгийцы, четверо фламандцев, два валлона. Никто толком не отвечает, за что его задержали; все боятся, что вопросы – хитро расставленная ловушка. По ночам шепотом обмениваются слухами.

– Мы пробудем в Германии лишь несколько месяцев, – говорит кто-то.

Другие подхватывают его слова и передают, меняя их по ходу:

– Только помочь с весенними полевыми работами, пока все их мужчины на фронте.

– Потом нас отпустят домой.

Сперва никто не верит, потом каждый думает про себя: нет, наверное, правда.

Всего несколько месяцев. Потом домой.

Ни официально назначенного адвоката, ни военного трибунала. Трое суток отец Мари-Лоры дрожит от холода в загоне. Из музея никто не приезжает, директорского лимузина на дороге не видать. Когда он просит разрешения позвонить, охранники даже не смеются. «Знаете, когда мы сами последний раз говорили по телефону?» Каждый час – молитва о Мари-Лоре. Каждый вдох и выдох.

На четвертый день арестантов загружают в фургон для скота и везут на восток.

– Мы близко к Германии, – шепчет кто-то.

Из кузова виден другой берег реки: невысокие рощицы между заснеженными полями. Черные ряды виноградников. Четыре отдельных столба дыма тают в белесом небе.

Мастер щурится. Германия? На вид ничем не отличается от этого берега.

С тем же успехом это мог быть край обрыва.

4. 8 августа 1944 г.

Форт Сите

Фельдфебель фон Румпель взбирается по металлической лестнице, чувствуя, как лимфоузлы сдавливают дыхательное горло и пищевод. Он виснет на перекладинах, как мокрая тряпка.

Два артиллериста в перископной башне смотрят на него из-под касок. Не предлагают помощь и не салютуют. Башня стоит на укреплениях форта Сите; она накрыта стальным колпаком и служит главным образом для наведения расположенных ниже больших орудий. Из нее видно море к западу, обрывы внизу, сплошь затянутые проволочным заграждением, и за широким водным пространством – горящий город Сен-Мало.

Обстрел на время прекратился. Дорассветный пожар в стенах уверенно набирает силу. Западный край города – ало-малиновый холокост, из которого встают бесчисленные столбы дыма. Самый большой похож на облако пепла, пара и тефры над жерлом вулкана. Издали он кажется сплошным, как будто вырезан из светящегося дерева. По всему его периметру вспыхивают искры, сыпется зола, порхают административные документы: ведомости, планы коммуникаций, налоговые карточки.

Фон Румпель в бинокль наблюдает как что-то – возможно, летучие мыши – вспыхивает и проносится над укреплениями. В одном из домов взрывается гейзер искр – трансформатор, бочка с бензином или бомба замедленного действия. Впечатление такое, будто молния бьет из земли вверх.

Один из артиллеристов буднично комментирует все, что видит: дым, мертвую лошадь под стеной, интенсивность огня в том или ином секторе. Как будто они – аристократы, наблюдающие с холма за штурмом крепости в эпоху Крестовых походов. Фон Румпель оттягивает воротник, давящий на вспухшие железы, силится сглотнуть.

Луна зашла, небо на востоке светлеет, покров ночи сползает, увлекая за собой звезды, за исключением одной-двух: то ли Веги, то ли Венеры. Фон Румпель так и не научился их различать.

– А шпиль-то рухнул, – замечает второй артиллерист.

Вчера церковный шпиль торчал высоко над зигзагами крыш, сегодня его нет. Вскоре солнце уже над горизонтом, оранжевое пламя блекнет. Черный дым стелется над городом, как сорочка.

На несколько секунд он расходится, и фон Румпель обнаруживает в изрезанном лабиринте улочек то, что искал: верхние этажи дома с широкой печной трубой. Видны два окна, одно выбито. Один ставень висит, три на месте.

Дом номер четыре по улице Воборель. Все еще стоит. Проходят секунды, дым затягивается снова.

Одинокий самолет пронесется в синевом небе, на удивление высоко. Фон Румпель спускается по длинной лестнице обратно в тоннели форта. Идет, стараясь не хромать, не думать о давящей опухоли в паху. В подземелье солдаты сидят, привалившись к стене, и ложками хлебают из перевернутых касок овсяную кашу. Электрические лампы под потолком отбрасывают круги света, разделенные глубокой тьмой.

Фон Румпель садится на снарядный ящик и достает тубик с сыром. Полковник, отвечающий за оборону Сен-Мало, произнес не одну речь о мужестве, о том, что дивизия «Герман Геринг» вот-вот прорвет американский фронт у Авранша, что не сегодня завтра из Италии или, может быть, Бельгии придет подкрепление – танки, «Штуки», грузовики с пятидесятимиллиметровыми минометами, что берлинцы верят в них, как монахи в Бога, что никто не бросит свой пост, а если бросит, его расстреляют как дезертира. Однако фон Румпель думает о черной ползучей плети внутри себя, о хищном вьющемся стебле, который пустил побеги в его живот, руки и ноги. Здесь, в полуостровной крепости, отрезанной от быстро отступающей армии, невозможно не думать, что рано или поздно остроглазые британцы, канадцы и американцы из Восемьдесят третьей дивизии начнут прочесывать город, ища немцев-мародеров, а уж как они поступают с пленными, каждому немецкому солдату давно объяснили.

Рано или поздно черный ползучий стебель внутри его сожмет и задушит сердце.

– Что? – спрашивает сидящий рядом солдат.

– Я ничего не говорил, – буркает фон Румпель.

Солдат утыкается в свою овсянку.

Фон Румпель выдавливает в рот остатки прогорклого соленого сыра и бросает мятый тубик на пол. Дом по-прежнему стоит. Армия все еще удерживает город. Несколько часов пожар будет полыхать, а затем немцы, как муравьи, вернуться на позиции.

Он подождет. Он будет ждать, ждать, ждать, а когда дым рассеется, придет его время.

Atelier de Réparation

[27]

Инженер Бернд корчится от боли, возя лицом по золотистой обивке кресла. У него что-то не так с ногой и еще хуже с грудью.

Станция выглядит безнадежно. Шнур питания перебит, контакт с наружной антенной утрачен, панель настройки вдребезги. В слабеющем янтарном свете фонаря Вернер оглядывает один смятый разъем за другим.

Левое ухо после бомбежки не слышит совсем, правому вроде бы понемногу возвращается слух. За неумолкающим звоном Вернер начинает различать и другие звуки.

Потрескивание догорающего пожара.

Скрип здания наверху.

Какая-то капель с разных сторон.

И грохот, с которым Фолькхаймер остервенело крушит завал на лестнице. Стратегия, насколько Вернер может судить, такая: Фолькхаймер стоит, тяжело дыша, пригнувшись под нависшим потолком, в руке кусок гнутой арматуры. Включает фонарь, водит лучом по завалу, выискивает что-нибудь, что можно вытащить, запоминает. Выключает фонарь, чтобы побережь батарею, и некоторое время орудует в темноте. Когда свет загорается снова, плотная масса кирпича, металла и досок выглядит по-прежнему. Ее и двадцати человекам не разобрать.

«Бога ради!» – говорит Фолькхаймер. Громко или тихо, Вернер не знает, но в его правом ухе эти слова звучат как далекая молитва. Бога ради! Как будто все остальное на войне двадцатидесятилетний Франк Фолькхаймер вынести мог, но только не эту последнюю несправедливость.

Пожар наверху уже должен был вытянуть из их дыры весь кислород. Они должны были задохнуться. Вернуть долги, закрыть счет. А они по-прежнему дышат. Три надломленных потолочных бруса удерживают бог весть какую тяжесть: обгорелое здание, трупы восьми артиллеристов, неведомое количество неразорвавшихся боеприпасов. Может быть, Вернер, десятью тысячами мелких предательств, Бернд, бесчисленными преступлениями, и Фолькхаймер – тем, что был орудием, исполнителем приказов, разящим клинком рейха, – заслужили более страшное наказание и сейчас вершится некий последний приговор?

Корсарский подвал, где эксцентричный приватир хранил оружие, золото и пчеловодческий инвентарь. Затем – винный погреб. Позже – уголок ремесленника. «Atelier de Réparation», – думает Вернер. Репарации. Возмещение ущерба. Искупление вины. Вполне подходящее место, чтоб искупить вину. Не хуже любого другого. Безусловно, многие в мире скажут, что им троим есть что искупать.

Две банки

Мари-Лора просыпается: игрушечный домик прижат к груди, дядюшкино пальто взмокло от пота.

Уже рассвело? Она взбирается по лестнице, прикидывает ухом к люку. Воздушной тревоги уже не слышно. Может быть, пока она спала, дом сгорел до основания. Или она проспала последние часы войны и город уже освобожден. Наверняка на улицах люди. Добровольцы, пожарные, жандармы. Американцы. Надо всего лишь открыть люк и выйти через парадную дверь на улицу Воборель.

Но что, если в городе по-прежнему немцы? Что, если они прямо сейчас идут от дома к дому, расстреливая всех подряд?

Надо ждать. Может быть, Этьен уже бежит, запыхавшись, к ней на выручку.

Или съезжился где-нибудь, обхватив руками голову. Видит демонов.

Или погиб.

Мари-Лора убеждает себя побережь хлеб, но он и так уже немного зачерствел, а есть хочется ужасно, и вот уже она сама не успела заметить, как прикончила батон.

И зачем только она не взяла с собой книгу!

Мари-Лора обходит подвал, чувствуя сквозь чулки неровности пола. Вот свернутый в трубку ковер, из него пахнет опилками и мышами. Ящик со старыми документами. Керосиновая лампа. Закатывательная машинка мадам Манек. А вот, в дальнем конце полки под самым потолком, – два маленьких чуда. Полные жестяные банки! В кухне съестного почти не осталось – только крупа, пучок лаванды и две-три бутылки испорченного божоле, – а тут, в подвале, такое сокровище.

Горошек? Фасоль? Сладкая кукуруза? Только бы не растительное масло! Вроде бы банки с маслом меньше? Мари-Лора трясет их, но на слух ничего не определить. Интересно, могут ли там оказаться персики – белые лангедокские персики, которые мадам Манек покупала ящиками, чистила, резала на четвертинки и варила в сиропе. Вся кухня ими благоухала, у Мари-Лоры пальцы были липкие от сока. Упоительный праздник.

Две банки, которых не заметил Этьен.

Не надо слишком уноситься в мечтах – обидней будет разочарование. Горошек. Или фасоль. И то и другое – замечательно. Она убирает по банке в карманы дядюшкиного пальто, еще раз убеждается, что макет по-прежнему в кармашке платья, садится на сундук, сжимает в руках трость и старается не думать про мочевого пузыря.

Когда-то давно – ей было тогда лет восемь или десять – папа водил ее в Пантеон, где показывают маятник Фуко. На проволоке длиной шестьдесят семь метров, объяснял папа, качается медный шар с острым кончиком внизу, как у детской юлы, и то, что его траектория меняется со временем, безусловно доказывает вращение Земли. Однако тогда, стоя у ограждения, под свист летящего маятника, Мари-Лора из всех отцовских объяснений твердо усвоила одно: маятник Фуко будет качаться вечно. Даже после того, как она уйдет отсюда и заснет в своей кровати. После того, как забудет о нем, проживет целую жизнь и умрет.

Теперь ей кажется, будто перед нею свистит этот маятник: огромный золотой шар, диаметром с бочку, безостановочно качается взад-вперед. Вновь и вновь прочерчивая на полу свою нечеловеческую истину.

Дом № 4 по улице Воборель

Пепел, пепел: снег в августе. Утром бомбардировка возобновилась, но сейчас, в шесть вечера, уже не бомбят. Где-то строчат пулеметы, звук – словно между пальцами пропускают нитку бус. У фельдфебеля фон Румпеля с собой фляжка, несколько ампул морфия и пистолет. По набережной. По дамбе к дымящимся стенам Сен-Мало. Мимо разбитого пирса, рядом с которым дрейфует кормой вперед полузатопленное рыбацье суденышко.

Улица Динан в Старом городе: груды камня вперемешку со ставнями, ветками, мешками, чугунными решетками и колпаками дымовых труб. Расколотые ящики для цветов, обгорелые оконные рамы и битое стекло. Многие здания еще дымятся, и фон Румпель уже несколько раз останавливался и переводил дух – даже несмотря на то, что держит у лица мокрый носовой платок.

Раздувшийся труп лошади. Кресло, обитое полосатым зеленым бархатом. Обрывки тента с надписью «Кондитерская». Из разбитых окон плещут занавески, в странном мерцающем свете это неприятно действует на нервы. Ласточки носятся туда-сюда, ища гнезда,

которых нет; вдалеке кто-то кричит, хотя, может быть, это просто ветер. Многие вывески сорвало, их оборванные цепи сиротливо качаются в воздухе.

Сзади, поскуливая, трусит шнауцер. Никто не кричит из окон, не предупреждает, что тут заминировано. За четыре квартала фельдфебель встречает лишь одного человека – женщину перед тем, что еще вчера было кинотеатром. В руке у нее совок для мусора, щетки не видать. В открытой двери за ее спиной – ряды кресел, смятые обвалившимся потолком. Дальше экран, совершенно целый, даже не закопченный.

– Первый сеанс только в восемь, – говорит женщина, ошалело глядя на фон Румпеля.

Тот кивает и, хромая, проходит мимо. Улица Воборель засыпана битой черепицей. Над головой порхают обгорелые клочья бумаги. Чаек нет. Даже если дом сгорел, думает фон Румпель, алмаз по-прежнему там. Я выкопаю его из золы, как теплое яйцо.

Однако высокий дом стоит и даже не сильно пострадал. Одиннадцать окон на фасаде, почти все выбиты. Синие оконные рамы, буровато-серый гранит. Четыре из шести цветочных ящиков на месте. К двери прибит обязательный список жильцов:

М. Этьен Леблан, 63 года

М-ль Мари-Лора Леблан, 16 лет

Фон Румпель готов на любые опасности. Ради рейха. Ради себя.

Никто не препятствует ему войти. В воздухе не свистят пули. Иногда самое безопасное место – в центре циклона.

Что у них есть

Когда день и когда ночь? Единственный отсчет времени – по фонарю. Включился. Выключился.

В отраженном свете видно, как припорошенное пылью лицо Фолькхаймера склоняется над Берндом. «Пей», – произносят губы. Фолькхаймер прикладывает фляжку ко рту Бернда, и тени скачут по нависшему потолку, словно хоровод голодных привидений.

Бернд отворачивается. В глазах паника. Он пытается взглянуть, что у него с ногой.

Фонарь гаснет. Вновь падает тьма.

В вещмешке у Вернера тетрадь с детскими записями, одеяло и сухие носки. Три пайка. Весь их провиант. У Фолькхаймера еды нет. У Бернда тоже. У них только две фляжки с водой, обе наполовину пустые. Фолькхаймер нашел в углу ведро, где замочены малярные кисти, там на дне плещется немного жидкости, однако до чего надо дойти, чтобы к ней притронуться?

У Фолькхаймера в обоих карманах по ручной гранате модели М24. Длинная деревянная

рукоятка и наполненный взрывчатой смесью стальной цилиндр на конце. В Шулпфорте мальчики называли их колотушками. Бернд уже дважды уговаривал Фолькхаймера бросить гранату в завал – может, удастся расчистить выход. Однако взрывать гранату в тесном подвале, под обломками дома, среди которых наверняка остались нераззорвавшиеся 88-миллиметровые снаряды, – самоубийство.

У Фолькхаймера карабин «Маузер 98к» с полным магазином. Пять патронов. Больше чем достаточно, думает Вернер. Им хватит трех – по одному на каждого.

Иногда при выключенном фонаре Вернеру чудится другой свет, очень слабый. Возможно, он идет из-за обломков. Определенно в подвале становится чуть краснее по мере того, как наверху наступает закат. А непроглядная тьма – не такая уж непроглядная: Вернер проводит растопыренной ладонью перед лицом и почти уверен, что может различить пальцы.

Он думает о своем детстве, об угольной пыли, которая висит в воздухе, ложится на подоконники, забивается детям в уши и в легкие; только здесь, в этой дыре, пыль, наоборот, белая. Как будто он завален в глубокой шахте – в каком-то смысле это та же шахта, в которой погиб отец, и одновременно – ее противоположность.

Снова темнота. Снова свет. Перед Вернером материализуется припорошенное белым лицо Фолькхаймера. Погон на одном плече болтается. Лучом фонаря Фолькхаймер показывает Вернеру на две гнутых отвертки и коробку предохранителей.

– Радио, – говорит он Вернеру в здоровое ухо.

– Ты хоть сколько-нибудь спал?

Фолькхаймер направляет фонарь себе на лицо.

«Пока не села батарея», – говорят его губы.

Вернер мотает головой. Рацию не починить. Хочется закрыть глаза, забыть обо всем, сдаться и ждать, когда дуло карабина коснется виска. Однако Фолькхаймер намерен убедить его, что за жизнь стоит побороться.

Нить лампочки в фонаре горит желтоватым светом, уже слабее, чем раньше. Озаренный рот Фолькхаймера – красный на фоне черноты. «У нас мало времени», – говорят его губы. Здание наверху скрипит и стонет. Вернер видит зеленую траву, мотыльков, солнечный свет. Ворота летнего поместья распахиваются шире. Когда смерть придет за Берндом, что бы ей не прихватить заодно и Вернера? Чем ходить два раза туда-сюда.

«Твоя сестра, – говорит Фолькхаймер. – Думай про свою сестру».

Проволока и колокольчик

В уборную хочется нестерпимо. Мари-Лора влезает по лестнице и задерживает дыхание, но слышит лишь тридцать ударов своего сердца. Сорок. Она поднимает крышку люка.

Никто в нее не стреляет. Взрывов не слышно.

Мари-Лора перебирается через упавшие кухонные полки в комнатку мадам Манек. Полные

банки тяжело раскачиваются в карманах дядюшкиного пальто. В горле першит, в носу щиплет. Впрочем, здесь дым не такой густой.

Рядом с кроватью ночной горшок. Наконец-то! Затем Мари-Лора поправляет чулки и вновь застегивает дядюшкино пальто. Сейчас день? В тысячный раз она думает, как бы хотела сейчас поговорить с папой. Может быть, самое правильное – выйти в город, особенно если там еще светло, и к кому-нибудь обратиться?

Любой солдат ей поможет. Любой человек. Хотя, не успев додумать эту мысль, Мари-Лора уже сомневается.

Слабость в ногах от голода, это она знает точно. В разгромленной кухне не удастся найти открывашку, зато Мари-Лора находит разделочный нож в ящике стола и большой грубый кирпич, которым мадам подпирала каминную решетку.

Она съест то, что в банках. Потом еще подождет на случай, если вернется дядюшка или она услышит кого-нибудь на улице рядом с домом: городского глашатая, пожарного, рыцарственного американского солдата. Если ничего этого не случится к тому времени, как ей снова захочется есть, она выйдет на улицу и будь что будет.

Для начала Мари-Лора поднимается на третий этаж и пьет из ванны – тянет один большой глоток за другим, прикинув губами к воде. Этот фокус они с Этьеном усвоили за сотни скудных трапез: когда еды мало, надо выпить сколько влезет, тогда быстрее наешься.

– По крайней мере, папа, – говорит она вслух, – насчет воды я все сделала правильно.

Потом садится на площадке третьего этажа, спиной к телефонному столику. Зажимает банку между колен, приставляет нож к крышке и поднимает кирпич, чтобы ударить по ручке. И тут проволока позади нее дергается, звенит колокольчик. Кто-то вошел в дом.

5. Январь 1941 г.

Зимние каникулы

Комендант произносит речь о семейных ценностях и символическом огне, который учащиеся Шульпфорты должны нести повсюду, о чаше чистого пламени, от которого ярче разгорятся сердца нации, о фюрере и о всем прочем. Его трескотня привычным потоком льется в уши Вернера, а один из самых дерзких мальчишек позже замечает: «Ох и жжет же меня символический огонь в одном месте».

В спальне Фредерик перевешивается через край койки. Лицо в желтых и лиловых синяках, как будто раскрашенное.

– Не хочешь поехать со мной в Берлин? Папа в отъезде по работе, зато познакомишься с мамой.

Две прошлые недели Фредерик ходил медленно, прихрамывая, с опухшим лицом, но ни разу в его тоне Вернер не услышал ничего, кроме всегдашней рассеянной доброты. Ни разу Фредерик не обвинил его в предательстве, хотя Вернер молча смотрел, как Фредерика били, и ничего не сделал потом: не отлупил Рёделя, не навел винтовку на Бастиана, не заколотил в дверь к доктору Гауптману, возмущенно требуя справедливости. Как будто Фредерик уже понял, что каждый из них идет своим назначенным путем, с которого невозможно свернуть.

– У меня нет... – начинает Вернер.

– Мама купит тебе билет. – Фредерик откидывается на койку и смотрит в потолок. – Это пустяки.

Шесть часов сонной тряски в стареньком поезде, который то и дело отгоняют на запасные пути, чтобы пропустить мчащие на фронт эшелоны с солдатами. Наконец Вернер и Фредерик высаживаются на полутемном закопченном вокзале и по лестнице, где на каждой ступеньке краской написан один и тот же лозунг: «Берлин курит „Юно“!» – выходят на улицу. Вернер и представить себе не мог, что города бывают такими огромными.

Берлин! Само название звенит победным колоколом. Столица науки, город, где живет и работает фюрер, колыбель Эйнштейна, Штаундингера, Байера. Где-то на этих улицах придумали пластмассу, открыли рентгеновские лучи, создали теорию дрейфа материков. Какие чудеса растит тут наука сегодня? Солдат-сверхчеловеков, машины для изменения погоды, о которых говорил доктор Гауптман, ракеты, управляемые дистанционно за тысячи километров.

Небо роняет серебристые нитки мокрого снега. Серые дома сходящими линиями тянутся в горизонту, тесно прижавшись друг к дружке, словно для тепла. Вернер и Фредерик проходят мимо мясных лавок, в которых висят туши, мимо пьяного со сломанной мандолиной на коленях, мимо трех проституток, которые укрылись под навесом и при виде мальчиков в школьной форме выкрикивают им что-то ехидное.

Они минуют красивую улицу под названием Кнесебекштрассе. В квартале от нее Фредерик останавливается перед пятиэтажным домом и звонит в квартиру номер два. Внутри эхом прокатывается звонок, дверь открывается. Мальчики входят в полутемный вестибюль. Перед ними двустворчатая дверь. Фредерик нажимает кнопку, высоко внутри дома что-то лязгает, и Вернер шепчет:

– У вас есть лифт?

Фредерик улыбается.

Лифт с грохотом ползет вниз и останавливается. Фредерик толкает деревянные двери, мальчики входят. Вернер зачарованно наблюдает, как мимо проплывает этаж. Когда кабина останавливается, он спрашивает:

– А можно поехать еще раз?

Фредерик смеется. Они едут вниз. Вверх. Вниз, вверх и снова вниз. Вернер стоит снаружи, изучает тросы и противовесы, пытаясь разобраться, как работает механизм, и тут в подъезд входит маленькая старушка с бумажным пакетом в одной руке и зонтиком в другой. Стряхивая зонт, она быстро оглядывает мальчиков, отмечает их школьную форму, удивительную белизну Вернеровых волос, синяки под глазами у Фредерика. На груди у нее аккуратно пришита желтая звезда. Идеально ровно: один луч вниз, другой вверх. Капли сыплются с кончика зонта, как зерна.

– Добрый день, фрау Шварценбергер. – Фредерик отступает к стене кабины и жестом приглашает ее войти.

Она втискивается в лифт, Вернер входит следом. Из бумажного пакета торчит пучок увядшей зелени. Воротник пальто еле держится – некоторые нитки уже порвались. Если бы старуха обернулась, их с Вернером глаза оказались бы на расстоянии в ладонь.

Фредерик нажимает кнопку «2», потом «5». Старуха дрожащим указательным пальцем трет бровь. Лифт с лязгом проезжает этаж. Фредерик открывает двери, и мальчики выходят. Серые старухины туфли проплывают у Вернера перед носом. Дверь квартиры номер два уже отворена. Выбегает женщина в фартуке; у нее пухлое лицо и дряблые руки. Она хватает Фредерика в объятия. Целует его в обе щеки, потом аккуратно трогает синяки.

– Пустяки, Фанни. Возились с ребятами.

Квартира лоснится и сверкает, всюду глубокие ковры, поглощающие звук. В огромные окна глядят стволы четырех облетевших лип. На улице по-прежнему идет снег с дождем.

– Мама еще не пришла, – говорит Фанни, обеими руками разглаживая фартук. Она по-прежнему неотрывно глядит на Фредерика. – А точно у тебя все в порядке?

– Конечно, – отвечает Фредерик, и они вместе с Вернером входят в теплую, пахнущую чистотой спальню. Фредерик выдвигает ящик стола, а когда оборачивается, на нем очки в черной оправе. Он робко смотрит на Вернера. – Брось, неужели ты раньше не знал?

В очках у него выражение более спокойное, более естественное. Вернер понимает, что это и есть настоящий Фредерик – тонкокожий мальчик с желтыми волосами и едва заметным пушком над верхней губой. Любитель птиц. Близорукий сын богатых родителей.

– Я почти никогда не попадал по мишени. Ты и правда не догадывался?

– Может быть, – отвечает Вернер. – Может быть, догадывался. Как ты прошел медосмотр?

– Выучил таблицу.

– Их же вроде несколько?

– Я выучил все четыре. Папа раздобыл их заранее, а мама помогла мне выучить.

– А как же бинокль?

– Он с диоптриями. По отдельному заказу. Стоил кучу денег.

Они сидят в кухне за деревянным столом с мраморной столешницей. Горничная по имени Фанни приносит буханку черного хлеба и круг сыра. Кладя их на стол, она улыбается Фредерику. Говорят о Рождестве, о том, как Фредерик жалеет, что пропустил праздник. Горничная уходит за вращающуюся дверь и приносит две тончайшие белые тарелки, которые мелодично звенят, когда она ставит их на мрамор.

У Вернера голова идет кругом. Лифт! Еврейка! Горничная! После еды они возвращаются в комнату Фредерика к оловянным солдатикам, моделям самолетов и целым ящикам комиксов. Лежат на животе, листают комиксы, наслаждаясь тем, что они не в школе, и по временам переглядываются, словно гадая: выдержит ли их дружба перемену места.

Фанни кричит: «Я ухожу!» Как только дверь за ней закрывается, Фредерик под руку ведет Вернера в гостиную, взбирается на стремянку, приставленную к высокому книжному шкафу, отодвигает большую корзину и вытаскивает из-за нее два огромных тома в золоченых коробках – каждый размером с матрас для детской кровати.

– Вот. – Глаза у него теплеют, голос теплеет. – Вот что я хотел тебе показать.

Внутри – цветные изображения птиц. Два белых кречета с раскрытыми клювами, один пикирует на другого. Малиново-красный фламинго склоняет желтый с черным кончиком клюв над неподвижной водой. Гусь в великолепном оперении стоит на мысу и смотрит в хмурое небо. Фредерик обеими руками переворачивает страницы. Пипровый мухолов. Длиннохвостый крохаль. Кокардовый дятел. Многие птицы в книге нарисованы крупнее, чем в натуральную величину.

– Одюбон был американцем, – говорит Фредерик. – Годами бродил по лесам и болотам, когда там еще и не было ничего, кроме лесов и болот. Целый день наблюдал за одной птицей, потом убивал ее, устанавливал с помощью палочек и проволоки и зарисовывал. Наверное, он знал больше, чем любой орнитолог до или после него. Он съедал почти всех птиц, которых зарисовал. Можешь себе представить? – Голос у Фредерика дрожит от волнения. – Яркие туманы, ружье на плече, зоркий и твердый взгляд.

Фредерик смотрит вверх, и Вернер пытается представить, что видит его друг. Эпоха до фотоаппаратов, до биноклей. И находится человек, готовый уйти в дикую глушь, полную неизведанного, и принести оттуда рисунки. Эта книга запечатлела не столько птиц, сколько мимолетность, синеперые трубогласные тайны непроходимых лесов и болот.

Вернер думает о французской радиопередаче, о «Принципах механики» Герца. Да, ему и самому знаком этот трепет. Он говорит:

– Моей сестре бы понравилось.

– Папа говорит, нам нельзя держать эту книгу дома. Что ее нужно прятать за корзиной, потому что она американская и напечатана в Шотландии. А ведь в ней всего лишь птицы!

Входная дверь открывается, в прихожей слышны шаги. Фредерик убирает книги в коробки, кричит: «Мама?» – и женщина в зеленом лыжном костюме с белыми лампасами вбегает с криком: «Фредде! Фредде!» Она обнимает сына, потом отстраняется и проводит пальцем по самой зажившей ссадине. Фредерик смотрит через ее плечо, на лице что-то вроде паники. Чего он боится? Что мать увидит его с запрещенной книгой? Или рассердится из-за синяков? Она ничего не говорит, только смотрит на сына, погруженная в неведомые Вернеру мысли. Потом вдруг спохватывается:

– А ты, должно быть, Вернер? – Улыбка возвращается на ее лицо. – Фредде столько про тебя писал! Ах, какие волосы! Мы очень любим гостей.

Она взбирается на стремянку и по одному убирает тяжелые тома Одюбона на прежнее место, словно избавляется от чего-то неприятного. Все трое садятся за большой дубовой стол. Вернер благодарит ее за билет, а она рассказывает, что «вот прямо сейчас столкнулась на улице» с каким-то человеком, видимо знаменитым теннисистом, и при этом поминутно стискивает сыну локоть. «Вы бы тоже не могли прийти в себя!» – повторяет она несколько раз, а Вернер изучает лицо друга, пытаясь определить, вправду ли встреча произвела бы на него такое впечатление. Фанни приносит вино и еще раужкезе[28], и на час Вернер забывает про Шульпфурту, про Бастиана с черным резиновым шлангом, про еврейку наверху. Чего только у этих людей нет! Скрипка на подставке в углу, мебель из хромированной стали, бронзовый телескоп, шахматные фигурки из настоящего серебра за стеклом в серванте и этот удивительный сыр со вкусом дыма, вмешанного в масло.

Вино дремотно растекается в желудке, за окном мерно стучит дождь. Мама Фредерика объявляет, что они сейчас «выйдут в свет». «Ну что, мальчики, надо прихорошиться?» Она пудрит Фредерику синяки, и все трое идут в бистро. Вернер и думать не мог, что когда-нибудь окажется в таком заведении. Парнишка в белом фраке, немногим старше их с Фредериком, приносит еще вина.

Другие посетители один за другим подходят к их столику, пожимают мальчикам руку, льстивыми голосами спрашивают маму Фредерика о последних успехах ее супруга. В углу девушка танцует сама с собой, закрыв глаза и запрокинув счастливое лицо к потолку. Еда замечательно вкусная, мама Фредерика все время смеется и говорит каждому подходящему, что «у Фредде замечательная школа, самая лучшая», а Фредерик рассеянно тербит напудренное лицо. Каждую минуту кто-нибудь новый целует ее в обе щеки и что-то шепчет ей в ухо. Когда она говорит какой-то женщине: «К концу года Шварценбергерши тут уже не будет, и мы зайдем верхний этаж, du wirst schon sehen»[29], Вернер быстро смотрит на друга. Очки у того захватаны пальцами и тускло поблескивают при свечах, пудра под глазами выглядит непристойно и как будто не прячет, а только подчеркивает синяки. Вернеру становится не по себе. Он слышит свист шланга, звонкие удары резины по вскинутым ладоням Фредерика. Голоса мальчишек из цольферайнской дружины поют: «Живи верно, сражайся храбро, умри смеясь». В бистро чересчур тесно, все чересчур быстро двигают губами, женщина, говорящая с матерью Фредерика, чересчур сильно надушена, и в неверном свете шарф у танцовщицы на шее внезапно кажется удавкой.

– Тебе нехорошо? – спрашивает Фредерик.

– Все чудесно, – отвечает Вернер, но внутри его что-то сжимается все туже и туже.

По пути домой Фредерик с матерью идут впереди. Она держит его под руку и что-то тихо говорит. Фредде то, Фредде се. Улица пуста, окна темны, электрические вывески не горят. Бесчисленные магазины, миллионы спящих в своих постелях – где они все? Неподалеку от дома женщина в платье, согнувшись, блюет на тротуар.

У себя в спальне Фредерик надевает леденцово-зеленую шелковую пижаму, кладет очки на ночной столик и забирается на бронзовую детскую кровать. Мать Фредерика трижды извинилась за то, что Вернеру придется лечь на раскладушку, хотя непонятно, из-за чего она переживает: на таком мягком матрасе ему еще спать не доводилось.

Здание затихает. На полках поблескивают игрушечные машинки Фредерика.

– А ты не мечтаешь, чтобы можно было не возвращаться в Шульпфурту? – шепчет Вернер.

– Папе нужно, чтобы я учился там. Маме тоже. Что хочу я – совершенно не важно.

– Как это – не важно? Я хочу стать инженером, ты – изучать птиц. Бродить по болотам, как тот американский художник. Зачем вообще все, если не для того, чтобы стать кем хочется?

Тишина. На деревьях за окном Фредерика висит нездешний фонарь.

– Твоя беда, Вернер, – говорит Фредерик, – что ты до сих пор веришь, будто сам распоряжаешься своей жизнью.

Вернер просыпается поздно. Голова болит, глаза тяжелые. Фредерик, уже одетый – в брюках и отглаженной рубашке с галстуком, – стоит на коленях перед окном, прижавшись носом к стеклу.

– Горная трясогузка, – указывает он.

Вернер смотрит на голые липы.

– С виду невзрачная, да? – шепчет Фредерик. – Каких-нибудь пятьдесят граммов костей и перьев. Но она способна долететь до Африки и обратно. На жучках, червячках и силе желания.

Трясогузка скачет с ветки на ветку. Вернер трет тяжелые глаза. Это всего лишь

птичка.

– Десять тысяч лет назад, – шепчет Фредерик, – они прилетали сюда миллионами. Когда здесь был сад, один сплошной сад без конца и краю.

Он не вернется

Мари-Лора просыпается – как ей кажется, от папиных шагов на лестнице, от звона его ключей. Четвертый этаж, пятый этаж, шестой. Он берется за дверную ручку. От его тела в кресле исходит слабое, но вполне ощутимое тепло. Его инструменты тихонько шуршат по дереву. От него пахнет столярным клеем, шкуркой и синими «Голуаз».

Но это всего лишь поскрипывает дом. Море бросает пену на скалы. Обман чувств.

На двенадцатый день без всяких известий Мари-Лора не встает утром с кровати. Ей уже все равно, что дедушка надел старинный галстук и дважды подходил к парадной двери, бормоча себе под нос глупые стишки: «От картошки наземь плюх, от фасоли в речку бух», пытаюсь набраться мужества и выйти наружу. Она уже не уговаривает мадам Манек отвести ее на вокзал, написать еще письмо, потратить еще вечер в префектуре, убеждая оккупационные власти начать розыск. Ее невозможно вызвать на разговор. Она не моется, не сидит у огня на кухне, не просит разрешения выйти на улицу. Почти не ест.

– В музее сказали, что ищут, – шепчет мадам Манек, но, когда она пытается поцеловать Мари-Лору в лоб, та отшатывается как ошпаренная.

В музее на запрос Этьена отвечают, что отец Мари-Лоры не приезжал.

– Как – не приезжал? – переспрашивает Этьен.

Вот эти вопросы и грызут Мари-Лору. Как вышло, что папа не доехал до Парижа? И почему в таком случае не вернулся в Сен-Мало?

Я никогда-никогда тебя не оставлю, даже и через миллион лет.

Ей хочется одного – очутиться дома, в их четырехкомнатной квартире, слышать, как шумит за окном каштан, а продавец сыров поднимает навес над лавкой, и чувствовать у себя на плечах отцовские руки.

Если бы только она уговорила его остаться!

Теперь все в доме ее пугает: скрипучая лестница, дребезжащие ставни, пустые комнаты. Громоздкие ненужные вещи и тишина. Этьен пытается развлечь ее глупыми экспериментами: вулкан из уксуса, торнадо в бутылке. «Слышишь, Мари? Слышишь, как оно там крутится?» Она даже не притворяется, будто ей интересно. Мадам Манек готовит ей омлеты, крокеты, рыбные брошеты, творит чудеса из того, что выдают по талонам, и из своих последних запасов, но Мари-Лора отказывается есть.

– Как улитка, – слышит она слова Этьена у себя под дверью. – Забилась в раковину.

Она сердита. На Этьена за то, что делает слишком мало, на мадам за то, что делает слишком много, на отца за то, что его нет рядом. И на свои глаза, которые ничего не

видят. На всех и вся. Кто знал, что любовь убивает? Часами она стоит на коленях в своей комнате, у открытого окна, в которое с моря дует ледяной ветер, и водит немеющими пальцами по макету Сен-Мало. На юг – к Динанским воротам. На запад – к Пляж-дю-Моль. Назад – к улице Воборель. Дом с каждой секундой все холоднее, и у Мари-Лоры такое чувство, будто отец с каждой секундой все больше удаляется от нее.

Заклученный

Как-то в феврале кадетов поднимают среди ночи и гонят на заснеженный плац. Там горят факелы. Вразвалку подходит Бастиан, из-под шинели видны голые ноги.

Из темноты появляется Франк Фолькхаймер. Он тащит какого-то оборванца, страшно худого, в разных ботинках. Рядом с комендантом в снег вбит деревянный столб. Фолькхаймер начинает методично привязывать худого человека к столбу.

Черное небо над головой усыпано звездами; морозное дыхание кадетов медленно плывет над плацем.

Фолькхаймер отходит. Комендант, расхаживая взад-вперед, начинает вещать:

– Вы не поверите, кто это. Гнусное животное, кентавр, унтерменш.

Все тянут шеи, чтобы лучше видеть. У заключенного ноги скованы, руки связаны от запястий до локтей. Тонкая рубашка лопнула по швам, взгляд безвольный – может быть, от переохлаждения. По виду поляк. Или русский. Даже привязанный к столбу, он все равно шатается из стороны в сторону.

– Этот человек бежал из трудового лагеря. Влез в крестьянский дом и украл литр свежего молока. Его поймали, прежде чем он успел совершить что-нибудь еще более непотребное. – Бастиан неопределенно указывает за стену. – Если бы мы отпустили этого дикаря, он бы в ту же секунду перегрыз вам горло.

С визита в Берлин у Вернера в груди копится страх. Он рос постоянно, незаметно, но постепенно Вернер обнаружил, что в письмах к Ютте вынужден обходить правду, ограничиваться общими словами: «у меня все хорошо», хотя на самом деле все плохо. Ему снятся кошмары, в которых мать Фредерика оборачивается хохочущим узкогубым демоном и надевает ему на голову треугольники доктора Гауптмана.

Тысячи заледенелых звезд сияют над плацем. Холод пронизывает насквозь, отнимает способность мыслить.

– Видите, каков он? – Бастиан взмахивает пухлой рукой. – До чего дошел? Немецкий солдат никогда так не опустится. Это называется «издыхающий пес».

Мальчишки стараются не дрожать. Заключенный смотрит на них, моргая, словно откуда-то с большой высоты. Возвращается Фолькхаймер, гремя ведрами; два других старшеклассника разматывают шланг. Бастиан объясняет: сперва преподаватели. Потом старшеклассники. Каждый выльет на заключенного ведро воды. Все, кто есть в школе.

Преподаватели один за другим берут у Фолькхаймера ведра и с расстояния в несколько шагов выплескивают воду на заключенного. В мерзлой ночи звучат крики «ура!».

После двух или трех ведер заключенный выходит из летаргии и начинает раскачиваться. Между бровями появляются вертикальные складки: он как будто силится вспомнить что-то важное.

Последним из преподавателей подходит Гауптман, рукой в перчатке придерживая воротник. Он берет ведро, выплескивает на заключенного воду и проходит дальше, не глядя на результат.

Старшеклассники по-прежнему наполняют ведра. Заключенный обвис на веревках. Фолькхаймер, еще огромное обычного, то и дело выступает из темноты, заставляя того встать прямее.

Старшеклассники ушли в замок. Наполняемые ведра глухо клацают друг о друга. Шестнадцатилетки закончили. Пятнадцатилетки закончили. Крики «ура!» звучат без прежнего задора. Больше всего на свете Вернеру хочется убежать. Убежать куда глаза глядят.

Три мальчика до него. Два. Вернер пытается вызвать образы дома, но на сей раз они страшны: копер над Девятой шахтой, шахтеры, ссутуленные так, будто тащат за собой тяжелые цепи. Мальчишка на вступительных экзаменах, дрожащий под потолком, прежде чем упасть. Каждый прикован к своей роли: сироты, кадеты, Фредерик, Фолькхаймер, старая еврейка с верхнего этажа. Даже Ютта.

Когда приходит его черед, Вернер, как все, выплескивает воду заключенному на грудь, слышит жидкие «ура!» и пристраивается в хвост ребятам, ждущим, когда можно будет идти в замок. Мокрые ботинки, мокрые манжеты. Руки так онемели, что кажутся чужими.

Через пять мальчиков от него стоит Фредерик. Фредерик, который плохо видит без очков. Который не кричал «ура!» вместе со всеми. Который вглядывался в заключенного, словно различил что-то знакомое.

И Вернер понимает, как тот сейчас поступит.

Стоящий сзади выталкивает Фредерика вперед. Старшеклассник подает ему ведро, и Фредерик выливает воду на землю.

Подходит Бастиан. Его лицо покраснелось от мороза.

– Дайте ему еще ведро.

И вновь Фредерик выплескивает воду себе под ноги. Говорит тихо, тоненько:

– Он уже и так полумертвый, господин комендант.

Старшеклассник протягивает третье ведро.

– Вылей на него! – приказывает комендант.

Ночь клубится морозным паром, звезды горят, заключенный раскачивается, мальчики наблюдают, комендант склонил голову набок. Фредерик выливает воду на землю:

– Не буду.

Пляж-дю-Моль

Уже двадцать девять дней, как отец Мари-Лоры пропал без вести. Она просыпается оттого, что тяжелые туфли мадам Манек взбираются на третий этаж, на четвертый, на пятый.

Голос Этьена на лестничной площадке перед его комнатой:

– Не надо.

– Он не узнает.

– Теперь за нее отвечаю я.

В голосе мадам пререзается неожиданная сталь:

– Я не стану терпеть и секундой дольше!

Мадам преодолевает последний лестничный пролет. Скрипит дверная ручка. Старуха проходит через комнату и кладет тяжелую руку Мари-Лоре на лоб:

– Не спишь?

Мари-Лора откатывается к стене и отвечает из-под одеяла:

– Не сплю, мадам.

– Я поведу тебя на прогулку. Возьми свою трость.

Мари-Лора одевается. Мадам уже ждет ее внизу, с горбушкой белого хлеба. Повязывает Мари-Лоре на голову платок, застегивает пальто на все пуговицы и открывает парадную дверь. Конец февраля, раннее безветренное утро, воздух пахнет дождем.

Мари-Лора прислушивается, не смея сделать шаг. Сердце громко стучит: два, четыре, шесть, восемь.

– На улицах еще почти никого нет, золотко, – шепчет мадам Манек. – И мы ничего дурного не делаем.

Скрипят ворота.

– Ступенька, дальше прямо.

Под ногами неровная мостовая. Кончик трости застревает между камнями, дрожит, снова застревает. Слабый дождик стучит по крышам, журчит по водосточным желобам, покрывает платок мелкими бусинами капель. Звуки эхом отдаются от высоких домов; у Мари-Лоры, как в первые часы здесь, такое чувство, будто она в лабиринте.

Высоко над ними кто-то вытряхивает в окно тряпку. Мяукает кошка. Какие ужасы тут притаились? От чего папа так старался ее уберечь? Они поворачивают один раз, второй, затем мадам Манек неожиданно для Мари-Лоры ведет ее налево, к заросшей мохом городской стене, в арку.

– Мадам?

Они выходят из города.

– Осторожно, ступеньки вниз. Раз. Два. Ну, вот и все, прощай простого!

Океан. Океан! Прямо перед нею! На этот раз так близко! Он шипит, грохочет, плещет и растекается. Гулкие лабиринты Сен-Мало вывели на открытое место – Мари-Лоре еще не доводилось бывать на таком просторе. Он больше ботанического сада, больше Сены, больше самых больших музейных галерей. Она и вообразить не могла, что он будет таким, не понимала его масштаба.

Она поднимает лицо к небу и чувствует уколы тысячи крохотных капелек на щеках, на лбу. Слышит хриплое дыхание мадам Манек, низкий рокот моря среди камней, чьи-то крики на берегу, отражающиеся от высоких стен. В голове у нее звучит скрежет отцовского напильника по металлу, шаги доктора Жеффара по кабинету. Почему они не рассказали ей, что море будет таким?

– Это мсье Радом зовет свою собаку, – говорит мадам Манек. – Бояться нечего. Вот, возьми меня за руку. Сядь и сними туфли. Закатай рукава.

Мари-Лора послушно исполняет сказанное.

– Они за нами наблюдают?

– Боши? Если и наблюдают, что с того? Они увидят старуху и девочку. Я скажу, что мы собираем моллюсков. Что нам сделают?

– Дядя говорит, они закапывают на берегу мины.

– Нашла кого слушать. Он и муравья боится.

– Он говорит, Луна притягивает к себе океан.

– Луна?

– И Солнце иногда тоже. Он говорит, у островов из-за приливов возникают воронки, которые могут затянуть рыбацье суденышко.

– Мы же не будем к ним приближаться, золотко. Мы тут, на берегу.

Мари-Лора снимает платок и отдает его мадам Манек. Соленый, водорослевый, серо-блестящий воздух забирается за воротник.

– Мадам?

– Да?

– Что мне делать?

– Просто иди.

Она идет. Вот под ногами холодная окатанная галька. Вот – хрусткие водоросли. Вот что-то более мягкое – гладкий мокрый песок. Она наклоняется и растопыривает пальцы. На ощупь он как холодный шелк. Роскошный холодный шелк, на который море выложило дары: окатанные камешки, раковины, щепки. Пальцы зарываются в песок, щупают; капельки дождя колют шею сзади, тыльную сторону ладоней. Песок выпивает тепло из кончиков пальцев, из босых ступней.

Узел, который Мари-Лора весь месяц чувствовала в себе, понемногу слабеет. Она идет, нагнувшись, вдоль приливной полосы медленно-медленно и воображает, как берег тянется в обе стороны, очерчивая мыс, обнимая внешние острова – всю ажурную филигрань бретонского побережья с его заросшими мысами, полуразрушенными батареями и развалинами среди дикого винограда. Воображает город у себя за спиной, его

высокие укрепления, спутанные улочки. И внезапно он становится маленьким, как папин макет. Только папа не сумел передать то, что окружает макет. И оно – то, что вокруг макета, – поразительно.

Над головой проносятся чайки. Каждая из сотен тысяч песчинок в кулаке Мари-Лоры трется о соседнюю. Ей кажется, что отец поднял ее в воздух и три раза прокрутил.

Никакие немецкие солдаты их не арестовывают. Никто даже с ними не заговаривает. За три часа онемевшие пальцы Мари-Лоры нашли медузу, обросший ракушками буй и тысячу отшлифованных морем камешков. Она зашла в воду по колено и вымочила подол платья. Когда мадам Манек наконец приводит ее, мокрую и ошарашенную, на улицу Воборель, Мари-Лора взбегает на пятый этаж, стучит к Этьену и входит. Все лицо у нее в мокром песке.

– Вас долго не было, – тихо произносит он. – Я волновался.

– Вот, дядя. – Из кармана она вынимает ракушки и тринадцать шершавых от песка кварцевых окатышей. – Я принесла тебе это. И это, и это, и это.

Гранильщик

За три месяца фельдфебель фон Румпель съездил в Берлин и в Штутгарт; оценил сотню конфискованных колец, десятки браслетов с бриллиантами, латвийский портсигар с голубыми топазами. Последние недели он живет в парижском Гранд-отеле и рассылает запросы, как почтовых голубей. Каждый вечер перед ним заново оживает мгновение, когда он двумя пальцами держал увеличенный лупой грушевидный алмаз и верил, что перед ним стотридцатикаратное Море огня.

Он смотрел в льдисто-синее нутро камня, где миниатюрные горные хребты горели алым, коралловым и малиновым огнем, а многоугольники цвета вспыхивали и гасли при вращении, и почти убедил себя, что легенды не лгут, что столетия назад царевич носил корону, ослеплявшую гостей, что владелец камня бессмертен, что прославленный алмаз извилистыми путями истории скатился точно ему в ладонь.

То была несравненная радость торжества, но к ней примешивался страх: камень казался зачарованным, не предназначенным для человеческих глаз. Такое, раз увидев, не забудешь.

Но. Рассудок все-таки взял верх. Грани сходились под недостаточно четким углом, рундист блестел не алмазным, а чуть жирным блеском. А главное, в камне не было тончайших трещинок, вrostков, ни одного включения. «Не бывает настоящих алмазов без дефектов, – говорил когда-то отец. – Настоящий алмаз всегда небезупречен».

Неужто он впрямь рассчитывал заполучить камень с первого раза? Одержать такую победу за один день?

Конечно нет.

Кое-кто подумал бы, что фон Румпель впадет в отчаяние, но это не так. Напротив, он чувствует себя обнадеженным. Музейщики не заказали бы такую качественную подделку, не будь в их распоряжении настоящего камня. В Париже в промежутках между другими делами фон Румпель сократил список гранильщиков с семи до трех, потом – до одного.

Это некий Дюпон, полуалжирец, который начинал со шлифовки опалов. Перед войной он зарабатывал тем, что гранил из шпинели фальшивые бриллианты для престарелых дам и баронесс. И для музеев.

Как-то февральским утром фон Румпель заглядывает в опрятную мастерскую Дюпона неподалеку от Сакре-Кёр. Разглядывает экземпляр «Драгоценных камней и минералов» Стритера, зарисовки плоскостей спайности и тригонометрические диаграммы, используемые при огранке. Найдя несколько пробных форм, сделанных в попытке точно передать грушевидную форму музейного камня, он понимает, что вышел на верный след.

По указанию фон Румпеля Дюпону выдают фальшивые продовольственные талоны. Теперь фон Румпель ждет. У него уже готовы вопросы. Делали ли вы другие копии? Сколько? Знаете ли вы, у кого они сейчас?

В последний день февраля сорок первого года щеголеватый гестаповец является с известием, что Дюпон попытался отоварить поддельные талоны. Его задержали. Kinderleicht – детская игра.

Мокрый, по-своему красивый зимний вечер, по краям площади Согласия – полосы тающего снега, на окнах блестят капли дождя, и весь город кажется каким-то призрачным. Короткостриженный унтер-офицер проверяет у фон Румпеля документы и отправляет его не в камеру, а в просторный кабинет на третьем этаже, где за столом сидит машинистка. На стене у нее за спиной намалевана глициния – от модернистской мешанины выцветшей и облупившейся краски у фон Румпеля неприятно рябит в глазах.

Дюпон пристегнут наручниками к дешевому стулу из кафетерия. Лицо у него цвета и фактуры полированного тропического дерева. Фон Румпель ожидал, что гранильщик будет напуган, возмущен и голоден, однако тот сидит прямо и спокойно. Если бы не треснувшее стекло в очках, и не скажешь с первого взгляда, что арестант.

Машинистка тушит сигарету, измазанную ярко-красной губной помадой. Пепельница до краев наполнена смятыми окурками – они похожи на горку окровавленных трупов.

– Можете идти, – кивает машинистке фон Румпель и переводит взгляд на Дюпона.

– Он не говорит по-немецки, герр фельдфебель.

– Мы объяснимся, – отвечает он по-французски. – Закройте дверь, пожалуйста.

Дюпон поднимает глаза, явно храбрясь; какая-то железа впрыскивает ему в кровь отвагу. Фон Румпелю не надо изображать улыбку: уголки губ сами ползут вверх. Он надеется получить имена, но на самом деле довольно узнать и число копий.

* * *

Милая моя Мари-Лора!

Мы сейчас в Германии, и все хорошо. Я нашел ангела, который попытается переслать тебе эту весточку. Зимние ели и осины тут на удивление красивы. И ты не поверишь – но я очень прошу поверить! – нас замечательно кормят. Меню – высший класс. Перепелки, утка, тушеный кролик. Куриные ножки, картофель, жаренный на шкварках, и пироги с абрикосами. Вареная телятина с морковью. Кок-о-вен с рисом. Пироги со сливой. Фрукты и мороженое. И добавки сколько захочешь. Я всегда с такой радостью жду обеда!

Будь вежлива с дядюшкой и мадам. Поблагодари их за то, что прочли тебе это письмо. И помни, что я всегда с тобой, всегда рядом.

Папа

Энтропия

Всю следующую неделю заключенный остается у столба, серый и замороженный насквозь. Кто-то надел на него каску и патронташ. Мальчишки останавливаются и спрашивают у трупа дорогу. Две вороны повадились садиться ему на плечи и долбить клювом голову. Наконец дворник с двумя старшеклассниками ломом вырубает ноги трупа изо льда, погружают его на тачку и увозят.

Трижды за девять дней Фредерика выбирали слабейшим. Бастиан отходит дальше обычного и считает быстрее, так что Фредерику приходится бежать метров триста – триста пятьдесят, часто по глубокому снегу, а мальчишки гонятся за ним так, будто от этого зависит их жизнь. Каждый раз его настигают, каждый раз бьют под надзором Бастиана, а Вернер молчит и смотрит.

В первый раз Фредерик выстоял семь ударов, прежде чем упасть. Во второй – шесть. В третий – три. Он не просит пощады и не уходит из школы, и Бастиана это доводит до белого каления. Отрешенность Фредерика, его инаковость – как запах, который чувствуют все остальные.

Вернер ищет забвения в работе. Он собрал опытный образец приемопередатчика и теперь проверяет лампы, предохранители, наушники, микрофон, контакты. И все равно вечерами в лаборатории ему кажется, будто небо померкло, а школа стала еще более темной и зловещей. У него болит живот, часто расстраивается желудок. Он просыпается среди ночи и мысленно видит берлинскую комнату, где Фредерик, в очках и рубашке с галстуком, освобождает нарисованных птиц из толстого бумажного фолианта.

Ты сообразительный мальчик. У тебя получится.

Как-то вечером, когда Гауптман сидит у себя в кабинете дальше по коридору, Вернер украдкой смотрит на величаво дремлющего Фолькхаймера и говорит:

– Тот заключенный.

Фолькхаймер моргает: каменная глыба ожила.

– Так бывает каждый год. – Он снимает кепи и проводит ладонью по жесткому ежику волос. – Говорят, это поляк, коммунист, казак. Украл выпивку, или керосин, или деньги. Каждый год одно и то же.

Ученики по всей школе заняты десятками разных дел. Четыреста детей ползут по краю бритвы.

– И фраза всегда одна и та же, – добавляет Фолькхаймер. – «Издыхающий пес».

– Но это же не по-человечески, оставлять его так? Пусть даже мертвого.

– А их не волнует, что по-человечески.

За дверью стук шагов – идет Гауптман. Фолькхаймер откидывается в кресле, его глазницы вновь заполняются тенью, и Вернер уже не может спросить, кто эти «они».

Мальчишки подкладывают Фредерику в ботинки дохлых мышей. Зовут его давалкой, вафлером, тысячей обидных мальчишеских прозвищ. Дважды старшеклассники уносят его бинокль и мажут линзы калом.

Вернер убеждает себя, что делает все возможное. Каждый вечер он драит ботинки Фредерика до зеркального блеска – у Бастиана, воспитателя или старшеклассников не будет хоть этого повода к нему прицепиться. По воскресеньям они сидят рядом в залитой солнцем столовой и Вернер помогает Фредерику с уроками. Тот шепчет, что надеется весной найти в траве за школьной стеной гнездо жаворонка. Как-то поднял карандаш, уставился в пространство и произнес: «Малый пестрый дятел». Прислушавшись, Вернер различил далекую, отдающуюся через стену дробь.

На занятиях Гауптман начинает объяснять законы термодинамики:

– Кто может сказать, что такое энтропия?

Мальчишки пригибаются к партам. Никто не поднимает руку. Гауптман идет вдоль рядов. Вернер пытается не шевельнуть ни единым мускулом.

– Пфенниг.

– Энтропия – это мера случайности или беспорядка в системе, доктор.

Мгновение Гауптман пристально смотрит на Вернера, взгляд разом согревает и леденит.

– Беспорядок. Вы слышали это слово от коменданта. От воспитателя. Необходим порядок. Жизнь, господа, – это хаос. И мы его упорядочиваем. Вплоть до генов. Мы упорядочиваем эволюцию видов. Отсеиваем все низкое и неправильное, всю мякуну. Таков великий проект рейха, величайший проект за всю историю человечества.

Гауптман пишет на доске. Кадеты переписывают себе в тетради. «В замкнутой системе энтропия не уменьшается. Всякий процесс необратимо затухает».

За покупками

Несмотря на протесты Этьена, мадам Манек каждое утро водит Мари-Лору на пляж. Девочка сама завязывает шнурки, на ощупь спускается по лестнице и ждет в прихожей, с тростью наготове, пока мадам заканчивает убираться в кухне.

– Я сама найду дорогу, – говорит Мари-Лора в их пятый выход. – Не надо меня вести.

Двадцать два шага до перекрестка с рю-д'Эстре. Сорок – до арки в стене. Девять ступеней вниз, и вот она уже на песке, окруженная двадцатью тысячами морских звуков.

Она собирает шишки, принесенные волнами из неведомой дали. Толстые обрывки канатов. Скользкие катышки полипов. Один раз находит утонувшую ласточку. Больше всего ей

нравится в отлив доходить до северного края пляжа, сидеть под островом, который мадам называет Гран-Бе, и шарить пальцами в оставленных морем лужицах. Только в эти минуты, когда ступни и руки ощущают холодную воду, Мари-Лора перестает думать об отце, о том, сколько в его письме правды, когда он напишет снова и за что его посадили. Она просто слушает, просто дышит.

Ее спальня заполняется камешками, окатанными стекляшками, раковинами. Сорок раковин гребешка на подоконнике, шестьдесят одна раковина трубача на комод. Мари-Лора раскладывает их сперва по разновидностям, потом по размеру. Самые маленькие слева, самые большие справа. Заполняет ими банки, ведерки, подносы. Спальня уже пропитана запахом моря.

Почти каждое утро они с пляжа идут на зеленой рынок, иногда заглядывают к мяснику, потом разносят еду тем соседям, которые, по мнению мадам, сильнее всего нуждаются в помощи. Поднимаются по гулкой лестнице, стучат в дверь; старуха-хозяйка приглашает войти, спрашивает, какие новости, уговаривает выпить по глоточку хереса. Мадам Манек совершенно неумолима и брызжет энергией: встает рано, работает допоздна, ухитряется испечь печенье без капли молока, хлеб из горстки муки. Они вместе шагают по узким улочкам, Мари-Лора держится сзади за фартук мадам, следует за ароматом пирогов и тушеного мяса. В такие секунды мадам Манек кажется ей огромной движущейся стеной роз, колючих и благоуханных, наполненных пчелиным гулом.

Еще теплый хлеб – старенькой вдове мадам Бланшар. Суп – мсье Саже. Постепенно в голове Мари-Лоры складывается трехмерная карта с яркими ориентирами: толстый платан на Пляс-оз-Эрб, девять подстриженных шариками деревьев в горшках перед отелем «Континенталь», шесть ступенек вверх по узенькой рю-де-Коннетабль.

Несколько раз в неделю мадам относит еду безумному Юберу Базену, ветерану Великой войны, который в любую погоду спит в нише за библиотекой. Который потерял при артобстреле нос, левое ухо и глаз. Который закрывает пол-лица розовой металлической маской с нарисованным глазом.

Юбер Базен любит рассказывать про городские стены, чернокнижников и пиратов Сен-Мало. На протяжении веков, говорит он Мари-Лоре, крепость защищала горожан от кровожадных грабителей – римлян, кельтов, норвежцев, а если верить легендам, то и от морских чудищ. Тринадцать столетий, продолжает он, стены сдерживали безжалостных англичан, которые со своих кораблей обстреливали город зажигательными снарядами, и пытались уморить жителей голодом, и готовы были уничтожить все и вся.

– Женщины Сен-Мало говорили детям: «Сядь прямо. Веди себя хорошо. Иначе ночью придет англичанин и перережет тебе горло».

– Юбер, перестань, – просит мадам Манек. – Ты ее пугаешь.

В марте Этьену исполняется шестьдесят. Мадам Манек тушит маленьких двустворчатых моллюсков с луком-шалотом и укладывает на тарелки вместе с шампиньонами и четвертинками сваренных вкрутую яиц. Во всем городе еле-еле удалось сыскать два яйца, говорит она. Этьен своим мягким голосом рассказывает об извержении Кракатау, когда – одно из самых его ранних воспоминаний – вулканический пепел из Вест-Индии окрасил алым закаты над Сен-Мало и каждый вечер над морем горели ярко-малиновые полосы. У Мари-Лоры карманы полны песком, обветренное лицо горит, и ей кажется, будто оккупация где-то далеко-далеко, за тысячи километров отсюда. Она скучает по папе, по Парижу, по доктору Жеффару, по садам, по своим книгам и шишкам – все это дыры в ее жизни. Однако за последние несколько дней существование сделалось выносимым. По крайней мере, на побережье ее страхи и горести уносит ветром, запахами и светом.

После того как они с мадам Манек возвращаются домой, Мари-Лора обычно сидит на кровати под раскрытым окном и путешествует по макету. Ее пальцы движутся мимо

кораблестроительной верфи на рю-де-Шартр, мимо булочной мадам Рюэль на улице Робера Сюркуфа. В воображении она слышит, как булочки скользят по засыпанному мукой полу, словно конькобежцы по льду, и ставят противни в ту самую четырехсотлетнюю печь, у которой стоял еще прадедушка мсье Рюэля. Ее пальцы проходят мимо ступеней собора – здесь старик подстригает розы в саду, там, за библиотекой, безумный Юбер Базен разговаривает сам с собой, заглядывая в горлышко пустой бутылки, вот монастырь, вот ресторан «У Шуше» рядом с рыбным рынком, вот дом номер четыре по улице Воборель с парадной дверью в неглубокой нише; здесь на первом этаже мадам Манек, снявши обувь, стоит на коленях перед кроватью и, перебирая четки, молится почти о каждой живой душе в городе. А на пятом этаже Этьен ходит вдоль шкафов, ведет пальцами по опустевшим полкам, где раньше были его приемники. А где-то за краем макета, за краем Франции, там, куда не добираются пальцы Мари-Лоры, сидит в камере папа. На подоконнике десятки его выструганных макетов, а надзиратель несет ему обед. Ей отчаянно хочется верить, что это и впрямь перепелки, утка, тушеный кролик. Куриные ножки, картофель, жаренный на шкварках, и пироги с абрикосами – десять подносов, дюжина тарелок, есть не хочу.

Nadel im Neuhaufen

[30]

Полночь. Гончие доктора Гауптмана каплями ртути несутся по заснеженным полям за школой. Сам учитель в меховой шапке идет за ними мелкими шагами, словно отмеряет расстояние. Замыкает процессию Вернер с двумя приемопередатчиками, которые они тестировали последние месяцы.

Гауптман поворачивает сияющее лицо:

– Отличное место, отличные линии визирования, ставьте приборы на землю, Пфенниг. Я отправил нашего друга Фолькхаймера вперед. Он где-то там, на холме.

Вернер не видит следов – только искрящийся лунный свет и заснеженный темный лес вдали.

– У него с собой передатчик в снаряжном ящике. Он должен спрятаться и передавать, пока мы его не найдем или пока не сядет аккумулятор. Даже я не знаю, где он. – Гауптман хлопает руками в перчатках, и собаки принимаются скакать вокруг него, их дыхание клубится в ночном воздухе. – Десять квадратных километров. Найдите передатчик, найдите нашего друга.

Вернер глядит на десять тысяч засыпанных снегом деревьев:

– Там, герр доктор?

– Там. – Гауптман вытаскивает из кармана флягу и не глядя отвинчивает крышку. – Это-то и есть самое занятное, Пфенниг.

Гауптман вытаптывает на снегу пяточок, Вернер ставит первый приемопередатчик, рулеткой отмеряет двести метров, ставит второй. Разматывает провода заземления, поднимает антенны, включает приборы. Пальцы у него уже занемели.

– Ищите на восьмидесяти метрах, Пфенниг. Обычно полевая команда не знает, на какой

частоте искать, но сегодня, для первого испытания, мы немного смухлем.

Вернер надевает наушники, и его слух наполняется треском. Он настраивает радиочастотный усилитель и фильтр. Скоро оба прибора уже слышат пиканье передатчика.

– Я засек его, герр доктор.

Собаки скачут и фыркают от волнения. Гауптман широко улыбается. Он достает из кармана стеклограф:

– Прямо на радио, кадет. У команды обычно не бывает бумаги.

Вернер пишет на металлическом корпусе формулы и начинает подставлять числа. Гауптман протягивает ему логарифмическую линейку. Через две минуты у Вернера есть пеленг и расстояние: два с половиной километра.

– А на карте? – Маленькое аристократическое лицо Гауптмана светится довольством.

Вернер с помощью циркуля и транспортира проводит линии.

– Ведите меня, Пфенниг.

Вернер прячет карту в карман куртки, запаковывает приемопередатчики и, неся по одному в каждой руке, словно парные чемоданы, начинает взбираться на холм. В лунном свете сыплются крошечные снежинки. Вскоре школа и служебные строения вокруг нее уже кажутся игрушечными. Ущербная луна, словно полуприкрытый глаз, ползет вниз. Собаки держатся ближе к хозяину, из пасть у них идет пар. Вернер уже вспотел.

Они спускаются в овраг, вылезают наружу. Один километр. Два.

– Знаете, что такое великое мгновение, Пфенниг? – спрашивает Гауптман, тяжело дыша от подъема. Он пьян, оживлен, почти болтлив; никогда еще Вернер не видел его таким. – Это миг, когда одно становится другим. День – ночью, гусеница – бабочкой. Жеребенок – конем. Эксперимент – результатом. Мальчик – мужчиной.

На третьем отрезке подъема Вернер достает карту и по компасу проверяет азимут. Вокруг мерцают безмолвные деревья. На снегу – ничьих следов, кроме их собственных. Школы позади давно не видно.

– Запеленговать еще раз, герр доктор?

Гауптман подносит пальцы к губам.

Вернер повторяет триангуляцию и видит, что они очень близки к точке, которую он первый раз отметил на карте, – меньше чем в полукилометре. Затем убирает приборы в ящики и прибавляет шаг. Он охотник, идет по запаху. Все три собаки это чувствуют, и Вернер думает: я сумел, я решил задачу, числа стали реальностью. С деревьев сыплется снег, собаки застывают и азартно поводят носами, они чуют цель, словно фазана, Гауптман поднимает ладонь, и наконец Вернер, протиснувшись с тяжелыми ящиками между двумя деревьями, видит человека, ничком лежащего на снегу. У его ног передатчик, антенна закинута на ветку.

Великан.

Собаки дрожат, готовые ринуться вперед. Гауптман держит ладонь поднятой, а другой рукой вытаскивает из кобуры пистолет:

– Так близко, Пфенниг, медлить нельзя.

Фолькхаймер лежит левым боком к ним. Вернер видит облачко его дыхания. Гауптман наводит «вальтер» прямо на Фолькхаймера, и одно длинное, ошеломляющее мгновение Вернер уверен, что учитель сейчас убьет старшеклассника, что все они, все кадеты, в страшной опасности, и невольно слышит слова Ютты у канала: «Правильно ли делать что-то только потому, что все остальные так поступают?» Что-то в душе Вернера закрывает чешуйчатые глаза, а маленький учитель поднимает пистолет и стреляет в воздух.

Великан рывком садится на корточки и вертит головой. Собаки несутся к нему, и у Вернера сердце готово разорваться на куски.

Фолькхаймер вскидывает руки навстречу несущимся псам, но они знают его, напрыгивают с лаем, играя. Он расшвыривает их, как котят. Гауптман смеется. Из дула пистолета идет дым. Доктор отпивает большой глоток из фляжки, передает ее Вернеру. Тот счастлив: он сумел угодить учителю, прибор работает, вокруг искристая лунная ночь, жгучее тепло коньяка растекается по внутренностям.

– Вот, – говорит Гауптман, – что мы делаем с треугольниками.

Псы носятся кругами, припадают к земле. Гауптман мочится под дерево. Фолькхаймер, таща тяжелый передатчик, идет к Вернеру, как будто еще вырастая на ходу, и кладет огромную руку в варежке ему на шапку.

– Всего лишь числа, – говорит он тихо, чтоб не услышал Гауптман.

– Чистая математика, кадет, – отвечает Вернер, подражая четкому выговору учителя. – Привыкайте мыслить в таких категориях.

Впервые на памяти Вернера Фолькхаймер смеется, и смех совершенно его преображает. Сейчас он совсем не страшный и похож на огромного добродушного ребенка. На себя, когда слушает музыку.

Весь следующий день воспоминания об успехе греют Вернеру душу – об успехе и почти священных мгновениях, когда он шагал рядом с высоченным Фолькхаймером назад в замок, мимо замерзших деревьев, мимо комнат, где мальчики лежат рядами и штабелями, как золотые слитки в хранилище. Раздеваясь рядом с койкой, Вернер глядел на товарищей и чувствовал себя родителем, берегущим их сон. Ему думалось, что Фолькхаймер идет сейчас по коридору к спальне старшеклассников – уродливый великан среди ангелов, кладбищенский сторож меж могильных плит.

Предложение

Мари-Лора сидит на своем всегдашнем месте в уголке кухни, у самого огня, и слушает, как приятельницы мадам Манек жалуются на жизнь.

– Это ж надо столько ломить за макрель! – возмущается мадам Фонтино. – Будто ее из Японии везут!

– Я уж и забыла вкус настоящего сливового пирога! – подхватывает мадам Эббар, почтмейстерша.

– А дурацкие талоны на обувь! – говорит мадам Рюэль, жена пекаря. – У Тео был номер три тысячи пятьсот один, а не вызвали даже четырехсотого!

– Им мало борделей на рю-Тевенар, теперь еще все летние апартаменты сдают любительницам.

– Большой Клод и его жена все жиреют.

– Проклятые боши жгут свет когда хотят!

– Если я еще вечер просижу взаперти с мужем, то сойду с ума!

Они сидят вдвоем вокруг кухонного стола, упираясь друг в дружку коленями. Продуктовые талоны, отвратительные пудинги, никудышный лак для ногтей – эти преступления надрыдают им душу. От стольких голосов сразу у Мари-Лоры все в голове мешается; они весело говорят о серьезном, мрачно умолкают после шуток. Мадам Эбрар причитает, что тростникового сахара не найти днем с огнем; другая старуха, начавшая что-то про табак, заходится смехом, вспомнив, какую задницу наел себе парфюмер. От них пахнет черствым хлебом и затхлыми гостиницами, до отказа набитыми массивной бретонской мебелью.

– Дочка Готье собралась замуж. Семье пришлось отдать в переплавку все драгоценности, чтобы сделать обручальное кольцо. Оккупационные власти установили тридцатипроцентный налог на золото и тридцатипроцентный – на работу ювелира. Когда с ним расплатились, от кольца ничего не осталось!

Обменный курс – издевательство, цена на морковь – заоблачная, везде обман. Наконец мадам Манек запирает кухонную дверь на щеколду и прочищает горло. Остальные старухи умолкают.

– На нас с вами держится мир, – говорит мадам. – Ваш сын, мадам Гибу, чинит им обувь. Вы, мадам Эбрар, вместе с дочерью разбираете их почту. А ваша пекарня, мадам Рюэль, печет им хлеб.

Воздух наэлектризован. У Мари-Лоры такое чувство, что старухи наблюдают за человеком, который вступил на тонкий лед или поднес ладонь к свечке.

– И к чему это ты?

– К тому, что мы должны действовать.

– Заложить бомбы им в башмаки?

– Накакать в хлебное тесто?

Дребезжащий смех.

– Ничего такого серьезного. Но мы можем пакостить им по мелочи.

– Это как?

– Для начала я хочу знать, согласны ли вы участвовать.

Напряженное молчание. Мари-Лора чувствует всех девятерых. Девять голов медленно думают. Она вспоминает об отце, которого посадили в тюрьму – за что? – и ей хочется плакать.

Две старухи уходят, сославшись на то, что у них внуки. Шесть остаются. Они одергивают блузки и скрипят стульями, как будто в кухне вдруг стало очень жарко.

Мари-Лора сидит между ними и гадает, кто струсит, кто проболтается, кто будет храбрее всех. Кто ляжет на спину и испустит последний выдох как проклятие оккупантам.

У тебя есть другие друзья

– Эй, дорогуля! – кричит Мартин Буркхард Фредерику, когда тот идет через плац. – Жди меня сегодня ночью!

Он неприлично вихляет вперед-назад бедрами.

Кто-то наложил кучу на койку Фредерика. Вернер слышит голос Фолькхаймера: «Их не волнует, что по-человечески».

– Засранец, принеси мне ботинки! – глумится сосед по спальне.

Фредерик делает вид, будто не слышит.

Вернер каждый вечер пропадает в лаборатории Гауптмана. Они уже трижды отправлялись в заснеженный лес искать передатчик Фолькхаймера и каждый раз находили его быстрее. Во время последнего испытания Вернер поставил приборы, засек передатчик и нанес положение Фолькхаймера на карту меньше чем за пять минут. Гауптман обещает поездки в Берлин, показывает чертежи из радиоэлектронной фабрики в Австрии и говорит:

– Некоторые министры всерьез заинтересовались нашим проектом.

Вернер добивается успехов. Он демонстрирует преданность. Он делает то, что все одобряют. И все же каждое утро, просыпаясь и застегивая пуговицы на рубашке, он чувствует, что кого-то предает.

Как-то вечером они бредут в замок по мокрому снегу; Фолькхаймер несет под мышкой передатчик, оба приемника и сложенную антенну. Вернер шагает сзади; ему уютно быть в тени Великана. С деревьев капает, ветки, кажется, уже готовы взорваться бутонами. Весна. Через два месяца Фолькхаймер получит воинское звание и уедет на фронт.

Они останавливаются, чтобы Фолькхаймер перевел дух. Вернер смотрит на приемник, достает из кармана отвертку, подтягивает расшатавшуюся петлю. Фолькхаймер смотрит на него с нежностью:

– Какое же у тебя будущее...

В тот вечер Вернер ложится на койку и смотрит снизу на матрас Фредерика. По замку гуляет теплый ветер, где-то грохает ставень, по длинным водосточным трубам журчит вода. Вернер тихо-тихо шепчет:

– Не спишь?

Фредерик свешивается с верхней койки, и на миг в полной темноте Вернеру кажется, будто сейчас они наконец скажут друг другу то, что надо сказать.

– Ты мог бы поехать домой, в Берлин.

Фредерик только моргает.

– Твоя мама не стала бы возражать. Она бы, наверное, обрадовалась. И Фанни тоже. Всего на месяц. Или на неделю. Как только ты уедешь, кадеты успокоятся и к твоему возвращению переключатся на кого-нибудь другого. А твоему отцу можно ничего не сообщать.

Однако Фредерик ложится обратно, и Вернер больше его не видит. Голос долетает, отраженный от потолка:

– Может, и к лучшему, что мы больше не друзья, Вернер. – Слишком громко, до опасного громко. – Я понимаю, это обуза: ходить со мной, есть со мной, вечно складывать мою одежду и чистить ботинки, помогать мне с уроками. Тебе надо думать о своей учебе.

Вернер зажмуривается изо всех сил. Перед ним его спальня на чердаке: мышиный топоток в стенах, стук дождя по окнам. Потолок скошен, и выпрямиться во весь рост можно только у двери. И чувство, будто где-то сразу за пределами видимости, словно зрители на галерке, его папа с мамой и француз из радиоприемника. Все они смотрят сквозь дребезжащее окно: как-то он поступит?

Он видит несчастное лицо Ютты над обломками радиоприемника и чувствует: что-то огромное и пустое готово пожрать их всех.

– Я совсем не это хотел сказать, – говорит Вернер в одеяло.

Однако Фредерик не отвечает, и оба долго лежат неподвижно, наблюдая, как голубой лунный квадрат ползет по стене.

Старушечий клуб Сопrotивления

Мадам Рюэль, жена пекаря, – старуха с приятным голосом, от которой обычно пахнет дрожжами, но иногда сладкими яблоками и пудреницей, – положила стремянку на багажник мужниного автомобиля, вместе с мадам Гибу объехала в сумерках Карентанскую дорогу и гаечным ключом развернула указатели. Хмельные и смеющиеся, они входят в кухню дома номер четыре по улице Воборель.

– Динан теперь в двадцати километрах к северу! – хохочет мадам Рюэль.

– Точно посреди моря!

Через три дня мадам Фонтинo случайно узнает, что у командира немецкого гарнизона аллергия на золотарник. Мадам Карре, хозяйка цветочной лавки, вставляет огромные пуки золотарника в букет для шато.

Старухи отправляют целую партию ткани по неверному адресу. Нарочно печатают расписание поездов с ошибками. Почтмейстерша мадам Эбрар прячет важного вида пакеты из Берлина в панталоны, относит домой и вечером растапливает ими камин.

Они толпой вваливаются на кухню и радостно сообщают, что командир гарнизона чихает или что собачья какашка, подложенная к дверям борделя, успешно прилипла немцу к башмаку. Мадам Манек наливает им херес, сидр или мюскаде. Кто-нибудь из старух

сидит перед дверью, караулит, чтобы не вошли чужие. Маленькая сутулая мадам Фонтино хвастает, что час безостановочно названивала в шато, занимая телефонную линию, рослая и некрасивая мадам Гибу – что помогла внуку раскрасить бродячую собаку в цвета французского флага и выпустить ее на площади Шатобриана.

Женщины восхищенно хихикают.

– А что бы такого сделать мне? – спрашивает дряхлая мадам Бланшар. – Я тоже хочу помочь.

Мадам Манек просит всех отдать мадам Бланшар свои деньги.

– Это на время, не беспокойтесь. Так вот, мадам Бланшар, у вас с детства прекрасный почерк. Вот вам вечное перо мсье Этьена. Напишите на каждой пятифранковой купюре: «Освободим Францию!» Никто не решится уничтожить деньги, верно? И наше воззвание разойдется по всей Бретани!

Женщины хлопают в ладоши. Мадам Бланшар крепко стискивает руку мадам Манек и часто моргает от удовольствия.

Иногда, ворча, заходит Этьен, в одном ботинке. Вся кухня умолкает, пока мадам Манек наливает ему чай и ставит на поднос, но, как только Этьен с подносом уходит наверх, женщины вновь принимаются болтать и выдумывать новые пакости. Мадам Манек рассеянно гладит Мари-Лору по волосам.

– Семьдесят шесть лет, – шепчет она, – а я по-прежнему чувствую себя девчонкой со звездами в глазах!

Диагноз

Военврач мерит фон Румпелю температуру. Надувает тугий браслет тонометра. Светит в горло фонариком. Только сегодня утром фон Румпель осматривал кушетку семнадцатого века. Под его присмотром ее погрузили на поезд для отправки в охотничий домик маршала Геринга. Солдат, доставший кушетку, рассказывал, как грабили виллу, называя это «отоварились».

Кушетка вызывает в памяти бронзовую табакерку с медной крышкой, усыпанной мелкими бриллиантами, которую он оценивал в начале недели, а от нее мысли неудержимо, словно под действием гравитации, возвращаются к Морю огня. В минуты слабости фон Румпель воображает, как идет по будущему Музею фюрера в Линце. Каблуки гулко стучат по мрамору, в окна льется свет, между стройными рядами колонн – тысячи витрин такого прозрачного стекла, что кажется, будто они парят над полом. В них величайшие минеральные сокровища человечества, собранные со всего земного шара: диоптазы, топазы, аметисты, калифорнийские рубеллиты.

Как там было? «Будто звезды, сорванные с архангельского чела»[31].

А в самом центре галереи, под закрепленным на потолке прожектором, в стеклянном кубе искрится голубой камешек...

Доктор говорит фон Румпелю приспустить штаны. Хотя военные дела не давали роздыха и на сутки, все эти месяцы фон Румпель был счастлив. Его обязанности удвоились, – в

конце концов, у рейха не так много арийских экспертов по алмазам. Всего три недели назад, перед маленьким, расчерченным солнцем вокзальным зданием неподалеку от Братиславы, он осматривал конверт, полный чистейших, прекрасно ограненных камней; сзади рычал грузовик с завернутыми в бумагу и переложенными соломой живописными полотнами. Охранники шептались, что там Рембрандт и детали знаменитого Краковского алтаря. Все отправлялось в соляную шахту под австрийской деревушкой Альтаусзее, где полуторакилометровый тоннель приводит в сияющую аркаду со стеллажами трехэтажной высоты; туда верховное командование помещает лучшие творения европейского искусства. Все будет собрано под одним надежным потолком, в храме человеческих достижений. Посетители будут восхищаться ими тысячу лет.

Доктор щупает у него в паху:

– Больно?

– Нет.

– А здесь?

– Нет.

Конечно, не стоило надеяться, что парижский гранильщик назовет имена. Дюпон не мог знать, кому отдадут копии алмаза, – музейщики не посвятили его в свои экстренные планы. И все же от Дюпона была польза: фон Румпелю требовалось знать число, и теперь оно известно.

Три.

– Можете одеваться, – говорит доктор и отходит к раковине вымыть руки.

За два месяца перед оккупацией Дюпон изготовил для музея три копии. Видел ли он оригинал? Нет, ему дали только слепки. В это фон Румпель готов поверить.

Три копии. Плюс сам камень. Где-то на планете среди секстильона крупинок ее песка.

Четыре камня, один – в подвале музея, в сейфе. Три предстоит отыскать. Временами нетерпение подступает к горлу, как желчь, но фон Румпель подавляет его усилием воли. Камень найдется.

Он застегивает ремень.

– Надо будет взять биопсию, – говорит доктор. – И вам стоит позвонить жене.

Слабейший (№ 3)

Масштабы жестокости растут. То ли Бастиан стремится довершить свою месть, то ли Фредерик таким образом ищет освобождения, непонятно. Наверняка Вернер знает лишь одно: как-то апрельским утром он проснулся и увидел за окном мокрый снег, а койку Фредерика – пустой.

Фредерик не пришел на завтрак, на урок поэзии, на полевые занятия. Все истории, которые доходят до Вернера, по-своему противоречивы, как будто истина – механизм и

шестерни в нем не сходятся. По одной – ребята вывели Фредерика на улицу, воткнули в снег факелы и заставили его стрелять по ним из винтовки: подтвердить, что он нормально видит. По другой – ему принесли таблицы для проверки зрения, а когда он не справился, затолкали их ему в рот.

Однако так ли важна истина? Вернер представляет, как двадцать мальчишек, словно крысы, напрыгивают на упавшего Фредерика, видит жирное, лоснящееся лицо коменданта, торчащую из воротника шею. Бастиан королем восседает на высоком дубовом троне, а кровь, медленно растекаясь по полу, доходит ему до щиколоток, до колен...

Вернер пропускает второй завтрак и отправляется в школьный лазарет. Если его поймают, то накажут, может быть, даже исключат. День ясный, солнечный, но у Вернера сердце медленно сжимают в тисках, все вокруг заторможено-гипнотическое, и он смотрит на свою руку, открывающую дверь, словно через глубокую голубую воду.

Одинокая койка вся в крови. Кровь на подушке, на простынях, даже на белой эмалированной раме. Розовые тряпки в тазу. Полуразмотанный бинт на полу. Медсестра, заметив Вернера, недовольно кривится. Она единственная женщина в школе, если не считать поварих.

– Откуда столько крови? – спрашивает Вернер.

Она прикладывает ладонь к губам. Наверное, не может решить, сказать ему или притвориться, будто не знает. Обвинить других или стать их соучастницей.

– Где он?

– В Лейпциге. Там его прооперируют.

Она трогает круглую белую пуговку на халате. Палец немного дрожит, но в остальном она совершенно выдержанна.

– Что случилось?

– Ты разве не должен сейчас быть в столовой?

Всякий раз, моргая, Вернер видит проулки своего детства, безработных шахтеров с пальцами-крючьями и пустыми глазами, видит Бастиана над рекой, от которой поднимается пар. С неба сыплет снег, Бастиан вещает: «Фюрер, народ, отечество. Закалите тело, закалите дух».

– Когда он вернется?

Медсестра тихонько ойкает и мотает головой.

Голубая мыльница на столе. Над ней – портрет какого-то давнишнего офицера в облупившейся раме. Еще одного мальчика, которого отсюда отправили умирать.

– Кадет?

Вернер вынужден сесть на кровать. Лицо медсестры занимает в пространстве несколько положений сразу: маска поверх маски поверх маски. Чем занята Ютта прямо сейчас? Утирает нос хнычущему младенцу, собирает макулатуру, слушает передачу для армейских медсестер или штопает очередной носок? Молится о нем? Верит в него?

Он думает: про это я никогда ей рассказать не смогу.

* * *

Дорогая моя Мари-Лора!

Соседи по камере у меня подобрались очень милые. Многие рассказывают анекдоты. Вот один: слышали, какая у вермахта физзарядка? Да, каждое утро поднимаешь руки вверх и не опускаешь!

Ха-ха. Мой ангел обещал мне с большим риском для себя переслать это письмо. Очень приятно немного побыть вне «пансиона». Мы сейчас строим дорогу. Это замечательная работа, я стал гораздо сильнее. Сегодня я видел дуб, который притворялся каштаном. Кажется, он зовется «каштановый дуб». Мне бы очень хотелось расспросить о нем ботаников в музее, когда вернемся домой.

Надеюсь, вы с мадам и Этьеном и дальше будете слать мне посылки. Нам разрешают получать только по одной в месяц, и по временам их досматривают. Вряд ли мне разрешат держать при себе инструменты, но если бы разрешили, было бы чудесно. Ты и вообразить не можешь, как тут хорошо и безопасно, *ma chérie*. Я чувствую себя, как у Христа за пазухой.

Твой папа

Грот

Лето. Мари-Лора сидит в нише за библиотекой с мадам Манек и безумным Юбером Базеном. Через маску, полным супа ртом, Юбер говорит:

– Я хочу кое-что вам показать.

Он ведет их по улице. Мари-Лора думает, что по рю-дю-Бойе, хотя это может быть рю-дю-Венсан-де-Гурнэ или рю-дез-От-Салль. Они доходят до городской стены и поворачивают направо, в улочку, где Мари-Лора еще не бывала. Спускаются на две ступени, отодвигают завесу плюща, и мадам Манек восклицает: «Юбер, что это?» Улочка все уже и уже. Они все трое идут вереницей, почти касаясь стен. Юбер останавливается. Мари-Лора чувствует, что стены по обеим сторонам уходят вверх, куда-то в бесконечность. Если папа и сделал этот проулок на макете, ее пальцы его еще не нашли.

Юбер, тяжело дыша за маской, роется в грязных штанах. Слева – там, где должны быть городские укрепления, – щелкает замок. Со скрипом отворяется дверь.

– Осторожно, не ударься головой, – говорит Юбер и ведет Мари-Лору внутрь; они спускаются в какое-то сырое место, где определенно пахнет морем. – Мы под стеной. Над нами двадцать метров гранита.

– Ой, Юбер, здесь мрачно, как на кладбище, – говорит мадам.

Однако Мари-Лора проходит еще чуть дальше. Подошвы скользят, пол круто уходит вниз, и вот уже ее туфли касаются воды.

– Пощупай, – говорит Юбер Базен.

Он наклоняется и прикладывает ее руку к закругленной стене, сплошь усеянной улитками. Их тут сотни. Тысячи.

– Как их много, – шепчет Мари-Лора.

– Не знаю почему. Может, потому, что сюда не залетают чайки? Вот, потрогай, я ее переверну.

Сотни крохотных извивающихся ножек под жестким панцирем: морская звезда.

– Вот голубые мидии. А вот мертвый краб, чувствуешь клешню? Осторожнее, пригнись.

Рядом плещет прибой. Мари-Лора идет дальше: пол здесь песчаный, вода еле доходит до щиколоток. Насколько можно понять, это низкий грот, по форме как буханка – метра три-четыре глубиной и метра два шириной. В дальнем конце толстая решетка, через которую дует лучезарный, чистый морской ветер. Пальцы находят морских желудей, водоросли, еще тысячи улиток.

– Что это?

– Помнишь, я рассказывал про сторожевых псов? Давным-давно городские псари держали здесь мастифов – огромных собак размером с лошадь. Когда колокол возвещал, что наступила ночь, собак выпускали, и, если кто-нибудь из моряков отваживался сунуться на берег, его рвали в клочки. Где-то под этими мидиями на камне нацарапана дата: «Тысяча сто шестьдесят пятый год».

– А как же вода?

– Даже в самый высокий прилив она тут не глубже, чем по пояс. А тогда, возможно, приливы были ниже. Мы играли здесь в детстве. Я и твой дед. Иногда и твой двоюродный дедушка тоже.

Вода плещет под ногами. Мидии щелкают раковинами. Мари-Лора думает о моряках, которые жили в этом городе, о контрабандистах и пиратах, как они вели свои суденышки по темному морю между десятью тысячами рифов.

– Юбер, нам пора идти! – кричит мадам Манек, и ее голос гулко отдается под низкими сводами. – Это не место для девочки.

– Мне тут нравится, мадам! – отвечает Мари-Лора.

Раки-отшельники. Анемоны, когда она их трогает, плюются морской водой. Галактики улиток. И в каждой – целая история жизни.

Наконец мадам Манек уговаривает их выйти из конуры. Безумный Юбер Базен ведет Мари-Лору обратно и запирает за ними дверь. Не доходя до Пляс-Бруссэ (мадам Манек идет впереди), он трогает Мари-Лору за плечо и шепчет ей в левое ухо. Его дыхание пахнет давленными насекомыми.

– Сможешь снова найти это место?

– Думаю, да.

Он вкладывает ей в руку что-то металлическое:

– Знаешь, что это?

Мари-Лора сжимает кулак и говорит:

– Ключ.

Угар

Каждый день сообщают о новой победе, о новом наступлении. Россия сжимается, как гармошка. В октябре все ученики слушают по большому радиоприемнику, как фюрер объявляет операцию «Тайфун». Немецкие роты ставят флаги в километрах от Москвы. Россия будет их.

Вернеру пятнадцать. На койке Фредерика спит другой мальчик. Иногда по ночам Вернер видит Фредерика там, где его нет. Лицо свешивается с койки, или силуэт прижимает бинокль к стеклу. Фредерик, который не умер, но и не поправляется. Сломанная челюсть, пробитый череп, мозговая травма. Никого не наказали, никого не допрашивали. К школе подъехал синий автомобиль, мать Фредерика поднялась в кабинет коменданта и очень скоро вышла, сгибаясь под тяжестью Фредерикова вещмешка, – еще более миниатюрная, чем Вернер ее запомнил. Она села обратно в машину и уехала.

Фолькхаймер уехал. Рассказывают, что он стал бесстрашным унтер-офицером рейха. Вместе со своим взводом штурмовал последний город на подступах к Москве. Отрубал мертвым русским пальцы, набивал ими трубку и курил.

Кадеты нового набора лезут из кожи вон, чтобы себя показать. Они бегают, орут, прыгают через препятствия. На полевых учениях они устраивают игру, в которой десять мальчиков получают красные нарукавные повязки, а десять – черные. Игра заканчивается, когда одна команда соберет все двадцать.

У Вернера такое чувство, что все ребята вокруг него в угаре или пьяны. Как будто за каждой едой им наполняют кружки не родниковой водой Шульпфорты, а неким хмельным напитком. Как будто у них один-единственный способ сдержать неизбежный прилив тоски: накачивать себя до упаду физическими упражнениями и блеском начищенных сапог. Глаза самых тупых мальчишек горят решимостью, все их внимание нацелено на то, чтобы искоренить слабость. Они с подозрением поглядывают на Вернера, когда тот возвращается из лаборатории доктора Гауптмана. Им не нравится, что он сирота и любит оставаться один, что в его выговоре сквозит призыв французского.

«Мы залп пуль, – поют новички, – мы пушечные ядра. Мы – острие клинка».

Вернер постоянно думает о доме. Ему не хватает стука дождевых капель по жестяной крыше, неугомонной энергии других детей, хриповатого пения фрау Елены, когда та укачивает малыша. Запаха коксохимического завода в ранние часы – первого из дневных запахов. А больше всего он скучает по Ютте, по ее верности и упрямству, ее безошибочному умению отличать, что хорошо, а что плохо.

Впрочем, в минуты слабости Вернер досаждает именно на эти ее качества. Может, сестра и есть его изъян, помехи в его сигнале, слышные для школьных заводил. Может, из-за нее он не совсем такой, как остальные. Если у тебя дома сестра, ты должен думать о ней как о красотке с пропагандистского плаката: розовощекой, отважной, терпеливой. За нее ты будешь биться с врагом. За нее умрешь. А Ютта? Она присылает письма, в которых школьный цензор вымарывает почти все. Задаёт вопросы, которые не следует

задавать. Вернера защищает лишь статус учительского любимчика – работа с доктором Гауптманом. Берлинская фирма выпускает их приемопередающие станции; некоторые приборы уже возвращаются «с полей» (так говорит доктор Гауптман) – взорванные, обгорелые, залитые грязью, неисправные. Дело Вернера – чинить их, куда доктор Гауптман говорит по телефону, или пишет заказы на запасные части, или по две недели где-то отсутствует.

Очень давно нет писем от Ютты. Вернер пишет по несколько ничего не значащих строк: «У меня все хорошо. Очень мало времени» – и отдает письмо воспитателю. В душе копошится страх.

– У вас есть разум, – говорит Бастиан как-то вечером в столовой, и мальчики еле заметно ссутуливаются над едой, когда его палец скользит по их спинам. – Однако разуму доверять нельзя. Разум вечно сползает в сомнения, в вопросы, когда на самом деле нужна уверенность. Цель. Ясность. Не верьте своему разуму.

Вернер допоздна засиживается в лаборатории, один, и крутит настройку «Грюндига», который Великан когда-то брал в учительском кабинете, – ищет музыку, отголоски, сам не знает что. Видит, как контур размыкается и замыкается. Видит Фредерика над книгой с птицами, видит ужас цольферайнских шахт, черные вагонетки, бесконечные ленты конвейеров, трубы, дымящие день и ночь. Видит Ютту: она машет зажженным факелом, отбиваясь от тьмы, которая наползает со всех сторон. Ветер ломится в стены лаборатории – ветер, который, как любит напоминать комендант, примчался сюда через всю Россию, казацкий ветер, ветер свиноголовых дикарей, которым только дай напиться крови немецких девушек. Ветер горилл, которых надо стереть с лица земли.

Треск помех.

Ты здесь?

Наконец он выключает радио. В тишине слышатся голоса его наставников. Они эхом отражаются от одной стороны головы, а воспоминания говорят в другой.

Откройте глаза и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки.

Улитка и Сабля

Большой торжественный зал «Отель-Дьё» полон народу. Говорят о немецких подлодках, о грабительском обменном курсе, о четырехтактных дизельных моторах. Мадам Манек заказывает две мисочки рыбного супа, которые они с Мари-Лорой приканчивают в одно мгновение. Она не знает, что делать дальше – ждать ли еще? – и потому заказывает еще две.

Наконец рядом садится человек в шуршащей одежде:

– Вас точно зовут мадам Вальтер?

– А вас точно зовут Рене? – отвечает мадам Манек.

Пауза.

– А она?

– Моя сообщница. Безошибочно определяет по голосу, когда кто-нибудь лжет.

Мужчина, назвавшийся Рене, смеется. Они говорят о погоде. От одежды незнакомца пахнет морем, как будто Рене принесло сюда штормом. Говоря, он сильно жестикулирует и грохает по столу так, что звенят ложки. Наконец он говорит:

– Мы восхищены вашими усилиями, мадам.

Дальше он говорит очень тихо, Мари-Лора различает лишь несколько фраз:

– Ищите буквы на номерных знаках. WH означает армию, WL – ВВС, WM – флот. И вы можете отмечать – или найти кого-нибудь, кто будет отмечать, – какие суда входят в порт и выходят из порта. Эти сведения нам очень нужны.

Мадам молчит. Возможно, они общаются знаками или передают друг другу записки – этого Мари-Лора сказать не может. Так или иначе согласие достигнуто, и они возвращаются в дом номер четыре по улице Воборель. Сегодня утром, объявляет мадам, ей удалось купить два ящика персиков – быть может, последних персиков во всей Франции. Напевая, она помогает Мари-Лоре их чистить.

– Мадам?

– Да, Мари?

– Что такое подпольная кличка?

– Это имя, которым ты называешься вместо настоящего.

– А как бы я могла называться, если бы понадобилось?

– Ну... – задумчиво тянет мадам Манек. Вынимает косточку из персика, режет его на четвертинки. – Да как угодно. Можешь быть Русалкой, если захочешь. Или Ромашкой. Может, Фиалка?

– А как насчет Улитки? Я бы хотела быть Улиткой.

– Улиткой? Отличная кличка.

– А вы, мадам? Вы бы как хотели называться?

– Я? – Мадам замирает, держа нож над доской. В подвале звенят сверчки. – Наверное, я хотела бы быть Саблей.

– Саблей?

– Да.

Аромат персиков клубится ярко-алым облаком.

– Саблей? – еще раз переспрашивает Мари-Лора.

Обе принимаются хохотать.

Дорогой Вернер!

Почему ты не пишешь?

Фабрики работают день и ночь, трубы постоянно дымят, холодно так, что топят всем подряд: опилками, угольной крошкой, мусором. Солдатские вдовы

и с каждым днем все больше. Я работаю в прачечной с близняшками, Ханной и Сусанной, и Клаудией Фёрстер, ты ее помнишь. В основном чиним штаны и рубахи. Я научилась работать иглой, по крайней мере не так часто колю себе пальцы. Сейчас как раз заканчиваю делать уроки. Вам задают уроки? Ткань – дефицит, так что люди приносят перешивать занавески, покрывала, старые пальто. Говорят, все, что можно, должно идти в дело. К нам это тоже относится. Ха. Это я нашла под твоей старой кроватью. Думаю, тебе пригодится.

Целую,

Ютта

В самодельном конверте – детская тетрадь Вернера, на обложке его рукой выведено: «Вопросы». На страницах – чертежи, изобретения. Электрогрелка, которую он хотел соорудить для фрау Елены, велосипед с цепями для обоих колес. Может ли магнит притянуть жидкость? Почему лодки плавают? Почему, когда кружишься, голова тоже идет кругом? В конце десятков пустых страниц. Видимо, писанина настолько детская, что цензор ее пропустил.

Вокруг него – стук подошв, лязг винтовок. Приклад в землю, дуло прислонить к стене. Снять кружку с крюка, взять тарелку. В очередь за вареной говядиной. На него накатывает такая тоска по дому, что приходится зажмурить глаза.

Пожить перед смертью

Мадам Манек заходит в комнату Этьена на пятом этаже. Мари-Лора подслушивает на лестнице.

– Вы можете помочь, – говорит мадам.

Кто-то – наверное, она – открывает окно, и свежий морской воздух врывается на площадку, шевеля все: занавески Этьена, его бумаги, его пыль. Мари-Лоре пронзительно хочется, чтобы папа был рядом.

– Прошу вас, мадам, закройте окно, – говорит Этьен. – За нарушение режима затемнения могут арестовать.

Окно остается открытым. Мари-Лора тихонько поднимается еще на ступеньку.

– Знаете, кого арестовывают, Этьен? Женщина из Ренна получила девять месяцев тюрьмы

за то, что назвала своего борова Геббельсом! Гадалку из Канкаля расстреляли за то, что она предсказала: де Голль вернется весной. Расстреляли!

– Это всего лишь слухи, мадам.

– Мадам Эбрар сказала, что в Динаре один старик – дедушка! – получил два месяца тюрьмы за то, что носил крест «Свободной Франции». Говорят, они превращают весь город в свалку боеприпасов.

Дядюшка негромко смеется:

– Такое могли бы придумать шестиклассники.

– В каждом слухе есть доля правды, Этьен.

Мари-Лора понимает, что всю взрослую жизнь Этьена мадам Манек умеряла его страхи. Обходила их, старалась сгладить. Она поднимается еще на ступеньку.

Мадам Манек говорит:

– Вы многое знаете, Этьен. Про карты, приливы, радио.

– Довольно уже и того, что эти женщины собираются у меня в доме. Люди не слепые, мадам.

– Кто?

– Да хоть парфюмер.

– Клод? – фыркает она. – Малыш Клод слишком занят – обнюхивает себя.

– Клод уже давно не малыш. Даже я вижу, что его семья получает больше других: больше мяса, больше электричества, больше масла. Я знаю, чем покупаются такие блага.

– Тогда помогите нам.

– Я не хочу неприятностей, мадам.

– А сидеть сложа руки – не значит нарываться на неприятности?

– Сидеть сложа руки – это не делать ничего опасного.

– Сидеть сложа руки – все равно что сотрудничать с оккупантами.

Шумит ветер. В воображении Мари-Лоры он дробится и переливается, втягивает в воздух иголки и колючки. Серебряный, зеленый, потом снова серебряный.

– Я знаю способы, – говорит мадам Манек.

– Какие? Кому вы доверились?

– Иногда надо на кого-нибудь положиться.

– Нельзя доверять никому, кроме тех, в чьих руках и ногах течет та же кровь, что в ваших. И даже им нельзя доверять. Вы воюете не с человеком, а с системой. Как воевать против системы?

– Как сумеем.

– Чего вы от меня хотите?

– Раскопайте ту старую штукуну на чердаке. В прежние дни вы знали про радио больше всех в городе. А может, и во всей Бретани.

– Все приемники конфискованы.

– Не все. Многие их спрятали. Насколько я поняла, вам надо будет просто читать цифры, написанные на бумажке. Кто-то – не знаю кто, может, Юбер Базен – будет приносить их мадам Рюэль, а та – запекать прямо в хлеб. В хлеб!

Мадам смеется, и ее голос звучит на двадцать лет моложе.

– Юбер Базен. Вы полагаетесь на Юбера Базена? Хотите запекать шифровки в хлеб?

– Какой жирный фриц станет есть эти клёклые батоны? Вся хорошую муку они забрали себе. Мы приносим домой хлеб, вы передаете числа, потом мы сжигаем записки.

– Это нелепость. Вы ведете себя как маленькая.

– Лучше, чем ничего не делать. Подумайте о своем племяннике. О Мари-Лоре.

Занавески хлопают, бумаги шуршат. Двое взрослых в кабинете молчат. Мари-Лора подобралась так близко к двери, что может коснуться косяка.

Мадам Манек говорит:

– Разве вы не хотите пожить перед смертью?

– Мари уже почти четырнадцать, мадам. По военному времени – не так уж мало. Четырнадцатилетние умирают так же, как все остальные. А я хочу, чтобы четырнадцатилетние были молоды. Хочу...

Мари-Лора отступает на шаг. Видели ли они ее? Она вспоминает каменную конуру, куда водил их безумный Юбер Базен. Грот, куда во множестве сползаются улитки. Вспоминает, как папа сажал ее на велосипед, вставал на педали и они выезжали на какой-нибудь парижский бульвар, в рев мчащихся машин. Мари-Лора держала отца за пояс и поджимала колени, и они летели между автомобилями, под уклон, среди громких запахов, звуков и цветов.

– Я собираюсь почитать, мадам, – говорит Этьен. – А вам разве не пора готовить ужин?

Некуда

В январе сорок второго года Вернер заходит к Гауптману в его ярко освещенный кабинет, натопленный в два раза жарче всей остальной школы, и просит разрешения уехать домой. Маленький учитель сидит за большим столом, перед ним на тарелке чудосочного вида жареная птица. Перепелка, куропатка или голубь. Справа рулоны чертежей. Гончие вытянулись на коврике у камина.

Вернер стоит, держа фуражку в руках. Гауптман закрывает глаза и проводит пальцем по брови.

– Деньги на билет я заработаю, герр доктор.

На лбу Гауптмана пульсирует синий фейерверк жилок.

– Вы? – произносит он, открывая глаза; собаки разом вскидывают морды – трехголовая гидра. – После того, как получили все? После того, как приходили сюда, слушали концерты, ели шоколад и грелись у огня?

На щеке Гауптмана трясется кусочек жареного птичьего мяса. Может быть, впервые Вернер замечает в светлых редущих волосах учителя, в черных ноздрях, в маленьких, почти заостренных ушках нечто безжалостное и нечеловеческое, нацеленное только на выживание.

– Может, вы возомнили себя важной особой?

Вернер за спиной мнет фуражку, чтобы унять дрожь:

– Нет, герр доктор.

Гауптман складывает салфетку.

– Вы сирота, Пфенниг, у вас нет покровителей. Я могу сделать из вас что захочу. Смутьяна, преступника, взрослого. Могу отправить вас на фронт и проследить, чтобы вы мерзли в окопах, пока русские не отрежут вам руки и не затолкают их в вашу глотку.

– Да, герр доктор.

– Вас отпустят из школы, когда школа будет к этому готова. Не раньше. Мы служим рейху, Пфенниг, а не он – нам.

– Да, герр доктор.

– Сегодня вечером вы придете в лабораторию. Как всегда.

– Да, герр доктор.

– Больше никакого шоколада. Никаких привилегий.

В коридоре, закрыв за собой дверь, Вернер прижимается лбом к стене и видит последние отцовские минуты. Кровля оседает, под щекой – каменный пол, череп трескается. Я не могу вернуться домой, думает он. И не могу остаться.

Исчезновение Юбера Базена

Мари-Лора идет вслед за ароматом супа через Пляс-оз-Эрб и держит горячий судок перед нишей позади библиотеки, пока мадам Манек стучит в дверь.

– Где мсье Базен? – спрашивает мадам.

– Наверное, куда-нибудь перебрался, – отвечает библиотекарь, не слишком успешно пытаясь скрыть неуверенность.

– Куда мог перебраться Юбер Базен?

– Не знаю, мадам Манек. Извините, мне холодно тут стоять.

Дверь хлопает. Мадам Манек чертыхается. Мари-Лора вспоминает истории Юбера Базена: скорбных чудищ, слепленных из морской пены, русалок с рыбьими хвостами, романтику английских осад.

– Он вернется, – говорит мадам Манек не столько Мари-Лоре, сколько себе.

Однако на следующий день его по-прежнему нет. И на следующий тоже.

На очередную встречу клуба приходит лишь половина участниц.

– Они думают, что он нам помогал? – шепчет мадам Эбрар.

– А он нам помогал?

– Вроде бы он доставлял сообщения.

– Какие сообщения?

– Это становится слишком опасно.

Мадам Манек расхаживает по кухне. Мари-Лора почти физически ощущает жар ее отчаяния.

– Тогда уходите! – шипит она. – Уходите все!

– Ну зачем так? – говорит мадам Рюэль. – Мы просто сделаем перерыв на неделю или две. Подождем, пока все не успокоится.

Юбер Базен с его маской, с его мальчишеской живостью и запахом давленных насекомых изо рта. Куда, гадают Мари-Лора, немцы забирают арестованных? В «пансион», где держат папу? Почему оттуда пишут письма про замечательную еду и мифические деревья? Жена пекаря говорит, арестованных отправляют в лагеря, в горы. Нет, уверяет жена зеленщика, их везут на нейлоновые фабрики в Россию. Мари-Лоре представляется, что эти люди просто исчезают. Солдаты набрасывают мешок на голову тому, кого хотят убрать, пропускают через него электричество, и человека нет. Он перенесся в какой-то другой мир.

Город, думает Мари-Лора, медленно превращается в макет на шестом этаже. Улицы пустеют одна за другой. Всякий раз, выходя на улицу, она ощущает все окна над головой. Тишина беспокойная, неестественная. Наверное, так чувствует себя мышь, когда выглядывает из норки на луг и не знает, что за тени кружат высоко в небе.

Все отравлено

В столовой повесили шелковые полотнища с лозунгами. Они гласят:

Упасть – не позор. Позор – не встать.

Будьте стройны и поджары, быстры, как гончие, жестки, как дубленая кожа, тверды, как крупповская сталь.

Каждые несколько недель очередной преподаватель исчезает, засосанный машиной войны. Появляются новые – пожилые, пьющие. Все они какие-то увечные: кто-то хромает, кто-то слеп на один глаз, у кого-то лицо перекошено после апоплексического удара или после прошлой войны. Кадеты относятся к ним без уважения, преподаватели, в свой черед, быстро выходят из себя. Вернеру кажется, что вся школа – граната с выдернутой чекой.

Что-то странное происходит с электричеством. Оно выключается на пятнадцать минут, затем напряжение прыгает. Стрелки часов бегут быстрее, лампочки вспыхивают и лопаются, засыпая коридоры мягким дождем осколков. Наступают дни полной темноты: выключатели не работают, тока нет. В спальнях и душевых – холодрыга. Воспитатель приносит свечи. Весь бензин отправляют на фронт, все меньше машин въезжает в школьные ворота. Еду привозят в тележке, запряженной стареньким мулом; у него сквозь шкуру видны все ребра.

Уже не первый раз Вернер, разрезая сосиску на тарелке, видит там розовых извивающихся червяков. Форма у новых кадетов из жесткой дешевой ткани, хуже, чем у него. По мишеням больше не стреляют – нет патронов. Вернер почти ждет, что Бастиан начнет выдавать им палки и камни.

И тем не менее все новости – хорошие. «Мы на подступах к Кавказу, – сообщает радио Гауптмана, – мы захватили нефтяные месторождения, мы скоро возьмем Шпицберген. Мы продвигаемся стремительно. Пять тысяч семьсот русских убиты, потери с немецкой стороны – сорок пять человек».

Каждые шесть-семь дней те же двое бледных унтер-офицеров входят в столовую, и четверста лиц сереют от усилий не повернуться в их сторону. Двигаются только глаза, только мысли, кадеты в уме отслеживают путь офицеров между столами, к очередному осиротевшему мальчику.

Кадет, за чьей спиной они останавливаются, изо всех сил делает вид, будто ничего не заметил. Он подносит вилку ко рту и жует. Тогда тот унтер-офицер, что повыше, кладет ему руку на плечо. Мальчик оборачивается с набитым ртом и вместе с унтер-офицерами выходит из столовой. Большие дубовые двери со скрипом закрываются, а все оставшиеся шумно выдыхают и возвращаются к жизни.

У Рейнхарта Вельманна погиб отец. У Карла Вестергольца погиб отец. У Мартина Буркхарда погиб отец, и Мартин – в тот же день, когда унтер-офицер тронул его за плечо, – говорит всем, что счастлив. «Разве не все когда-нибудь умрут? – восклицает он. – И разве не каждый мечтает погибнуть в бою? Вымостить собой дорогу к победе?» Вернер тщетно ищет сомнения в его глазах.

Самого Вернера сомнения мучат беспрестанно. Расовая чистота, политическая чистота – Бастиан постоянно обличает всякое разложение, но разве (думает Вернер в ночи) жизнь по своей сути – не разложение? Ребенок рождается, и мир начинает его менять. Что-то у него отнимает, что-то в него вкладывает. Каждый кусок пищи, каждая частица света, входящая в глаз, – тело не может быть вполне чистым. Но именно поэтому, настаивает комендант, рейх измеряет им носы, оценивает цвет волос по таблицам.

В замкнутой системе энтропия не уменьшается.

По ночам Вернер смотрит на койку Фредерика: на тонкие доски и грязный матрас.

Теперь там спит уже другой новенький. Дитер Фердинанд, маленький мускулистый паренек из Франкфурта, выполняющий все, что требуют, с пугающим остервенением.

Кто-то кашляет, кто-то стонет во сне. Далеко за озерами одиноко гудит поезд. Поезда идут на восток, всегда на восток, за холмы, на широкий истоптанный простор фронта. Они идут даже тогда, когда Вернер спит. Стуча, проезжают катапульты истории.

Вернер зашнуровывает ботинки, поет песни и марширует, не столько по принуждению, сколько по застарелой привычке к исполнительности. Бастиан идет вдоль сидящих за столами кадетов:

– Что хуже смерти, ребята?

Поднимает какого-то бедолагу.

– Трусость! – отвечает тот.

– Трусость, – соглашается Бастиан, и мальчишка садится, а комендант идет дальше, довольный, кивая самому себе.

В последнее время он все проникновеннее говорит о фюрере и о том, что фюреру нужно: молитвы, нефть, верность. Фюреру нужны стойкость, электричество, кожа для сапог. Приближаясь к шестнадцатому дню рождения, Вернер все отчетливее понимает, что на самом деле фюреру нужны мальчишки. Они длинными колоннами шагают к конвейеру. Отдай фюреру сливки, сон, алюминий. Отдай отцов Рейнхарта Вельманна, Карла Вестергольца и Мартина Буркхарда.

В марте сорок второго доктор Гауптман вызывает Вернера к себе в кабинет. Пол заставлен недоуложенными ящиками. Гончих не видать. Маленький учитель расхаживает из угла в угол и не замечает Вернера, пока тот не подает голос. Вид у Гауптмана такой, будто его медленно куда-то засасывает, а он ничего поделывать не может.

– Меня вызвали в Берлин. Хотят, чтобы я продолжил работу там.

Гауптман берет с полки песочные часы и ставит в ящик. Пальцы с аккуратными ногтями повисают в воздухе.

– Все будет, как вы мечтали, герр доктор. Лучшее оборудование, лучшие умы.

– Свободны, – говорит доктор Гауптман.

Вернер выходит в коридор. За окном на заснеженном плацу тридцать первогодков бегут на месте, выпуская короткоживущие облачка морозного пара. Толстомордый отвратительный Бастиан что-то орет. Поднимает короткую руку – мальчишки поворачиваются на каблуках, вскидывают винтовки над головой и бегут на месте еще быстрее, сверкая голыми коленками в лунном свете.

Посетители

В доме номер четыре по улице Воборель звенит электрический звонок. Этьен Леблан, мадам Манек и Мари-Лора разом перестают жевать. Каждый думает: «Меня разоблачили». Передатчик на чердаке, женщины в кухне, сотня походов к океану.

– Вы кого-нибудь ждете? – спрашивает Этьен.

– Никого, – отвечает мадам Манек.

Женщины вошли бы через кухонную дверь.

Все трое идут в прихожую. Мадам открывает дверь.

Французские полицейские, двое. Объясняют, что прибыли по просьбе Парижского музея естествознания. От скрипа их каблуков по доскам прихожей только что не вылетают стекла. Первый что-то жует – яблоко, решает Мари-Лора. От второго пахнет кремом для бритья. И жареным мясом. Как будто они только что обжирались.

Все пятеро – Этьен, Мари-Лора, мадам Манек и полицейские – сидят на кухне за квадратным столом. От овощного рагу полицейские отказались. Первый прочищает горло.

– Справедливо или нет, – начинает он, – его осудили за кражу и участие в преступном сговоре.

– Все заключенные, политические и уголовные, – говорит второй, – направляются на принудительные работы, даже если не приговорены к ним.

– Музей разослал письма всем начальникам тюрем в Германии.

– Мы до сих пор не знаем, в какой он тюрьме.

– Мы предполагаем, что в Брайтенау.

– Мы уверены, что настоящего суда не было.

Из-за спины у Мари-Лоры взмывает голос Этьена:

– Это хорошая тюрьма? Я хочу сказать, она лучше других?

– Боюсь, хороших немецких тюрем не бывает.

По улице проезжает грузовик. В пятидесяти метрах отсюда волны накатывают на Пляж-дю-Моль. Мари-Лора думает: они просто произносят слова. А что такое слова? Просто звуки, которые эти люди производят своим дыханием, невесомый пар, который они выпускают в воздух кухни, чтобы обмануть и сбить с толку. Она говорит:

– Вы ехали так долго, чтобы сообщить то, что мы и без вас знали?

Мадам Манек берет ее за руку.

Этьен произносит тихо:

– Мы не знали про Брайтенау.

– Вы сообщили музею, что он сумел передать вам из тюрьмы два письма, – говорит первый полицейский.

– Можно на них взглянуть? – спрашивает второй.

Этьен уходит наверх, радуясь, что кто-то занялся поисками его племянника. Мари-Лора тоже должна бы радоваться, но на нее почему-то накатывают подозрения. Она вспоминает, как отец сказал в Париже, в ночь немецкого вторжения, когда они ждали поезда: «Каждый за себя».

Первый полицейский выковыривает из зубов кусочек яблока. Они смотрят на нее? От их близости ее мутит. Возвращается Этьен с письмами, слышно, как листки переходят из рук в руки.

– Он что-нибудь говорил перед отъездом?

– О каком-нибудь конкретном деле или поручении, про которое нам следует знать?

У них прекрасный парижский выговор, но поди угадай, кому они служат. Нельзя доверять никому, кроме тех, в чьих руках и ногах течет та же кровь, что в ваших. У Мари-Лоры такое чувство, будто они все пятеро в мутном аквариуме, полном рыб, безостановочно поводящих плавниками.

Она говорит:

– Мой отец не вор.

Мадам Манек стискивает ей руку.

– Он думал о своей работе, о дочери. О Франции, конечно, – говорит Этьен. – Как всякий человек.

– Мадемуазель, – первый полицейский обращается прямо к Мари-Лоре, – упоминал ли он что-нибудь конкретное?

– Нет.

– У него в музее было много ключей.

– Он сдал их перед отъездом.

– Можно нам посмотреть то, что он привез с собой?

– Например, его чемоданы, – подхватывает второй.

– У него был один рюкзак, с которым он и уехал, когда директор попросил его вернуться, – говорит Мари-Лора.

– Можно нам все равно посмотреть?

Мари-Лора чувствует, как напряжение в кухне нарастает. Что они рассчитывают найти? Она думает про радиооборудование наверху: микрофон, передатчик, все эти шкалы, тумблеры и провода.

– Можете осмотреть что хотите, – говорит Этьен.

Полицейские заходят во все комнаты. Третий этаж, четвертый, пятый. На шестом открывают огромный платяной шкаф в дедушкиной спальне, затем пересекают лестничную площадку и стоят над макетом Сен-Мало в комнате Мари-Лоры, что-то говорят друг другу шепотом и спускаются в кухню.

Они задают только один вопрос: о трех флагах «Свободной Франции» в кладовке второго этажа. Зачем Этьен их держит?

– Вы подвергаете себя опасности, храня дома такие вещи, – говорит полицейский.

– Власти могут счесть вас террористом, – добавляет второй. – Людей арестовывали за меньшее.

Угроза это или дружеский совет – понять трудно. Кого он имел в виду, говоря, что арестовывали за меньшее? Папу?

Полицейские заканчивают обыск, очень вежливо прощаются и уходят.

Мадам Манек закуривает.

У Мари-Лоры в тарелке все остыло.

Этьен возится с каминной решеткой. Один за другим отправляет флаги в огонь:

– Хватит. Хватит. – Второй раз он произносит это слово громче. – Только не здесь.

Голос мадам Манек:

– Они ничего не нашли. Тут ничего и не было.

Кухню заполняет едкий запах горячей ткани.

Дядюшка говорит:

– Со своей жизнью, мадам, можете делать что угодно. Вы всегда помогали мне, и я постараюсь помочь вам. Однако я запрещаю вам заниматься этим в моем доме. И запрещаю вовлекать в ваши дела мою племянницу.

* * *

Дорогая Ютта!

Все очень сложно. Даже бумагу трудно [REDACTED] У нас [REDACTED] не топят в [REDACTED] Фредерик говорил, что никакой свободной воли нет, что жизнь каждого predetermined, как [REDACTED] и что моя ошибка [REDACTED] Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь. Целую тебя и фрау Елену. Зиг хайль.

Лягушка сварится

Всю следующую неделю мадам Манек очень мила и любезна. Почти каждое утро водит Мари-Лору к морю, берет ее с собою на рынок. Однако она здороваается с Этьеном и Мари-Лорой рассеянно-вежливо, как с чужими. Иногда пропадает на полдня.

Дни Мари-Лоры стали более долгими, одинокими. Как-то вечером она сидит за кухонным столом, а дедушка читает вслух:

«Яйца улиток невероятно живучи. То же относится к самим улиткам. Мы наблюдали их вмерзшими в глыбы льда, и тем не менее под действием тепла они оттаивали и возвращались к жизни».

Этьен прерывает чтение:

– Надо приготовить ужин. Похоже, мадам сегодня не придет.

Оба сидят не шевелясь. Этьен читает следующую страницу:

«Они годами хранились в контейнерах для образцов, однако, стоило их смочить, принимались ползать и выглядели вполне здоровыми... Треснутая раковина, даже если часть ее отколота, со временем восстанавливается за счет отложения вещества панциря в поврежденных местах».

– Для меня еще есть надежда! – смеется Этьен.

Мари-Лора вспоминает, что дядюшка не всегда был таким боязливым, что он прожил целую жизнь до этой войны и до прошлой тоже. Что когда-то он был молодым и любил мир, в котором живет, как любит она сейчас.

Наконец через кухонную дверь входит мадам Манек и запирает ее за собой. Этьен довольно холодно говорит: «Добрый вечер», и мадам после недолгой паузы отвечает. Где-то в городе немцы заряжают оружие или пьют коньяк, а вся история обратилась в кошмар, от которого Мари-Лоре отчаянно хочется очнуться[32].

Мадам Манек снимает чайник с крюка, наливает воду. Слышен звук, с которым нож входит во что-то вроде картошки, стук лезвия о деревянную разделочную доску.

– Прошу вас, мадам, позвольте мне, – говорит Этьен. – Вы очень устали.

Однако он не встает, и мадам продолжает резать картошку, а потом краем ножа сталкивает ее в воду. От напряжения в кухне у Мари-Лоры кружится голова, как будто она ощущает вращение планеты.

– Много потопили сегодня немецких подлодок? – тихо спрашивает Этьен. – Взорвали хоть один танк?

Мадам Манек рывком открывает дверцу холодильника. Потом Мари-Лора слышит, как мадам роется в ящике. Чиркает спичка. Запах табачного дыма. Вскоре перед Мари-Лорой появляется тарелка с недоваренными картофелинами. Она ищет на скатерти вилку, но не находит.

– А знаете, Этьен, – говорит мадам Манек с другого конца кухни, – что будет, если лягушку бросить в кипяток?

– Расскажите.

– Она выпрыгнет. А знаете, что будет, если посадить лягушку в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревать до кипения? Знаете?

Мари-Лора ждет. От картошки идет пар.

– Лягушка сварится, – говорит мадам Манек.

Приказы

Одиннадцатилетний кадет в полной парадной форме подходит к Вернеру и сообщает, что тот должен явиться к коменданту. Вернер ждет на деревянной скамье, и в нем медленно нарастает паника. Они что-то заподозрили. Может быть, выяснили про его родителей что-то, чего он не знал, что-то ужасное. Он вспоминает, как ефрейтор пришел в сиротский дом, чтобы отвести его к герру Зидлеру, и тогдашнюю уверенность, что слуги рейха видят сквозь стены, сквозь кожу, знают, что у каждого в душе.

После нескольких часов ожидания помощник коменданта вызывает его, откладывает в сторону авторучку и смотрит на Вернера через стол, будто тот – одно из мелких недоразумений, которые предстоит уладить.

– Кадет, наше внимание привлекли к тому факту, что ваш возраст был указан неверно.

– Простите?

– Вам восемнадцать. Не шестнадцать, как вы утверждали.

Вернер ошарашен. Нелепость утверждения очевидна: он и сейчас ниже большинства четырнадцатилеток.

– Наш бывший преподаватель технических наук доктор Гауптман привлек наше внимание к этому расхождению. По его настоянию вас отправят в особую техническую дивизию вермахта.

– Дивизию, господин помощник коменданта?

– Вы попали сюда обманом. – Голос масляный и довольный, подбородка нет вообще.

За окном школьный оркестр репетирует триумфальный марш. Нордической внешности мальчик сгибается под тяжестью тубы.

– Комендант хотел прибегнуть к дисциплинарным мерам, но доктор Гауптман предположил, что вы будете рады предложить свои умения рейху.

Помощник коменданта вынимает из-за стола сложенную темно-серую форму: на груди орел, на воротнике нашивки. Затем – зеленую каску, очевидно чересчур большую.

Оркестр умолкает. Учитель музыки выкрикивает имена.

– Вам очень повезло, кадет. Служить – честь.

– Когда, господин помощник коменданта?

– Вы получите инструкции в течение двух недель. Пока все.

Воспаление легких

Бретонская весна, и на побережье вторгается сырость. Туман над морем, туман на улицах, туман в голове. Мадам Манек заболела. Мари-Лора прикладывает руку к ее груди и чувствует жар, как от печки. Дыхание клокочет, как океан.

– Я смотрю за сардинами, – шепчет мадам, – и за термитами, и за воронами...

Этьен вызывает врача. Тот прописывает аспирин, покой и ароматические фиалковые леденцы. Мари-Лора сидит рядом с больной в самые страшные часы, когда у той холодеют руки и она бормочет, что в ответе за весь мир. В ответе за все, только никто этого не знает. Никто не знает, какое это тяжкое бремя – отвечать за каждого родившегося младенца, за каждый падающий с дерева лист, за каждую волну на берегу, за каждого муравьишку, спешащего в муравейник...

Глубоко в голосе мадам Мари-Лора различает воду: атоллы, архипелаги, лагуны и фьорды.

Этьен оказывается замечательной сиделкой. Мокрые тряпки на лоб, бульон, страничка из Пастера или Руссо. Он явно простил ей все грехи, прошлые и настоящие. Этьен закутывает мадам в одеяла, но по временам она дрожит так, что он накрывает ее большим тяжелым ковром с пола.

* * *

Дорогая моя Мари-Лора!

Ваши посылки, отправленные с интервалом в месяц, пришли сразу обе. «Радость» – слишком слабое слово. Мне разрешили оставить себе зубную щетку и расческу, хотя бумагу, в которую они были завернуты, забрали. Мыло тоже забрали. Как я жалею, что нам не дают мыла! Обещали, что мы будем работать на шоколадной фабрике, а отправили на картонажную. Целый день мы делаем картон. И зачем им столько?

Всю мою жизнь, Мари-Лора, я ходил с ключами. Теперь я слышу их звяканье по утрам, когда приходят нас выводить, и машинально сую руку в пустой карман.

Мне часто снится музей.

Помнишь твои дни рождения? Как утром на столе тебя всегда ждали два подарка? Мне жаль, что все так обернулось. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена внутри дома. Я знаю, что ты поступишь правильно, хотя мне хотелось бы подарить тебе что-нибудь получше.

Мой ангел уезжает, так что я постараюсь передать эту весточку. За тебя я не боюсь, потому что знаю: ты очень смелая и можешь о себе позаботиться. Я тут в полной безопасности, так что и ты за меня не бойся. Поблагодари Этьена за то, что прочел тебе это письмо. Мысленно поблагодари храброго человека, который доставит тебе мое письмо.

Твой папа

Лечение

Врач рассказывает фон Румпелю про удивительные эксперименты с горчичным газом. О том, что сейчас изучают противоопухолевые свойства самых разных химикатов. Результаты обнадеживают: у многих пациентов в тестовой группе лимфомы уменьшились в размере. Однако от уколов у фон Румпеля слабость и головокружение. В следующие дни он едва находит силы причесаться, еле заставляет пальцы застегнуть пуговицы. Сознание играет с ним глупые шутки: он входит в комнату и забывает, зачем туда шел. Смотрит на вышестоящего и не помнит, что тот сейчас сказал. Звук проезжающих машин – будто зубьями вилки по нервам.

Сегодня он завернулся в гостиничный плед и заказал суп в номер. Перед ним посылка из Вены. Бурая мышка-секретарша прислала Тавернье, Стритера и даже – что еще лучше! – факсимильную копию «Gemmarum et Lapidum Historia»[33] Ансельма де Боодта, 1604 года, написанную целиком на латыни. Все, что удалось найти о Море огня. Общим счетом девять абзацев. Очень трудно собраться с мыслями и вникнуть в текст. Богиня земли полюбила морского бога. Царевич излечился от страшных ран и правил, окруженный слепящим облаком света. Фон Румпель закрывает глаза и видит, как огненновласая богиня бежит по глубоким пещерам, роняя за собой капли пламени. Слышит, как безъязыкий жрец произносит: «Владелец камня будет жить вечно». Слышит слова своего отца: «Смотри на препятствия как на ступеньки к победе, Рейнгольд. Черпай в них вдохновение».

Рай

В следующие недели мадам Манек лучше. Она обещает Этьену, что будет помнить про свой возраст, не станет делать все за всех и в одиночку освобождать Францию. Как-то в начале июня, ровно через два года после начала оккупации, они идут через луг, заросший дикой морковью, к востоку от Сен-Мало. Мадам Манек сказала Этьену, что хочет узнать, не появилась ли на рынке в Сен-Серване клубника, но Мари-Лора почти уверена, что женщина, с которой они поздоровались по дороге, уронила конверт, а мадам Манек его подняла и оставила взамен другой.

Мадам предлагает полежать в траве. Мари-Лора слушает копошение пчел в цветах и пытается вообразить то, что рассказывал ей Этьен: каждая работница летит по ручейку запаха, оставленному товарками, высматривает ультрафиолетовый узор лепестков, наполняет корзинки на задних лапках шариками пыльцы, а потом, пьяная и отяжелевшая, отыскивает дорогу домой.

Откуда они знают свои обязанности, эти пчелки?

Мадам Манек снимает туфли, закуривает и блаженно стонет. Гудят насекомые: осы, журчалки, одинокая стрекоза. Этьен научил Мари-Лору отличать их по звуку.

– Что такое ротатор, мадам?

– Машинка для листовок.

– А как он связан с женщиной, которую мы встретили по дороге?

– Пусть тебя это не волнует, золотко.

Ржут лошади; прохладный ветерок с моря несет множество запахов.

– Мадам, как я выгляжу?

– У тебя тысячи веснушек.

– Папа говорил, они как звезды на небе. Как яблоки на дереве.

– Просто маленькие бурые пятнышки. Тысячи маленьких бурых пятнышек.

– Как ты рассказываешь, они некрасивые.

– У тебя они прекрасны.

– Как вы думаете, мадам, в раю мы правда увидим Бога лицом к лицу?

– Может быть.

– А слепые?

– Думаю, когда Бог хочет, чтобы мы что-то видели, мы это видим.

– Дядюшка Этьен говорит, рай – это вроде одеялка, за которое держится младенец. Что люди поднимались на самолете на десять километров в небо – и там ничего нет. Ни врат, ни ангелов.

Мадам Манек раздражается приступом кашля, от которого Мари-Лору пробирает дрожь страха.

– Ты думаешь про своего папу, – говорит она наконец. – Ты должна верить, что он вернется.

– А вы никогда не уставали верить, мадам? Не хотели доказательств?

Мадам Манек кладет ей на лоб тяжелую ладонь, про которую Мари-Лора когда-то подумала, что это рука садовника или геолога.

– Обязательно надо верить. Это главное.

Дикая морковь колышется на клубнях, пчелы заняты своей работой. Вот бы жизнь была как роман Жюль Верна, думает Мари-Лора, чтобы можно было пролистать страницы и узнать, что дальше.

– Мадам?

– Да, Мари.

– Как по-вашему, что в раю едят?

– Я сомневаюсь, что там едят.

– Не едят! Вам там не понравится!

Однако мадам Манек не смеется шутке. И не отвечает. Слышно только ее тяжелое дыхание.

– Я обидела вас, мадам?

– Нет, золотко.

– Мы в опасности?

– Не больше обычного.

Трава клонится и шуршит. Лошади ржут. Мадам Манек говорит почти шепотом:

– Теперь, когда ты спросила, мне подумалось, что в раю примерно как здесь.

Фредерик

На последние деньги Вернер купил билет. День довольно ясный, но Берлин словно не хочет принимать солнце, как будто за прошедшие месяцы дома стали мрачнее и грязнее. Хотя, возможно, изменения в глазах смотрящего.

Прежде чем нажать кнопку звонка, Вернер трижды обходит дом. Окна одинаково темны: не горят или заклеены, отсюда не видно. Всякий раз он проходит мимо магазинной витрины с голыми манекенами и, хотя понимает, что это эффект освещения, невольно видит трупы, подвешенные на проволоку.

Наконец Вернер нажимает звонок квартиры номер два. Тишина. Только тут он по табличке с фамилиями видит, что семья Фредерика переехала из второй квартиры в пятую.

Он жмет кнопку. Внутри звенит звонок.

Лифт не работает, и Вернер идет наверх пешком.

Дверь открывает Фанни, с тем же белым пухлым лицом, с теми же складками кожи на дряблых руках. Она смотрит на Вернера таким взглядом, каким один затравленный человек смотрит на другого. Из боковой комнаты выбегает мать Фредерика в теннисном костюме:

– Ой, Вернер...

Она уходит в какое-то тягостное раздумье. Вокруг стильная мебель, частью замотанная толстыми шерстяными одеялами. Винит ли она его? Считает ли его в какой-то мере соучастником? А он сам?

Тут она, опомнившись, целует его в обе щеки. Нижняя губа у нее немного дрожит. Как будто его внезапное появление разбредило что-то, от чего она хочет отгородиться.

– Он тебя не узнает. Не пытайся ему напомнить. Это его только огорчит. И все равно хорошо, что ты приехал. Я как раз собиралась уходить, извини, что не могу остаться. Проводи его в дом, Фанни.

Горничная ведет его в большую гостиную, где под потолком вьются затейливые завитушки лепнины, а стены покрашены в нежнейший голубой цвет. Картины еще не повешены, полки в шкафах пустые, на полу – открытые картонные коробки. Фредерик

сидит за стеклянным столом в дальнем конце комнаты; среди общего разгрома и мальчик, и стол кажутся очень маленькими. Челка зачесана набок, свободная рубашка стоит горбом, воротник перекосячен. Он не поднимает глаз посмотреть, кто вошел.

На нем все те же очки в черной оправе. Видимо, его только что кормили: на столе лежит ложка, на усиках Фредерика и на салфетке со счастливыми розовощекими детьми в деревянных башмаках – комки овсянки. Вернер не может на него смотреть.

Фанни наклоняется и запихивает Фредерику в рот еще три ложки овсянки, вытирает ему подбородок, складывает салфетку и через вращающуюся дверь уходит куда-то – наверное, на кухню. Вернер стоит, скрестив руки на животе.

Год. Даже больше. Вернер понимает, что Фредерик уже бреется. Или кто-то его бреет.

– Здравствуй, Фредерик.

Фредерик запрокидывает голову и вдоль носа смотрит на Вернера через захватанные стекла очков.

– Я Вернер. Твоя мама сказала, что ты, наверное, меня не вспомнишь. Я твой школьный товарищ.

Фредерик смотрит не на Вернера, а сквозь него. На столе – стопка бумаги. На верхнем листе коряво нарисована толстая спираль.

– Это ты нарисовал?

Вернер поднимает верхний рисунок. Под ним еще и еще – тридцать или сорок спиралей, каждая занимает целый лист, каждая прочерчена тем же толстым грифелем. Фредерик упирается подбородком в грудь – возможно, это кивок. Вернер оглядывается: сундук, комод, нежно-голубые стены, кипенно-белый потолок. В высокие окна льется свет, пахнет порошком для чистки серебра. Квартира на пятом этаже и впрямь куда лучше, чем на втором, – потолок выше и украшен лепниной: фрукты, цветы, банановые листья. Рот у Фредерика приоткрыт, слюни текут по подбородку и каплют на бумагу. Вернер больше не в силах это выносить. Он зовет горничную. Фанни появляется из вращающейся двери.

– Где, – спрашивает Вернер, – та книга? Про птиц, в золотом футляре.

– У нас не было такой книги.

– Нет, была...

Фанни только мотает головой и сцепляет пальцы на животе.

Вернер открывает картонные коробки, заглядывает внутрь:

– Точно она где-нибудь здесь.

Фредерик принялся рисовать на чистом листе новую спираль.

– Может, тут?

Фанни подступает к Вернеру и отводит его руки от коробки, которую тот собрался открыть.

– У нас, – повторяет она, – никогда не было такой книги.

У Вернера начинает зудеть все тело. За большими окнами качаются липы. Темнеет.

Негорящая электрическая реклама через два дома гласит: «Берлин курит „Юно“». Фанни уже ушла на кухню.

Фредерик, зажав карандаш в кулаке, рисует новую грубую спираль.

– Я уйду из Шульпфорты, Фредерик. Мне изменили возраст и отправляют меня на фронт.

Фредерик поднимает карандаш, смотрит на грифель и вновь принимается рисовать.

– Меньше чем через неделю.

Фредерик двигает ртом, как будто жует воздух.

– Ты прекрасно выглядишь, – говорит он, не глядя на Вернера. Слова похожи на всхлипы. – Ты прекрасно выглядишь, мама.

– Я не твоя мама! Брось! – шипит Вернер.

Выражение у Фредерика совершенно безыскусное. Где-то в кухне подслушивает горничная. Больше никаких звуков: не ездят машины, не летают самолеты, не грохочут трамваи, не бубнит радио, призрак фрау Шварценбергер не лязгает дверьми лифта. Ни пения, ни скандирования, ни лозунгов, ни оркестров, ни труб, ни матери, ни отца, ни жирного коменданта у тебя за спиной. Вернер смотрит на голубые стены и думает о «Птицах Америки»: желтоголовой квакве, кентуккском масковом певуне, красно-черной пиранге, о сотнях птиц в ярком оперении, а взгляд Фредерика по-прежнему устремлен в одну точку, его глаза – стоячие лужицы, в которые Вернер не отваживается глядеть.

Рецидив

В конце июня сорок второго года Мари-Лора, спустившись утром в кухню, не застаёт там мадам Манек – первый раз со времени ее болезни. Неужели она уже ушла на рынок? Мари-Лора стучится к ней в комнату, ждет сто сердцебиений. Открывает черную дверь, кричит в проулок. Дивное июньское утро. Голуби и кошки. Смех из соседского окна.

– Мадам!

Сердце ускоряет темп. Она опять стучит в дверь:

– Мадам!

Входя, она первым делом слышит хрип. Как будто усталые волны ворочают камни в старушечьих легких. От кровати идет кислый запах мочи и пота. Мари-Лора находит лицо мадам; щеки такие горячие, что она отдергивает руку и бежит наверх, спотыкаясь, крича: «Дядя! Дядя!» В ее воображении весь дом пылает алым, под потолком дым, огонь взбирается по стенам.

Этьен, хрустя суставами, опускается на колени рядом с мадам, потом спешит к телефону и произносит несколько слов. Возвращается бегом. В следующий час кухню заполняют женщины: мадам Рюэль, мадам Фонтино, мадам Эбрар. На первом этаже чересчур тесно; Мари-Лора ходит вверх-вниз по лестнице, словно внутри огромной завитой раковины. Врач приходит и уходит. Иногда кто-нибудь из старух сухощавой рукой обнимает Мари-Лору за плечи. Ровно в ту минуту, когда соборный колокол

начинает бить два, доктор возвращается с человеком, от которого пахнет землей и клевером. Этот человек говорит: «Здравствуйте», потом поднимает мадам Манек на руки, выносит из дома и грузит на телегу, словно мешок с крупой. Стук подков удаляется, врач сдергивает с кровати простыни, а Этьен сидит в уголке кухни и шепчет: «Мадам умерла, мадам умерла».

6. 8 августа 1944 г.

В доме кто-то есть

Присутствие, дуновение. Мари-Лора направляет все чувства на вход тремя этажами ниже. Хлопает, закрываясь, решетка ворот, потом входная дверь.

В голове звучит папин голос: Сперва решетка, затем дверь. Значит, этот человек, кто бы он ни был, вошел, а не вышел. Он в доме.

По спине бегут мурашки.

Этьен знал бы, что задел проволоку, Мари. Он бы уже тебя окликнул.

Тяжелые шаги в фойе. Хруст битых тарелок под ногами.

Это не Этьен.

Страх настолько силен, что его почти невозможно вынести. Мари-Лора уговаривает себя успокоиться, воображает горящую свечу в центре своей грудной клетки, улитку в раковине, но сердце колотится, волны ужаса расходятся вдоль позвоночника. Она внезапно вспоминает, что ни разу не спросила, можно ли из прихожей увидеть площадку третьего этажа. Дядя как-то говорил, что надо остерегаться мародеров. Воздух наполняется фантомными шорохами. Что, если вбежать в затянутую паутиной уборную третьего этажа и выпрыгнуть в окно? Шаги в коридоре. Звенит задетая ногой тарелка.

Пожарный, сосед, немецкий солдат в поисках еды?

Спасатель давно подал бы голос, *ma chérie*. Тебе надо выбираться отсюда. Прятаться.

Шаги движутся к спальне мадам Манек. Медленные шаги, – возможно, там темно. Неужто уже ночь?

Проходят пять, шесть или семь миллионов сердцебиений. У нее есть трость, пальто Этьена, две банки, нож и кирпич. Макет дома в кармашке платья. Камень внутри макета. Вода в ванне дальше по коридору.

Давай. Вперед.

Кастрюля или сковородка со звоном перекатывается по кафельной плитке. Он выходит из кухни. Возвращается в прихожую.

Замри, *ma chérie*. Постой.

Она правой рукой находит перила. Незвестный подходит к лестнице. У Мари-Лоры чуть не вырывается крик. И тут – как раз когда он ставит ногу на первую ступеньку – Мари-Лора замечает, что походка у него неровная. Раз – пауза – два, раз – пауза – два. Она уже слышала эту поступь. Хромающий немецкий фельдфебель с мертвым голосом.

Вперед!

Мари-Лора ступает как можно осторожнее, радуясь теперь, что не нашла туфель. Сердце так бешено стучит о ребра, что она уверена: человек внизу вот-вот услышит.

Четвертый этаж. Каждый шаг – шелест. Пятый. На площадке шестого этажа она замирает под люстрой и прислушивается. Немец поднялся на три или четыре ступеньки и остановился, хрипло дыша. Пошел дальше. Деревянные ступени жалобно стонут под его весом: кажется, будто он топчет какого-то мелкого зверька.

Он останавливается на площадке третьего этажа, где пол еще хранит тепло ее тела, а в воздухе еще висит ее дыхание.

Куда бежать?

Прячься.

Слева бывшая комната деда. Справа – ее спальня с выбитым окном. Прямо впереди – уборная. Повсюду еще чувствуется слабый запах дыма.

Шаги пересекают площадку. Раз – пауза – два, раз – пауза – два. Надсадное дыхание. Снова шаги.

«Если он меня тронет, – думает Мари-Лора, – я вырву ему глаза».

Она открывает дверь в дедушкину комнату и замирает. Человек внизу снова остановился. Услышал ли он ее? Не пытается ли ступить тише? Снаружи столько укрытий – сады, полные ярким зеленым ветром, царства живых изгородей, глубокие озера лесной тени, где бабочки порхают, думая только о нектаре. И ни до одного из них ей не добраться.

Она находит огромный платяной шкаф в дальнем конце комнаты, открывает зеркальные дверцы, отводит в сторону рубашки на вешалках и сдвигает панель в задней стенке – дверь, которую проделал Этьен. Втискивается в узкое помещение с лестницей. Затем высовывает руки наружу, нащупывает дверцы и закрывает их.

Защити меня, камень, если ты и впрямь это можешь.

Тихо, говорит папин голос. Как мышка.

Одной рукой Мари-Лора находит щеколду, которую Этьен привинтил к сдвижной панели. Двигает ее по сантиметрику, до щелчка, потом набирает в грудь воздуха и удерживает его, сколько хватает сил.

Смерть Вальтера Бернда

Целый час Бернд бредит. Потом умолкает, и Фолькхаймер говорит: «Господи, милостив буди рабу Твоему». Однако только что Бернд сел и потребовал света. Они вылили ему в рот остатки воды из первой фляжки. Струйка течет сквозь его усы, Вернер провожает ее взглядом.

В свете фонаря Бернд переводит взгляд с Фолькхаймера на Вернера и обратно.

– В последнюю увольнительную, – говорит он, – я навещал отца. Он очень старый. Он был старым всю мою жизнь, но тогда показался мне еще старше. Через кухню шел целую вечность. У него была упаковка печенья, мелкого миндального печенья. Он положил его на тарелку, прямо в упаковке. Мы так ее и не открыли. Он сказал: «Тебе не обязательно сидеть со мной. Мне это было бы приятно, но я понимаю, ты наверняка хочешь повидаться с друзьями. Если так, то иди». Он много раз это повторил.

Фолькхаймер выключает фонарь. У Вернера такое чувство, будто что-то затаилось во тьме и ждет.

– Я ушел, – продолжает Бернд. – Спустился по лестнице и вышел на улицу. Мне некуда было идти. Не к кому. У меня не осталось друзей в том городе. Я целый день тащился к отцу на поездах с пересадками. И все равно просто встал и ушел.

Потом он умолкает. Фолькхаймер кладет его на пол и укрывает одеялом Вернера. Довольно скоро Бернд перестает дышать.

Вернер берется за радио. Может быть, ради Ютты, как сказал Фолькхаймер, может, чтобы не видеть, как Фолькхаймер относит Бернда в угол и кладет кирпичи ему на руки, на грудь, на лицо. Вернер держит фонарь в зубах и собирает все, что может найти: маленький молоток, три банки винтов, шнур от разбитой настольной лампы. В одном из развороченных металлических шкафов чудом обнаруживается одиннадцативольтная соляная батарейка с изображением черной кошки на боку. Американская. Рекламный девиз обещает девять жизней. Вернер ошеломленно светит на нее садящимся фонариком. Осматривает ее, проверяет контакты – вроде живая. Когда окончательно сядет батарейка в фонаре, у них будет замена.

Вернер поднимает упавший верстак. Ставит на него рацию. Надежды особой нет, но хоть какое-то занятие для ума. Он снова берет фонарь в зубы и старается не думать о голоде и жажде, о глухоте в левом ухе, о Бернде в углу, об австрийцах наверху, о Фредерике, о фрау Елене, о Ютте.

Антенна. Блок настройки. Конденсатор. За работой мозг почти спокоен. Сила привычки.

Спальня на шестом этаже

Фон Румпель, хромая, обходит комнаты. Пожелтелая лепнина на потолке, старинные керосиновые лампы, вышитые занавески, зеркала серебряного века, корабли в бутылках и бронзовые кнопочные выключатели, из которых ни один не работает. Вечерний свет, пробиваясь сквозь дым и щели в ставнях, ложится на все тусклыми алыми полосами. Не дом, а храм Второй империи. Ванна на третьем этаже на две трети заполнена холодной водой. Комнаты на четвертом сплошь заставлены всяким хламом. Пока никаких кукольных домиков. Он, обливаясь потом, поднимается на пятый этаж. Что, если все его догадки ошибочны? Тяжесть в животе мотается из стороны в сторону. Большая пышная комната, наполненная безделушками, ящиками, книгами, деталями каких-то механизмов. Стол,

кровать, диван, по три окна в каждой стене. Макета не видать.

Шестой этаж. Слева – маленькая спальня с одним окном, длинные шторы. На стене висит мальчишеская кепка, у дальней стены – огромный гардероб, внутри пропахшие нафталином рубашки. Назад, на лестничную площадку. Маленький ватерклозет, унитаз с желтой мочой. Дальше – последняя спальня. Раковины разложены рядами везде – на комоды, на подоконнике. На полу – банки с камешками, все расставлено по какой-то непонятной системе. И вот наконец, на низком столе у кровати, то, что он искал, – макет города. Большой, во весь стол, с множеством крохотных домиков. С потолка на улицы насыпалась побелка, но в остальном макет ничуть не пострадал. Уменьшенная копия теперь куда целее своего оригинала. Потрясающая работа.

В комнате дочери. Для нее. Ну разумеется.

С чувством триумфального завершения долгого пути фон Румпель садится на кровать, и две парные вспышки боли взлетают вверх от паха. У него странное ощущение, будто он бывал здесь раньше, жил в такой комнате, спал на такой же продавленной кровати, так же собирал гладкие камешки и раскладывал их по порядку. Как будто все здесь ждало его возвращения.

Он думает о собственных дочерях, о том, как бы им понравился город на столе. Младшенькая позвала бы его встать на колени рядом с ней. «Давай играть, что в домиках сейчас все ужинают, – сказала бы она. – Давай играть, что мы тоже там, папа».

За разбитым окном и ставнями Сен-Мало настолько тих, что фон Румпель слышит, как биение сердца отдается во внутреннем ухе. Над крышами клубится дым. Беззвучно оседает пепел. В любую минуту может вновь начаться бомбардировка. Спокойно. Наверняка алмаз здесь. Мастеру свойственно повторяться.

Макет... алмаз должен быть в макете.

Сборка радио

Один кусок проволоки Вернер закрепляет на обломке трубы, косо торчащем из пола. Слюной очищает проволоку от грязи, сто раз накручивает ее на трубу, снимает – получилась новая катушка. Другой кусок он цепляет к гнутой металлической балке, зажатой в сплошной массе досок, камней и штукатурки над головой.

Фолькхаймер смотрит из полутьмы. Где-то в городе взрывается минометный снаряд, с потолка сыплется пыль.

Вернер подсоединяет диод, затем водит лучом по тому, что получилось. Земля, антенна, детектор. Он зажимает фонарик в зубах, подносит провода наушников к глазам, наматывает их на винты и подключает оголенные концы к схеме. Электроны беззвучно бегут по проволоке.

Дом над ними – или то, что осталось от дома, – издает череду замогильных стонов. Балки хрустят, как будто вся огромная масса держится на какой-то последней щепочке. Как будто стоит стрекозе опуститься сверху, и равновесие нарушится, произойдет обвал, который похоронит их окончательно.

Вернер прижимает наушник к здоровому уху.

Ничего.

Он переворачивает смятый корпус радиации, заглядывает внутрь. Встряхивает садящийся фонарик. Успокоиться. Представить себе распределение тока. Он проверяет лампы, предохранители, разъемы. Щелкает тумблером «прием/передача», сдувает пыль с переключателя. Вставляет батарейку. Заново подсоединяет наушники.

И тут же – словно он опять, восьмилетний, сидит вместе с Юттой на полу сиротского дома – треск. Громкий ровный треск атмосферных помех. Вернер слышит, как сестра произносит его имя, и тут же в памяти возникает другой, неожиданный образ: флаг на доме герра Зидлера, свисающий с подоконника верхнего этажа, новехонький, темно-алый, с черной свастикой посередине.

Вернер наугад крутит настройку. Ни пиканья, ни морзянки, ни голосов. Треск треск треск треск треск. В здоровом ухе, в приемнике, в воздухе. Фолькхаймер смотрит на него неотрывно. В слабом луче фонарика пляшут пылинки: десять тысяч крохотных частиц медленно кружатся и вспыхивают.

На чердаке

Немец захлопывает дверцы шкафа и ковыляет прочь. Мари-Лора на нижней перекладине лестницы считает до сорока. До шестидесяти. До ста. Сердце бьется, гоня по телу насыщенную кислородом кровь, мозг бьется над тем, как выбраться из западни. В памяти возникает фраза, которую Этьен как-то прочел вслух: «Даже сердце, которое у высших животных при опасности начинает биться быстрее, у виноградных улиток в аналогичной ситуации замедляется».

Замедлить сердце. Пусть ноги станут мягкими и бесшумными. Мари-Лора прикладывает ухо к сдвижной панели в задней стенке шкафа. Что там за звуки? Моль жует старые дедушкины рубашки? Все тихо.

На Мари-Лору медленно, нежданно наваливается дремота.

Она нащупывает банки в карманах. Как их открыть, не наделав грохота?

Остается одно – лезть вверх. Семь перекладин – и она в треугольном тоннеле мансарды. Прямо над головой сходятся под углом неструганые доски.

Очень жарко. Ни окна, ни выхода. Некуда бежать. Выбраться отсюда можно лишь одним путем – через шкаф.

Вытянутыми руками Мари-Лора находит старинный таз для бритья, подставку для зонтов, ящик, наполненный неизвестно чем. Доски под ногами в ширину не больше ее ладони. Она по опыту знает, как громко они скрипят.

Ничего не задеть, не уронить.

Если немец снова откроет шкаф, сдвинет одежду, протиснется внутрь и поднимется на чердак, что ей делать? Ударить его по голове подставкой для зонтов? Заколоть разделочным ножом?

Закричать.

Умереть.

Папа.

Она ползет вдоль центральной балки, от которой отходят узкие половицы, к печной трубе в дальнем конце чердака. Центральная балка самая толстая, она должна скрипеть меньше всего. Мари-Лора надеется, что не потеряла направление. Что немец не стоит сзади, нацелив ей в спину пистолет.

За слуховым окошком почти беззвучно пищат летучие мыши, и откуда-то далеко, быть может с военного корабля или из Парамэ, стреляет тяжелое орудие.

Бах! Пауза. Бах! Пауза. Затем долгий свист летящего снаряда и грохот, с которым он взрывается на каком-то из внешних островов.

Из безмысленных глубин выползает отвратительный липкий страх. Из какого-то люка, который надо немедленно захлопнуть, придавить всем телом и закрыть на замок. Мари-Лора снимает пальто и кладет его на пол, не смея даже приподняться: как бы половицы не скрипнули. Бегут минуты. Внизу совершенно тихо. Неужто он уже ушел? Так быстро?

Разумеется, он не ушел. В конце концов, она знает, зачем он здесь.

Слева от нее тянутся электрические провода. Прямо впереди – ящик со старыми записями Этьена. Его фонограф. Старая записывающая машина. Рычаг, которым он поднимал антенну в трубу. Мари-Лора обнимает колени и пытается дышать через кожу. Беззвучно, как улитка. У нее есть две банки. Кирпич. Нож.

7. Август 1942 г.

Пленные

Дистрофичный капрал в протертом хабэ приходит за Вернером на своих двоих. Длинные пальцы, редящие волосы под фуражкой. У одного ботинка нет шнурков, язычок людоедски подрагивает.

– Экий ты маленький, – говорит он.

Вернер, в огромной каске и новой гимнастерке, затянутой ремнем с надписью «Gott mit uns»[34] на пряжке, распрямляет плечи. Капрал щурится на здание школы в рассветных лучах, наклоняется, расстегивает вещмешок Вернера и перерывает три тщательно сложенные НАПОЛАСовские формы. Вытаскивает брюки, разглядывает их на просвет и явно огорчается, что ему они точно не подойдут. Потом забрасывает мешок на плечо, и Вернер не знает, получит ли свои вещи обратно.

– Я – Нойман. Нойман-второй. Есть еще Нойман, шофер. Он первый. Плюс инженер, фельдфебель и ты, так что нас снова пятеро. Уж не знаю, радоваться ли.

Ни фанфар, ни церемоний. Так Вернер становится солдатом вермахта.

Они проходят четыре километра от школы до поселка. В кафетерии над пятью столиками кружат черные мухи. Нойман-второй заказывает две тарелки говяжьей печени и съедает обе, потом ржаными булочками вытирает с тарелок кровь. Губы у него лоснятся. Вернер ждет объяснений — куда они идут, в каком подразделении он будет служить, — однако капрал молчит. Сукно петлиц и погон темно-красное, но Вернер не помнит, что это означает. Мотопехота? Химвойска? Старуха забирает со стола тарелки. Нойман-второй достает из кармана жестяную коробочку, вытряхивает три таблетки и заглатывает все разом. Потом убирает коробочку обратно и смотрит на Вернера:

— От поясницы. Деньги есть?

Вернер мотает головой.

Нойман-второй вытаскивает из кармана несколько замусоленных рейхсмарок. Перед уходом он просит старуху принести дюжину вареных яиц и четыре из них отдает Вернеру.

Из Шульпфорты они едут на поезде через Лейпциг и выходят на пересадочной станции к западу от Лодзи. На перроне лежат пехотинцы — все спят, словно какая-то волшебница наслала на них заклятие. В сумерках выцветшие шинели кажутся призрачными, и мнится, будто спящие дышат в унисон, — пугающее и странное зрелище. То и дело из громкоговорителя звучат названия городов, которые Вернер слышит впервые: Гримма, Вурцен, Гросенхайм, — хотя ни один поезд не прибывает и не отправляется. Нойман-второй сидит, расставив ноги, и ест вареные яйца одно за другим, аккуратно складывая скорлупу в перевернутую фуражку. Темнеет. Храп солдат на перроне — словно прибой. У Вернера такое чувство, будто во всем мире не спят только они двое.

Уже глубоко в ночи на востоке раздается гудок. Солдаты вокруг просыпаются. Вернер сбрасывает полудрему и садится. Нойман-второй уже на ногах. Он стоит, держа согнутые ладони одну над другой, — как будто пытается удержать в них шарик темноты.

Со стуком и лязгом сквозь темноту проносится поезд: сперва черный бронированный локомотив, выдыхающий толстый гейзер дыма и пара, потом несколько вагонов, бронеплощадка с пулеметом, за которым пригнулись двое пулеметчиков. Дальше — только открытые платформы с людьми. Они набиты так плотно, что люди вынуждены стоять — кто-то на ногах, большая часть на коленях. Проезжают две платформы, три, четыре. Каждая спереди защищена от ветра чем-то вроде стены из мешков. Рельсы дрожат под тяжелым составом, тускло поблескивая в темноте. Девять платформ, десять, одиннадцать. Все полные. Мешки выглядят странно, как будто они вылеплены из серой глины.

Нойман-второй вскидывает подбородок и говорит:

— Пленные.

Вернер пытается различить отдельных людей, но платформы едут быстро, и он успевает схватить лишь отдельные детали: впалые щеки, плечо, блеснувший в темноте глаз. На них форма? Те, что впереди, сидят, привалившись к мешкам. Впечатление, будто это пугала и их везут на запад, чтобы поставить на каких-то чудовищных огородах.

Некоторые пленные спят.

Мимо проносится лицо, бледное и восковое, прижатое скулой к полу платформы.

Вернер ошалело моргает. Это не мешки. И не спящие. У каждой платформы впереди — стена из мертвецов.

Как только стало ясно, что поезд не остановится, солдаты вокруг улеглись обратно и закрыли глаза. Нойман-второй зевает. Платформа за платформой; человеческая река льется в ночи. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... зачем считать? Сотни и сотни людей. Тысячи. Наконец в темноте мелькает последняя платформа, за ней еще один пулемет с расчетом из четырех или пяти человек, и вот уже поезд проехал.

Стук колес затихает. Над лесом вновь сгущается тишина. Где-то там Шульпфорта с ее темными башенками, мокрыми простынями, ночными вскриками и мальчишеской злобой. А еще дальше – ревуший левиафан Цольферайна, окна сиротского дома. Ютта.

– Они сидят на умерших товарищах? – спрашивает Вернер.

Нойман-второй сощуривает один глаз и наклоняет голову вбок, словно целится из винтовки вслед поезду.

– Пиф-паф, – говорит он.

Платяной шкаф

В первые дни после смерти мадам Манек Этьен не выходит из своей комнаты. Мари-Лора представляет, как он сидит на кушетке, втянув голову в плечи, бормочет детские стишки и видит шастающих сквозь стены призраков. Тишина за его дверью такая, что Мари-Лоре страшно: не ушел ли он совсем в иной мир?

– Дядя? Этьен?

Мадам Бланшар сводила Мари-Лору в церковь Святого Викентия на отпевание мадам Манек. Мадам Фонтино наварила ей картофельного супа на неделю. Мадам Гибу принесла варенья. Мадам Рюэль как-то исхитрилась испечь песочный торт. Все они стараются не оставлять ее одну.

Час за часом падает высохшим листком. Каждый вечер Мари-Лора ставит перед дверью Этьена полную тарелку, а утром забирает пустую. Она стоит одна в комнате мадам Манек. Здесь пахнет мятой, восковыми свечами, шестью десятилетиями беззаветного служения. Горничная, нянька, мать, сообщница, советчица, шеф-повар – кем была мадам Манек для Этьена? Для них всех? На улице пьяно горланят немцы, паучок за кухонной плитой каждую ночь плетет новую паутину, а Мари-Лоре это вдвойне больно: все живут, как прежде, Земля и на миг не замедлила свой бег вокруг Солнца.

Бедное дитя.

Бедный мсье Леблан.

Как будто на них проклятье.

Если бы только сейчас в кухню вошел папа! Улыбнулся дамам, взял Мари-Лору за щеки! Пять минут с ним. Одна минута.

На пятый день Этьен выходит из комнаты. Лестница скрипит под его шагами, старухи на кухне умолкают. Он твердым голосом вежливо просит их уйти.

– Мне нужно было время для прощанья, но теперь я должен сам заботиться о себе и племяннице. Спасибо вам.

Как только дверь за ними закрывается, он задвигает щеколду и берет Мари-Лору за руки.

– Весь свет в доме погашен. Замечательно. Пожалуйста, отойди вот сюда.

Скрип сдвигаемых стульев. Потом стола. Звякает металлическое кольцо в центре пола. Открывается люк. Слышно, как дядя лезет вниз по лестнице.

– Дядя, что тебе там нужно?

– Вот это.

– Что это?

– Электропила.

Что-то теплое, яркое разгорается у нее в животе. Этьен идет вверх по лестнице, Мари-Лора за ним. Второй этаж, третий, четвертый, пятый, шестой, налево – в дедушкину комнату. Этьен открывает огромный платяной шкаф, вынимает старую одежду брата, кладет на кровать. Тянет удлинитель на площадку, потом говорит:

– Будет громко.

– Хорошо.

Этьен забирается в шкаф и включает пилу. Звук отдается в стенах, в половицах, в груди у Мари-Лоры. Она гадает, слышно ли на весь квартал и не думает ли сейчас какой-нибудь немец, что это за звук.

Этьен вынимает прямоугольный кусок из задней стенки шкафа, затем выпиливает такое же отверстие в чердачной двери. Выключает пилу, протискивается к лесенке и поднимается на чердак. Мари-Лора лезет следом за ним. Все утро Этьен ползает по полу с проводами, пассатижами и еще какими-то инструментами, которых пальцы Мари-Лоры не знают. Ей представляется, что дядя плетет вокруг себя какую-то сложную электронную паутину. Он бормочет себе под нос, несколько раз ходит на нижние этажи за толстыми инструкциями и запчастями. Чердачный пол скрипит, мухи чертят в воздухе ядовито-синие круги. Под вечер Мари-Лора спускается по лесенке и засыпает на дедушкиной кровати под звуки дядиной возни наверху.

Когда она просыпается, за окном щебечут ласточки, а через потолок льется музыка.

«Лунный свет», мелодия, от которой вспоминаешь листья на ветру и твердый мокрый песок под ногами. Музыка взмывает и возвращается на землю, а потом молодой голос давным-давно умершего дедушки Мари-Лоры начинает: «В человеческом теле, дети, девяносто шесть тысяч километров кровеносных сосудов! Ими можно было бы обмотать Землю почти два с половиной раза...»

Этьен спускается по лестнице из семи перекладин, протискивается в дыру и берет Мари-Лору за руки. Он еще не начал говорить, а она уже знает, что сейчас услышит.

– Твой папа велел мне тебя беречь.

– Знаю.

– Это будет опасно. Это не игра.

- Я хочу в этом участвовать! Мадам была бы...
- Расскажи, как все должно быть.
- Двадцать два шага по улице Воборель до улицы д'Эстре. Потом прямо до шестнадцатой канализационной решетки. Налево по улице Робера Сюркуфа. Девять канализационных решеток до булочной. Я подхожу к прилавку и говорю: «Один простой батон, пожалуйста».
- А что она ответит?
- Она удивится. Но я должна сказать: «Один простой батон, пожалуйста», а она: «Как поживает твой дядя?»
- Она спросит обо мне?
- Так она узнает, что ты готов помочь. Это все мадам придумала.
- А ты что скажешь?
- Я скажу: «Дядя здоров, спасибо». Возьму батон, положу в рюкзачок и пойду домой.
- И это сработает. Даже без мадам?
- Почему же нет?
- Как ты заплатишь?
- Продовольственным талоном.
- А они у нас есть?
- В ящике на кухне. И у нас ведь есть деньги?
- Да, есть. Как ты пойдешь домой?
- Просто пойду.
- Какой дорогой?
- Девять канализационных решеток по улице Робера Сюркуфа. Направо на улицу д'Эстре. Шестнадцать канализационных решеток до улицы Воборель. Я помню все наизусть. Я была в булочной триста раз.
- Никуда больше не заходи. Не заглядывай на пляж.
- Я пойду прямо домой.
- Обещаешь?
- Обещаю.
- Тогда вперед, Мари-Лора. Лети стрелой.

Они едут товарными поездами через Лодзь, Варшаву, Брест. Долгие километры в открытую дверь не видно ни единой живой души, только кое-где рядом с путями валяются опрокинутые вагоны, покореженные и обгорелые. На остановках входят и выходят солдаты, тощие, бледные. У каждого ранец, карабин, каска. Они спят, несмотря на грохот, несмотря на голод и холод, словно хотят как можно дольше не возвращаться в явь.

Бесконечные свинцовые равнины разделены рядами сосен. Солнце за тучами.

Нойман-второй просыпается, справляет в дверь малую нужду, достает жестянку и закидывает в рот еще две или три таблетки.

– Россия, – говорит он, хотя по каким признакам это ясно – Вернеру невдомек.

Воздух пахнет металлом.

Вечером поезд останавливается, и Нойман-второй ведет Вернера между рядами разрушенных домов, грудями обгорелых досок и кирпича. Немногие уцелевшие стены выщерблены черными линиями пулеметных очередей. Уже темно, когда Вернера сдают мускулисту капитану, который в одиночестве ужинает на диване из деревянной рамы и пружин. В жестяной миске у капитана на коленях исходит паром цилиндрок вареного серого мяса. Некоторое время офицер молча разглядывает Вернера. На лице не столько разочарование, сколько усталое, чуть ироничное удивление.

– Выше тебя никого не нашли?

– Так точно, господин капитан.

– Сколько тебе лет?

– Восемнадцать, господин капитан.

Офицер смеется:

– Я бы сказал, двенадцать.

Он отрезает кружок мяса, долго жует, затем пальцами вытаскивает изо рта длинную жилу.

– Разберись с оборудованием. Может, будешь хоть чуть толковее своего предшественника.

Нойман-второй подводит Вернера к открытой задней двери грязного трехтонного грузовика «опель-блиц». Внутри кузова сооружена будка. С одного бока висят мятые канистры, другой прошит следами очередей. Последний серый свет потихоньку меркнет. Нойман-второй приносит Вернеру керосиновую лампу.

– Все там, внутри, – говорит он и уходит без всяких объяснений.

Добро пожаловать на войну. Вокруг керосиновой лампы вьются крохотные мотыльки. Вернер чувствует усталость во всем теле. Зачем доктор Гауптман это сделал – в наказание или в награду? Так хочется очутиться сейчас в сиротском доме: сидеть на скамье, чувствовать тепло от пузатой чугунной печки, слышать пение фрау Елены и пронзительный голос Зигфрида Фишера, вещающий об истребителях и подводных лодках, смотреть, как за дальним концом стола Ютта тщательно вырисовывает тысячу окон

своего воображаемого города.

В будке живут запахи: глины, солянки и чего-то кислого. Керосиновая лампа отражается в трех квадратных окошках. Это передвижная радиостанция. Перед лавкой у левого борта – два откидных столика размером с подушку. Телескопическая антенна, которую можно выдвигать и складывать изнутри. Три пары наушников, стойка для карабинов, ящики. Восковые карандаши, компасы, карты. А вот – два потертых приемопередатчика. Те самые, что он конструировал вместе с доктором Гауптманом. На Вернера накатывает теплое чувство: как будто он плыл в безмерном океане и вдруг увидел рядом старого друга. Он вынимает одну станцию из ящика, отвинчивает заднюю панель. Шкала расколота, некоторые предохранители перегорели, недостает одного штекера. Вернер ищет инструменты, торцовый ключ, медную проволоку.

Задняя дверь открыта, и в нее видно небо с тысячами звезд над безмолвной землей.

Быть может, где-то там в ночи русские танки наводят орудия на свет его лампы.

Он вспоминает большой ореховый «Филко» герра Зидлера. Смотрит на провода, собирается с мыслями, оценивает. Постепенно в голове складывается картина.

Когда он вновь поднимает глаза, за далекой линией леса брезжит зарево, словно от пожара. Рассвет. В километре отсюда двое мальчишек с палками бредут за стадом тощих коров. Вернер открывает второй ящик, и тут в открытой задней двери возникает кто-то огромный.

– Фенниг!

Человек упирается рукой в крышу будки, он целиком заслонил собой разрушенную деревню, поля, встающее солнце.

– Фолькхаймер?

Один простой батон

Они стоят на кухне. Занавески задернуты. Мари-Лора еще помнит тот восторг, с которым выходила из булочной, чувствуя через рюкзак горячий батон.

Этьен разламывает хлеб:

– Вот. – Он кладет ей на ладонь туго скрученную бумажку, не больше мелкой улитки.

– Что там написано?

– Числа. Много чисел. Первые три могут означать частоты, точно не знаю. Четвертое – двадцать три ноль-ноль – возможно, время.

– Мы передадим их сразу?

– Нет. Дождемся темноты.

Этьен натягивает проволоку – одну к колокольчику на третьем этаже, за телефонным столиком, другую ко второму колокольчику на чердаке и третью к входной решетке.

Мари-Лора трижды испытывает систему: с улицы распахивает решетку, и в доме мелодично звенят два колокольчика.

Следующим делом он сооружает в шкафу фальшивую заднюю стенку, которая ездит на ползках, так ее можно открывать с обеих сторон. Вечером они с Мари-Лорой пьют чай и едят плотный, крошащийся батон из пекарни Рюэлей. Наконец совсем темнеет. Мари-Лора вслед за дядюшкой поднимается на шестой этаж и оттуда на чердак. Этьен выдвигает в трубу тяжелую телескопическую антенну. Щелкает тумблерами, и все помещение наполняется тихим потрескиванием.

– Готова? – Голос как у папы, когда тот дурачится.

Мари-Лора мысленно слышит, как полицейские говорят: «Людей арестовывали за меньшее». И мадам Манек: «Разве вы не хотите пожить перед смертью?»

– Да.

Он откашливается. Включает микрофон и говорит:

– Пятьсот шестьдесят семь, тридцать два, три тысячи одиннадцать, двадцать три ноль-ноль, сто десять, девяносто, сто сорок шесть, семь тысяч семьсот пятьдесят один.

Числа летят над крышами, через море, неведомо куда. В Англию, в Париж, к покойникам.

Дядя переключается на другую частоту и повторяет числа. На третью. Затем выключает передатчик. Машина тикает, остывая.

– Дядя, что значат эти числа?

– Не знаю.

– Из них составляются какие-то слова?

– Наверное, да.

Они спускаются по лестнице и пролезают через шкаф.

Внизу не ждут солдаты с автоматами. Все как обычно. Мари-Лоре вспоминается строчка из Жюль Верна: «Научные теории, мой мальчик, не все безошибочны, но этим нечего смущаться, потому что в конце концов они приходят к истине»[35].

Этьен смеется какой-то своей мысли:

– Помнишь, мадам говорила про лягушку в кастрюле?

– Да, дядюшка.

– Интересно, кого она имела в виду? Себя? Или немцев?

Фолькхаймер

Инженер – Вальтер Бернд – молчаливый и желчный; зрачки у него смотрят в разные стороны. Щербатого шофера называют Нойманом-первым, ему лет тридцать. Вернер знает, что Фолькхаймеру, их фельдфебелю, никак не больше двадцати, но в белесо-сером утреннем свете тот выглядит вдвое старше.

– Партизаны пускают под откос поезда, – объясняет он. – Они организованны, и капитан уверен, что они координируют свои действия по рации.

– Предыдущий техник, – говорит Нойман-первый, – ничего не нашел.

– Оборудование хорошее, – отвечает Вернер. – Через час у меня обе станции заработают.

В глазах Фолькхаймера загорается нежность.

– Фенниг, – говорит он, глядя на Вернера, – в сто раз лучше вашего предыдущего техника.

Они приступают к операции. «Опель» подпрыгивает на проселке, который немного лучше коровьей тропы. Через каждые несколько километров они тормозят, устанавливают приемопередатчик на каком-нибудь пригорке и оставляют с ним Бернда и тощего Ноймана-второго. Затем проезжают несколько сот метров, чтобы получилось основание треугольника. Расстояние засекают по одометру. Вернер включает свою станцию, выдвигает телескопическую антенну, надевает наушники и начинает прочесывать эфир в поисках чего-либо недозволенного. Голоса, которому не позволено здесь звучать.

По всему огромному ровному горизонту постоянно что-то горит. Обычно Вернер едет спиной вперед, глядя в сторону мест, которые остаются позади. В сторону Польши, в сторону рейха.

Никто их не обстреливает. Редко-редко сквозь треск помех пробиваются голоса, но все они говорят по-немецки. Вечерами Нойман-первый достает из снарядных ящиков банки с консервированными сосисками, а Нойман-второй усталым голосом рассказывает смешные истории про шлюх, которые у него были или которых он выдумал. Вернеру снится, как мальчишки догоняют Фредерика, только вдруг оказывается, что это не Фредерик, а Ютта, и она укоризненно смотрит на брата, пока мальчишки отрывают ей руки и ноги.

Каждый час Фолькхаймер заглядывает в кузов «опеля» и ловит взгляд Вернера:

– Ничего?

Вернер мотает головой. Он возится с аккумулятором, с антеннами, в сотый раз проверяет схему. В Шульпфорте, с доктором Гауптманом, это было игрой. Вернер мог угадать частоту Фолькхаймера, всегда знал, передает передатчик Фолькхаймера или нет. Здесь он даже не знает, когда и откуда передают и передают ли вообще. Здесь он охотится за призраками. Они попусту жгут топливо, проезжая мимо дымящихся домов, взорванных орудий и неотмеченных могил, покуда Фолькхаймер все более нетерпеливым движением проводит огромной ручищей по коротко стриженным волосам. Издалека доносится грохот больших орудий, и все равно партизаны взрывают пути, отправляют вагоны под откос, увечат солдат фюрера и наполняют офицеров бессильной злостью.

Может, вот этот пилящий дерево старик – партизан?

Или вон тот человек, склонившийся над мотором автомобиля? Или те три женщины с ведрами?

За ночь вся земля покрывается инеем. Вернер в кузове грузовика греет руки под мышками; просыпаясь, он видит свое морозное дыхание и голубоватое свечение ламп в приемопередатчике. Какой глубины тут будет снег? Два метра? Пять? Сорок?

Здесь ляжет километровый слой снега, думает Вернер. Мы будем ехать поверх всего, что когда-то было.

Осень

Грозы ополаскивают небо, побережье, улицы, багровое солнце погружается в море, заливая огнем западные стены Сен-Мало. Три лимузина с обмотанными тканью глушителями призраками скользят по рю-де-ла-Кросс; человек десять немецких офицеров в сопровождении примерно такого же числа людей с камерами и софитами поднимаются на Голландский бастион.

Этьен наблюдает за ними в бронзовую подзорную трубу из окна шестого этажа. Здесь капитаны, майоры и даже один подполковник – он левой рукой придерживает воротник, правой указывает на островные форты. Солдат пытается прикурить на ветру, у него сдувает пилотку и уносит в море, остальные хохочут.

Из дома Клода Левитта через улицу со смехом выпархивают три женщины. Окна Клода ярко освещены, хотя в остальном квартале нет электричества. Кто-то открывает окно третьего этажа и выбрасывает стеклянную стопку; она со звоном катится по улице Воборель.

Этьен зажигает свечу и поднимается на шестой этаж. Мари-Лора уснула. Он достает из кармана скрученную бумажную полоску, разворачивает. Все его попытки взломать шифр оказались тщетны: он записывал числа в столбик, складывал, умножал – никакого результата. И все же результат есть. Ушли пугающие головокружения, в глазах не мутится, сердце не стучит как сумасшедшее. Уже почти месяц с тех пор, как он последний раз сжимался в комок и силился отогнать проходящих сквозь стены призраков. Когда Мари-Лора возвращается с хлебом, когда Этьен разворачивает тоненькую бумажную полоску и подносит губы к микрофону, он чувствует себя уверенным. Живым.

56778. 21. 4567. 1094. 467813.

Затем время и частота следующей передачи.

Это продолжается уже не первый месяц. Через каждые два-три дня в очередном батоне оказывается полоска бумаги. В последнее время Этьен стал передавать музыку. Всегда по ночам и не больше полутора минут. Дебюсси, или Равель, или Массне, или Шарпантье. Вставляет микрофон в патефонную трубу, как годы назад, и включает пластинку.

Кто слушает? Этьен воображает коротковолновые приемники, спрятанные в коробках из-под овсянки, под полом или в детских кроватках. Он воображает два или три десятка слушателей на побережье и, может быть, еще сколько-то в море: капитанские приемники на свободных судах, везущих помидоры, беженцев или оружие. Англичане, ждущие чисел, а не музыки, наверное, дивятся: «Зачем?»

Сегодня он включает «Времена года» Вивальди, аллегро из концерта «Осень». Пластинку, которую его брат купил за пятьдесят пять сантимов в лавке на рю-Сент-Маргерит четыре десятилетия назад.

Тихо бренчит клавесин, скрипки плетут затейливое барочное кружево – низкое треугольное помещение чердака наполняется звуками.

В квартале отсюда, двадцатью метрами ниже, двенадцать немецких офицеров позируют на камеру.

Слушайте, думает Этьен. Слушайте.

Кто-то трогает его за плечо. Этьен вздрагивает и едва успевает ухватиться за наклонный потолок, чтобы не упасть. У него за спиной стоит Мари-Лора, в ночной рубашке.

Скрипки то падают, то взывают. Этьен берет Мари-Лору за руку и – покуда крутится пластинка, а передатчик шлет музыку через крепостные стены, прямо через немцев, в море – ведет ее танцевать. Он кружит ее под низким, скошенным в две стороны потолком, ее пальцы мелькают. В свете свечи она кажется существом из иного мира: лицо – сплошные веснушки, глаза – как коконы паучьих яиц. Они неподвижны, но его это не нервирует; они как будто смотрят в другое, более глубокое пространство, целиком состоящее из музыки.

Грациозная. Стройная. Движения точны и согласованны, хотя она танцует, наверное, первый раз.

Музыка по-прежнему играет. Слишком долго! Антенна не убрана и, возможно, угадывается на фоне неба. С тем же успехом можно было устроить на чердаке полную иллюминацию. И все же... музыка льется. Мари-Лора закусила нижнюю губу, и ее лицо сияет отраженным светом свечи. Этьен глядит на нее и вспоминает болота за городской стеной в те зимние вечера, когда солнце уже совсем низко, но еще не совсем ушло за горизонт и камыш пылает закатным огнем, – места, где он часто бродил с братом целую жизнь назад.

Вот что означают числа, думает он.

Концерт закончился. Под потолком бьется оса. Передатчик еще включен, патефонная иглолка крутится на последней дорожке. Мари-Лора запыхалась и улыбается.

Проводив ее спать, Этьен задувает свечу и долго стоит на коленях рядом с кроватью. Всадник Смерть едет по улице вниз, заглядывая в окна. На лбу у него огненные рога, из ноздрей идет дым, в костлявой руке – список с адресами. Он смотрит сперва на немецких офицеров, выходящих из лимузина перед шато.

Затем на ярко освещенные комнаты парфюмера Клода Левитта.

Затем на темный высокий дом Этьена Леблана.

Минуй нас, всадник. Минуй этот дом.

Подсолнухи

Они едут по пыльной дороге между бесконечными полями подсолнухов, высоких, словно деревья. Стебли высохли и одеревенели, головки качаются, и у Вернера такое чувство, будто за ним наблюдают десять тысяч циклопов. Нойман-первый тормозит, Бернд с

карабином уходит в подсолнухи ставить вторую станцию. Вернер выдвигает большую антенну и надевает наушники.

В кабине Нойман-второй говорит:

– Да ты вообще никогда с бабой не лежал.

– Заткнись, – говорит Нойман-первый.

– Ты дрочишь каждую ночь. Доишь бычка. Лущишь початок.

– Да так пол-армии делает. Что русские, что немцы.

– Вот тот маленький арийский мальчик сразу видать, что кобель.

Бернд называет частоты. Пусто. Пусто. Пусто.

Нойман-первый говорит:

– Истинный ариец белокур, как Гитлер, строен, как Геринг, и высок, как Геббельс.

Смех Ноймана-второго.

– Хватит, – говорит Фолькхаймер.

Ранний вечер. Весь день они ехали через эту странную заброшенную местность и не видели ничего, кроме подсолнухов. Вернер крутит ручку, переключает диапазоны, заново настраивает станцию, пытаясь убрать помехи. Они наполняют эфир весь день – громкие, тоскливые, зловещие украинские помехи, звучавшие здесь задолго до того, как люди научились их слышать.

Фолькхаймер вылезает из грузовика, расстегивает штаны и мочится на цветы. Вернер решает поправить антенну, но не успевает: в уши резко, словно взмах сабли на фоне солнца, врывается непонятная речь. Каждый нерв в его теле колет иголкой.

Он, сколько можно, увеличивает громкость и прижимает наушники к голове. Снова возникает тот же голос: па-ра-что-то-шо-же, че-ре-что-то-да-шой... Фолькхаймер смотрит так, будто тоже услышал, будто впервые за несколько месяцев очнулся от сна, как в ту снежную ночь, когда Гауптман выстрелил из пистолета, когда они поняли, что приборы Вернера работают.

Вернер на долю деления поворачивает ручку тонкой настройки, и его оглушает поток чудовищной варварской невнятицы. Она бьет прямо в мозг – как будто сунул руку в мешок с ватой и напоролся на бритву; все надежно и неизменно, и вдруг опасное лезвие, о которое режешься, не успев толком понять, что произошло.

Фолькхаймер стучит кулачищем по «опелю», чтобы заткнуть Нойманов. Вернер передает Бернду частоту, тот замеряет пеленг и передает его обратно. Вернер берется за расчеты. Логарифмическая линейка, тригонометрия, карта. Русский все еще говорит, когда Вернер спускает наушники на шею:

– Север-северо-восток.

– Расстояние?

Просто числа. Чистая математика.

– Полтора километра.

– Сейчас передают?

Вернер прижимает к уху один наушник и кивает.

Нойман-первый заводит «опель», Бернд возвращается, круша подсолнухи. Вернер убирает антенну, и они едут прямо по полю, давя сухие стебли. Самые высокие подсолнухи почти с грузовик, их большие корзинки молотят по крыше кабины и по бортам кузова.

Нойман-первый смотрит на одометр и зачитывает расстояния. Фолькхаймер раздает оружие. Два карабина 98к. Самозарядный «вальтер» с оптическим прицелом. За спиной у Вернера Бернд заряжает свой «маузер». Подсолнухи молотят о будку. Грузовик мотает на ухабах, словно корабль в море.

– Одиннадцать тысяч метров, – объявляет Нойман-первый.

Нойман-второй вылезает на капот и прочесывает поле биноклем. К югу подсолнухи уступают место огуречным грядкам, дальше за полосой голой земли стоит беленый домик под соломенной крышей.

– Край поля.

Фолькхаймер смотрит в оптический прицел.

– Дыма не видать?

– Нет.

– Антенна?

– Пока не вижу.

– Глуши мотор. Дальше пойдем пешком.

Наступает тишина.

Фолькхаймер, Нойман-второй и Бернд с оружием пропадают в подсолнухах. Нойман-первый остается рядом с машиной, Вернер – в будке. Все с виду спокойно. Никто пока не подорвался на mine. Подсолнухи качают гелиотропными головками, словно в печальном согласии.

– Гадов возьмут тепленькими, – шепчет Нойман-первый.

Его правая нога ходит ходуном. Вернер выдвигает антенну, насколько позволяет осторожность, надевает наушники и включает станцию. Русский читает какие-то односложные слова – наверное, буквы алфавита. Каждый слог выплывает из эфирной ваты, как будто для одного Вернера, и тут же тает. Нойман-первый прислонился к колесу, и от дрожи в его ноге слегка подрагивает весь грузовик. Солнце светит в окна, тусклые от размазанных насекомых. Пробегает холодный ветерок, все поле колышется и шуршит.

Там же должны быть часовые? Пикеты? А вдруг вооруженные партизаны подкрадываются сейчас к грузовику сзади? Русский радист зудит в ухе, как шмель. Кто знает, что он передает: позиции войск, расписание поездов. Может, он в эту самую секунду сообщает артиллеристам-наводчикам координаты грузовика, а Фолькхаймер выходит из подсолнухов – огромная человеческая мишень, – держа винтовку, как палку. Не верится, что дом его вместит, скорее уж наоборот – Фолькхаймер поглотит дом.

Выстрелы сперва доходят по воздуху, долей секунды позже – через наушники, да так громко, что Вернер почти срывает их с головы. И тут же умолкает даже треск помех.

Тишина в наушниках – как нечто тяжелое и надвигающееся, призрачный дирижабль, медленно идущий на посадку.

Нойман-первый открывает и закрывает затвор карабина.

У Вернера внезапно встает перед глазами картина: они с Юттой на кровати, голос француза только что умолк, стекла дребезжат от проходящего поезда, а эхо передачи как будто еще подрагивает в воздухе; кажется, протяни руку – и поймашь его в ладонь.

Возвращается Фолькхаймер, лицо у него забрызгано чернилами. Он двумя пальцами сдвигает назад каску, и Вернер видит – это не чернила.

– Подожгите дом. Быстро. Много солярки не тратьте. – Он смотрит на Вернера. Голос ласковый, почти меланхолический. – Забери их оборудование.

Вернер кладет наушники, надевает каску. У него что-то случилось с чувством равновесия – все вокруг как будто качается. Нойман-первый идет впереди с канистрой солярки, что-то мурлыкая себе под нос. Они выходят из подсолнухов, перешагивают через побитые заморозками сорняки. На земле у входа лежит собака, положив морду на лапы, и мгновение Вернеру кажется, что она просто спит.

Первый убитый лежит на полу – одна рука подвернута, вместо головы алое месиво. Второй сидит, уронив голову на стол, как будто задремал; края раны какого-то непристойно розово-лилового цвета. Кровь на столе густеет, как воск. Она кажется почти черной. Странно думать, что голос этого человека еще плывет по воздуху, может, уже над другой страной, слабея с каждым километром.

Рваные штаны, грязные куртки, на одном из убитых подтяжки – они оба в штатском.

Нойман-первый срывает с окна мешковину, висящую тут вместо занавески, и выходит на улицу. Слышно, как плещет солярка. Нойман-второй стаскивает с убитого подтяжки, снимает с косяка связку лука и тоже уходит.

В кухне – кусок недоеденного сыра, рядом нож с потертой деревянной ручкой. Вернер открывает единственный шкафчик. Внутри – обитель суеверий: пузырьки с темной жидкостью, таблетки россыпью, прилипшие к полке чайные ложки, что-то с латинской надписью «belladonna» и еще что-то, помеченное буквой «X».

Рация убогая, высокочастотная – наверное, с русского танка. Выглядит так, будто в кожух просто затолкали пригоршню компонентов. Установленная перед домом антенна с противовесом рассылала сигнал от силы километров на сорок.

Вернер выходит и оборачивается на дом, желтовато-белый в вечернем свете. Ему вспоминается кухонный шкаф со странными снадобьями. Собака, которая не уберегла хозяев. Может, эти партизаны и владеют темным лесным колдовством, но им не следовало лезть в более высокую магию радио. Он закидывает винтовку на плечо и через подсолнухи несет потертую рацию к машине. Мотор уже работает, Нойман-второй и Фолькхаймер в кабине. Вернер слышит голос доктора Гауптмана: «Работу ученого определяют два фактора: его интересы и требования времени». Все вело к этим мгновениям: смерть отца, бессонные ночи на чердаке, когда они с Юттой слушали француза, Ганс и Герриберт, прячущие красные повязки под рубашкой, чтобы не увидела фрау Елена, ясные вечера в Шулпфорте, когда он собирал приборы для доктора Гауптмана. Страшная история с Фредериком. Все было нужно для того, чтобы сейчас Вернер забросил казацкое оборудование в кузов и уселся на лавку, глядя, как на краю поля занимается пламенем дом. Бернд залезает следом, кладет карабин на колени и даже не дает себе труда закрыть заднюю дверцу, когда «опель», рыча, трогается с места.

Камни

Фельдфебеля фон Румпеля вызвали на склад в окрестностях Лодзи. Это его первая поездка после лечения в Штутгарте, и ноги до сих пор как ватные. За колючей проволокой – шесть охранников в касках. Они щелкают каблуками, отдают честь. Он снимает китель и надевает комбинезон на молнии, без карманов. Отодвигаются три засова. За дверью четверо солдат в таких же комбинезонах стоят у столов. Все окна забиты фанерой, на каждом столе горит яркая лампа.

Темноволосый ефрейтор объясняет, как будет проходить работа. Первый солдат вынимает камни из оправы. Второй отчищает их специальным составом. Третий взвешивает и называет вес фон Румпелю. Тот осматривает каждый камень и относит к одной из трех категорий: «с включениями», «с незначительными включениями», «практически без включений». Сам ефрейтор записывает.

– Мы будем работать сменами по десять часов, пока все не закончим.

Фон Румпель кивает. Спина у него уже и сейчас раскалывается от боли.

Ефрейтор берет мешок, снимает пломбу и высыпает на застланный бархатом поднос тысячи драгоценных камней: изумруды, сапфиры, рубины. Цитрин. Перидот. Хризоберилл. Между ними поблескивают сотни маленьких бриллиантов, по большей части в браслетах, колье, серьгах и запонках. Первый солдат относит поднос к себе на стол, берет обручальное кольцо и пинцетом отгибает крючки-«лапки». Бриллиант отправляется по цепочке. Фон Румпель пересчитывает оставшиеся под столом мешки: девять.

– Откуда...

Но он уже и без того знает, откуда эти камни.

Грот

Первые месяцы после смерти мадам Манек Мари-Лора каждое утро ждет, что старуха, пыхтя, поднимется по лестнице и грубоватым матросским голосом воскликнет: «Господи, ну и холодрыга!» – однако этого не происходит.

Туфли рядом с кроватью, под макетом. Трость в углу.

На первый этаж, где висит на крючке рюкзак.

На улицу. Двадцать два шага по улице Воборель. Затем направо. Шестнадцать канализационных решеток. Налево, на улицу Робера Сюркуфа. Девять канализационных решеток до булочной.

– Один простой батон, пожалуйста.

– Как поживает твой дядя?

– Дядя здоров, спасибо.

Иногда в батоне запечена маленькая белая бумажка, иногда – нет. Иногда мадам Рюэль сует Мари-Лоре пакет с чем-нибудь еще: капустой, перцем, мылом, – что сама сумела достать. Назад до перекрестка с рю-д'Эстре. Вместо того чтобы повернуть влево на улицу Воборель, Мари-Лора идет прямо. Пятьдесят шагов до городской стены, сто или чуть больше – до конца улочки, которая сужается с каждым шагом.

Мари-Лора пальцами нащупывает замок, вынимает из кармана ключ, который Юбер Базен отдал ей год назад. Ледяная вода доходит до середины икры, ноги мгновенно немеют. Однако грот вмещает собственную вселенную, где вращаются бесчисленные галактики, где в одинокой створке мидии растет морской желудь и лежит маленькая витая раковина – домик еще более маленького рака-отшельника. А на домике рака? Еще более маленький морской желудь. А на этом морском желуде?

Здесь, в бывшей собачьей конуре, где шум моря заглушает все другие звуки, Мари-Лора заботится об улитках, как о растениях в саду. От прилива до прилива, от мгновения до мгновения она слушает, как они ползают, и думает об отце в тюремной камере, о мадам Манек на ее райском поле дикой моркови, о дяде, который двадцать лет не выходил из дому.

Потом ощупью добирается до выхода и запирает за собой дверь.

С начала зимы электричество отключают часто и включают ненадолго; Этьен поставил на чердаке два аккумулятора с катеров – теперь перебои с электричеством не мешают ему передавать. Чтобы согреться, приходится жечь ящики, бумагу, даже старую мебель. Мари-Лора затащила на шестой этаж тяжелый ковер из спальни мадам Манек и укрывается им поверх одеяла. Иногда она просыпается среди ночи и почти слышит, как на полу нарастает иней.

Что там за шаги? Не полицейский ли? Что за машина? Не их ли едут забирать?

Этьен наверху, передает числа, и Мари-Лора думает: можно спуститься и встать у двери. Если это полиция, я выгадаю для него несколько минут. Только уж очень холодно вылезать. Лучше остаться под тяжелым ковром. Может быть, она уснет и вновь окажется в музее. Как хорошо вести пальцами по знакомым стенам, идти гулкой Большой галереей к ключной. Всего-то и надо, что повернуть влево, а там будет папа, за своим станком для вытачивания ключей.

Он скажет: «Что же ты так долго не шла, солнышко?»

И еще он скажет: «Я никогда-никогда тебя не оставлю, даже и через миллион лет».

Преследование

В январе сорок третьего Вернер находит вторую подпольную рацию – в уничтоженном бомбой саду, среди поломанных деревьев. Через две недели – третью, потом четвертую. Каждый следующий раз выглядит вариацией предыдущего: треугольник уменьшается, стороны сближаются, пока не сойдутся в одну точку – сарай, дом, подвал фабрики или

какое-нибудь мерзкое становище посреди снегов.

– Он сейчас передает?

– Да.

– В той лачуге?

– Видишь антенну у восточной стены?

Когда есть возможность, Вернер записывает партизан на магнитную ленту. Все, насколько он понял, любят слушать собственный голос. Гордыня, как в самых старых сказках. Они поднимают антенну слишком высоко, говорят слишком долго в убеждении, что мир к ним добр, а это не так.

Капитан просит передать, что очень ими доволен, обещает увольнительные, мясо, коньяк. Всю зиму «опель» колесит по оккупированным землям, по городам, которые Ютта когда-то отмечала на шкале радио: Прага, Минск, Люблина.

Иногда грузовик нагоняет колонну пленных, и Фолькхаймер просит Ноймана-первого сбросить скорость. Он сидит очень прямо, высматривая кого-нибудь своего роста, и, если находит, стучит по кабине. Нойман-первый тормозит, Фолькхаймер спрыгивает в снег, заговаривает с охранниками, затем идет через колонну, обычно в одной гимнастерке, несмотря на холод.

– И ведь оставил карабин в кузове, – всякий раз удивляется Нойман-первый. – Ушел без карабина.

Иногда Фолькхаймер слишком далеко, иногда Вернер отчетливо его слышит.

– Ausziehen, – говорит Фолькхаймер, выпуская морозный пар, и почти всегда русский верзила его понимает.

Снимай. Дюжий русский малый, которого, судя по лицу, ничем удивить невозможно. Разве что тем, что к нему идет другой такой же великан.

Пленный снимает варежки, протертую шинель, рубаху. И только когда Фолькхаймер указывает на обувь, лицо русского меняется. Он мотает головой, смотрит вверх или вниз, закатывает глаза, как испуганная лошадь. Остаться босиком – значит умереть. Однако Фолькхаймер стоит и ждет, один верзила напротив другого, и всякий раз пленный сдается. Он стоит на снегу в драных носках и пытается заглянуть в глаза товарищам, но те отводят взгляд. Фолькхаймер мерит все по очереди и, если что-нибудь оказывается мало, возвращает, потом забирается обратно в кузов, и Нейман-первый жмет на газ.

Обледенелые дороги, горящие деревни среди лесов, морозы такие, что даже снег уже не идет, – всю эту странную и страшную зиму Вернер бродит по эфиру, как когда-то бродил по улочкам Цольферайна, катя Ютту в тележке. Голос в наушниках возник и пропал – начало охоты, человеческий след среди треска помех. Вот оно, думает Вернер, когда снова его находит (иногда – сутки спустя), это чувство, будто с закрытыми глазами шел вдоль километровой нити и наконец отыскал пальцами узелок.

Задача, которую надо решить, упражнение для ума – это куда лучше, чем кормить вшей в мерзлых вонючих окопах, как преподаватели из Шульпфорты в первую войну. Чище, механизированней: сражения идут в воздухе, невидимо, линия фронта повсюду. Ведь есть же в этой охоте свой пьянящий азарт? В тряской ночной езде, в том, чтобы внезапно различить за деревьями антенну?

Я тебя слышу.

Иголки в стоге сена. Шипы в лапе льва. Вернер их находит, а Фолькхаймер выдергивает.

Всю зиму немцы гонят лошадей, сани, танки и грузовики по одним и тем же дорогам, превращая их в скользкий лед, замешенный на крови и грязи. А когда наконец приходит апрель, пахнувший трупами и стружкой, двухметровые сугробы вдоль дороги тают, а лед упорно не хочет сходить: он остается твердой, блестящей, смертоносной схемой вторжения, летописью распятия России.

Как-то поздним вечером они переезжают по мосту Днепр. На другом берегу – купола и цветущие каштаны Киева. Ветер гонит по улицам пепел, в подворотнях жмутся проститутки. В кафе через два столика от Вернера сидит пехотинец чуть старше его, с очень странным, будто изумленным, лицом. Он прихлебывает кофе и дергающимися глазами читает газету.

Вернер невольно поглядывает в ту сторону. Наконец Нойман-первый наклоняется к нему:

– Знаешь, отчего он так?

Вернер мотает головой.

– Веки отморозил, бедолага.

Почта сюда не доходит. Уже много месяцев Вернер не писал сестре.

Записки

Оккупационные власти потребовали вывесить на двери каждого дома список жильцов: «М. Этьен Леблан, 62 года, м-ль Мари-Лора Леблан, 15 лет». Мари-Лора изводит себя картинками длинных пиршественных столов: тарелки с ломтями свинины, с печеными яблоками, банановым фламбе, ананасами, украшенными взбитыми сливками.

Как-то летом сорок третьего она под морозящим дождем доходит до булочной. Очередь стоит на улице. Когда Мари-Лора наконец добирается до прилавка, мадам Рюэль берет ее за обе руки и очень тихо произносит: «Спроси, не согласится ли он прочесть и это». Затем протягивает батон. Под ним – сложенный лист бумаги. Мари-Лора сует батон в рюкзак, а бумагу зажимает в кулаке. Отдает продовольственный талон, идет напрямиком домой и запирает за собой дверь.

Этьен, шаркая, спускается в кухню.

– Что тут написано, дядя?

– Тут написано: «Мсье Дроге сообщает своей дочери в Сен-Кулом, что идет на поправку».

– Она сказала, это важно.

– Что это значит?

Мари-Лора снимает рюкзак, достает батон и отламывает горбушку. Говорит:

– Думаю, это значит, что мсье Дроге поправляется и хочет сообщить об этом своей дочери.

В следующие недели мадам Рюэль продолжает передавать записки. Новорожденный в Сен-Венсане. Умиравшая бабушка в Ла-Маре. Мадам Гардиньер в Ла-Рабинэ передает сыну, что простила его. Есть ли в этих сообщениях тайный смысл и не кроется ли в сообщении: «Мсье Файю скончался от сердечного приступа» – приказ: «Взорвите сортировочный узел в Ренне», Этьену неизвестно. Главное, что люди слушают, что у обычных граждан есть приемники, что они ждут весточек от близких. Он не выходит из дому, не видит никого и тем не менее оказался в самом средоточии человеческого общения.

Этьен настраивает микрофон и читает числа, потом записки. Он передает на пяти разных частотах, добавляет, когда и на какой частоте будет следующая передача, в конце ставит музыку. В целом получается до шести минут.

Слишком долго. Почти наверняка слишком долго.

И однако за ним не приходят. Колокольчики не звенят. Немецкие солдаты не вламываются в дом, чтобы застрелить их с Мари-Лорой.

Почти каждый вечер она просит Этьена почитать отцовские письма, хотя давно выучила их наизусть. Сегодня он сидит на краешке ее кровати.

Сегодня я видел дуб, который притворялся каштаном.

Я знаю, что ты поступишь правильно.

Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена внутри дома.

– Как ты думаешь, почему он два раза написал «внутри дома»?

– Мы уже столько раз это обсуждали, Мари.

– А что, по-твоему, он делает прямо сейчас?

– Наверняка спит, милая.

Она перекачивается на бок, он натягивает одеяло ей на плечи, задувает свечу и смотрит на миниатюрные крыши и печные трубы макета. И вдруг приходит воспоминание: Этьен вместе с братом на лугу к востоку от города. Тем летом в Сен-Мало появились светлячки; отец сделал детям по длинному сачку и дал банки с закрывающимися крышками. Этьен и Анри носились по высокой траве, а светлячки улетали от них вверх, и казалось, земля горит, а это искры, брызжущие из-под ног.

Анри тогда сказал, что хочет насобирать полную банку и поставить на подоконник, чтобы моряки видели его окно за много миль.

Если этим летом светлячки и были, они не залетали на улицу Воборель. А теперь здесь лишь тени и тишина. Тишина – плод оккупации; она висит на ветках, сочится из водосточных канав. Мадам Гибу, мать сапожника, уехала из города. И старая мадам Бланшар тоже. Столько темных окон! Как будто город превратился в огромную библиотеку, где все книги на неизвестных языках. Дома – полки томов, которые никто не читает, все лампы погашены.

Однако есть передатчик на чердаке. Искорка в ночи.

Из проулка доносится звук шагов. Этьен приоткрывает ставни в спальне Мари-Лоры,

смотрит на шесть этажей вниз и видит в лунном свете призрак мадам Манек. Воробьи садятся в ее протянутую руку, и она одного за другим убирает их за пазуху.

Луданвьель

Пиренеи сияют. Дырчатая луна сидит на их пиках, словно насаженная. В ее платиновом свете фельдфебель фон Румпель доехал на такси до комиссариата и теперь беседует с капитаном полиции, который то и дело подкручивает двумя пальцами роскошные усы.

Произошло ограбление в шале видного мецената, связанного с Парижским музеем естествознания. Французская полиция арестовала преступника; при задержании у него изъяли сумку с драгоценными камнями.

Проходит довольно много времени. Капитан разглядывает ногти на левой руке, потом на правой, потом снова на левой. Фон Румпель ждет. Сегодня он чувствует изрядную слабость, его мутит. Врачи сказали, что лечение закончено, осталось наблюдать, как поведет себя опухоль, но иногда по утрам он не в силах выпрямиться после того, как завязал шнурки.

Подъезжает автомобиль. Капитан выходит его встречать. Фон Румпель смотрит в окно.

Двое полицейских вытаскивают с заднего сиденья хлипкого мужчину в бежевом костюме. Под левым глазом у него лиловый фингал. Руки в наручниках. Воротник забрызган кровью. Всё как будто он только что играл злодея в кино. Полицейские ведут его в комиссариат, а капитан достает из багажника сумку.

Фон Румпель вынимает из кармана белые перчатки. Капитан закрывает дверь кабинета, кладет сумку на стол и опускает жалюзи. Наклоняет абажур настольной лампы. Где-то неподалеку захлопывается дверь камеры. Капитан достает из сумки телефонную книжку, стопку писем и дамскую пудреницу. Затем отрывает фальшивое дно и вытаскивает шесть бархатных свертков. Разворачивает их один за другим. В первом три роскошных берилла: розовых, толстых, шестигранных. Во втором – друза амазонита, бирюзового, с тонкими белыми прожилками. В третьем – алмаз грушевидной огранки.

По пальцам фон Румпеля пробегают дрожь. Капитан достает из кармана лупу; по лицу расплывается неприкрытая алчность. Он долго изучает алмаз, поворачивая его так и этак. Перед глазами фон Румпеля проплывают видения Фюрермузеума: колонны, сверкающие витрины, драгоценные камни под стеклом... И еще от камня исходит некая энергия, как бы слабый электрический ток. Шепчет ему, обещает уничтожить болезнь.

Наконец капитан опускает лупу – от нее вокруг глаза остался розовый вдавленный ободок. Влажные губы блестят в свете лампы. Он кладет алмаз обратно на полотенце.

Фон Румпель протягивает руку через стол. Вес правильный. Камень холодит пальцы даже через перчатку. Насыщенная голубизна по краям.

Верит ли он?

Дюпон почти разжег пламень в этом куске шпинели, однако в лупу видно: камень – точная копия того, который фон Румпель осматривал в музее два года назад. Он кладет подделку на стол.

У капитана вытягивается лицо.

– Но разве не надо, по крайней мере, посветить на него рентгеновскими лучами?

– Делайте что хотите, на здоровье. Письма я с вашего разрешения заберу.

К полуночи он уже в гостинице. Две подделки. Дело движется в нужную сторону. Два камня найдены, два предстоит найти, и один из них будет настоящим. На обед он заказывает мясо кабана с грибами. И целую бутылку бордо. В военное время особенно важно не опускаться. Именно такие вещи составляют разницу между цивилизованным человеком и варваром.

По пустому залу гуляют сквозняки, но официант вышколен безупречно. Он отточенным движением наливает вино и отходит. В бокале темное, как кровь, бордо кажется почти живым. Приятно сознавать, что больше никто в мире не оценит его вкус.

Все серое

Декабрь сорок третьего. Между домами пролегли расщелины холода. Сухих дров не осталось, топят непросушенными, и весь город пропах дымом. По пути в булочную пятнадцатилетняя Мари-Лора продрогла до костей. В доме немногим лучше. Кажется, будто в комнате порхают редкие снежинки, залетевшие через щели в стенах.

Над головой слышны дядюшкины шаги и его голос: «Триста десять, тысяча четыреста шестьдесят семь, пятьсот семь, двадцать два – двадцать две, пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят один», затем голубым туманом наплывает дедушкина мелодия – «Лунный свет».

Самолеты низко, лениво проплывают над городом. Иногда их рев раздается так близко, что Мари-Лоре страшно, как бы они не задели крыши, не снесли брюхом дымовые трубы. Однако нет: самолеты не врезаются в дома, взрывов не слышно. Ничто не меняется за единственным исключением: Мари-Лора растет. Она уже не влезает в одежду, которую папа три года назад сложил в рюкзак. Туфли жмут; теперь она носит домашние шлепанцы Этьена, старые, с кисточками, на три пары носков.

Ходят слухи, что в Сен-Мало позволят остаться лишь обслуживающему персоналу и тем, кто не может покинуть город по медицинским показаниям.

– Мы не уедем, – говорит Этьен. – Особенно теперь, когда от нас наконец-то есть хоть какая-то польза. Если врач не выпишет справки, дадим взятку.

Какую-то часть дня удается скоротать в зыбких воспоминаниях о видимом мире до того, как ей исполнилось шесть. Тогда Париж был огромной кухней: пирамиды моркови и капустных кочанов, кондитерские прилавки с пирожными, рыбины, словно уложенные в штабель бревна, серебристая чешуя в канавах, алебастровые чайки пикируют на груды рыбьих кишков. Каждый уголок был пересыщен цветом: зелень порея, фиолетовый глянец баклажанов.

Теперь весь мир стал серым. Серые лица, серая тишина, серый страх над очередью в булочной. Единственное цветное пятнышко вспыхивает, когда Этьен, хрустя коленями, поднимается на чердак зачитать в эфир очередную цепочку чисел, отправить сообщения мадам Рюэль и включить музыку. Пять минут чердак лучится малиновым, бирюзовым,

золотым светом, затем радио умолкает, вновь наплывает серость, а дядя тяжело спускается по лестнице.

Лихорадка

Может, он подхватил заразу на какой-нибудь безмянной украинской кухне, может, партизаны отравили воду, может, Вернер просто слишком много сидел в сырости. Так или иначе, у него температура и жуткий понос. На корточках позади «опеля», скрючившись от боли, Вернер чувствует, как с бурой жижей из него выходят последние остатки человеческого. Иногда он часами не может шевельнуться, только прижимается щекой к борту грузовика, ища чего-нибудь холодного. Потом начинается озноб, когда ничего не согревает и хочется прыгнуть в огонь.

Фолькхаймер предлагает кофе, Нойман-второй – таблетки, про которые Вернер уже знает, что они не от поясницы. Он отказывается и от того и от другого, и тысяча девятьсот сорок третий становится сорок четвертым. Вернер не писал Ютте почти год. Последнее письмо пришло от нее шесть месяцев назад и начиналось словами: «Почему ты не пишешь?»

И все же он продолжает отыскивать подпольные рации, штуки по две в месяц. Забирает убогое советское оборудование, из плохой стали, спаянное на скорую руку. Как можно воевать с такой техникой? Вернеру представлялось, что у партизан железная дисциплина, решительные и опасные вожаки, мощная организация. Однако, судя по тому, что он видит своими глазами, – это жалкие одиночки, оборванные и грязные. Они прячутся по норам и действуют на свой страх и риск.

Вернер уже отчаялся понять, какая из теорий ближе к истине. Потому что все вокруг, все до единого, – партизаны, подпольщики. Каждый желает немцам смерти, даже те, кто перед ними заискивает. Когда грузовик въезжает в город, люди прячут глаза, прячут своих детей. Их магазины завалены обувью, снятой с мертвецов.

Только посмотри на них.

В самые страшные дни этой неумолимой зимы, когда немцы отступают, а ржавчина точит грузовик, винтовки, приборы, у Вернера остается лишь одно чувство – брезгливое отвращение к людям, которых он видит снаружи. Дымящиеся разрушенные деревни, битый кирпич на улицах, замерзшие трупы, покореженные машины, лающие собаки, крысы – как можно так жить? Мы должны повсюду выкорчевывать беспорядок. Общая энтропия системы, объяснял доктор Гауптман, может уменьшиться лишь за счет увеличения энтропии другой системы. Природа требует симметрии. Ordnung muss sein[36].

Однако что за порядок они наводят? Чемоданы, очереди, оружие дети, солдаты, у которых в глазах застыла вечность, – в какой системе увеличивается порядок? Определенно не в Киеве, Львове или Варшаве. Здесь ад. И люди. Много людей, словно русские заводы штампуют по человеку в минуту. Убейте тысячу, мы изготовим десять тысяч.

Февраль застает их в горах. Нойман-первый медленно едет вниз по серпантину, Вернер дрожит в кузове. Внизу бесконечная сеть окопов, немецкие позиции с одной стороны, русские – с другой. По долине лентами плывет дым, пламя взлетает над орудиями, словно бадминтонные воланчики.

Фолькхаймер берет одеяло и укрывает Вернеру плечи. Кровь бежит по жилам, тяжелая, как ртуть. За окном, в просвете тумана, сеть окопов внезапно проступает совсем четко, и до Вернера доходит, что все это – схема исполинского радиоприемника. Каждый солдат – электрон, бегущий по цепи, и точно так же не волен распоряжаться собой. Грузовик поворачивает, и остается только Фолькхаймер рядом на лавке, холодная дымка в окне, мосты, идущий вниз серпантин. Металлический свет луны дробится на дороге, в поле жует траву белая лошадь, лучи прожектора шарят в небе, и в освещенном окошке домика, мимо которого проносится грузовик, Вернер на миг видит Ютту за столом, веселые лица других детей, вышивку фрау Елены над раковиной и десяток младенческих трупиков в мусорном ведре рядом с печкой.

Третий камень

Шато под Амьеном, к северу от Парижа. Стены поскрипывают в темноте. Дом принадлежит старику-палеонтологу, и у фон Румпеля есть все основания полагать, что именно сюда три года назад в суматохе первых дней оккупации бежал начальник охраны парижского музея. Уединенное место среди полей, за живыми изгородями. Фон Румпель по лестнице поднимается в библиотеку. Книжный шкаф отодвинут от стены, за ним – сейф. Гестаповский специалист молодец – на шее стетоскоп, даже фонарика не включил. Через несколько минут сейф уже вскрыт.

Старый револьвер, коробка сертификатов, столбик почерневших серебряных монет. И в обитой бархатом коробочке – голубой алмаз грушевидной огранки.

Алое нутро камня вспыхивает на мгновение и тут же гаснет. У фон Румпеля надежда туго сплетена с нетерпением: он почти у цели. Вероятность – одна вторая, ведь это же много? Однако, еще не поднеся камень к лампе, он понимает: это тоже работа Дюпона.

Все три подделки найдены, все везение истрачено. Врачи говорят, что опухоль снова растет. Война вошла в пике: немцы отступают из России, через Украину, по щиколотке Италии. Очень скоро всем в штабе рейхсляйтера Розенберга – всем, кто прочесывает библиотеки, ищет древние свитки, спрятанные полотна импрессионистов, – раздадут винтовки и отправят их на передовую. В том числе фон Румпеля.

Владелец камня, покуда алмаз у него, будет жить вечно.

Нельзя сдаваться. И все же голова как чугунок, руки налились тяжестью.

Один камень в музее, другой у мецената, третий отправили с начальником службы охраны. Кого должны были выбрать третьим гонцом? Гестаповец, держась левой рукой за дверцу сейфа, внимательно смотрит на фон Румпеля, и тот не в первый раз вспоминает удивительный деревянный ящик в музее. Вроде коробочки-головоломки. Во всех своих разъездах он не видел ничего подобного. Кто мог такое придумать?

Мост

Во французской деревушке, далеко к югу от Сен-Мало, на мосту взорвался немецкий грузовик. Погибли шесть солдат-немцев. Оккупационные власти винят террористов. «„Ночь и туман“ [37], – шепчут старухи, пришедшие навестить Мари-Лору. – За каждого убитого боша будут расстреливать десять наших». Полиция ходит от дома к дому, требуя, чтобы все трудоспособные мужчины выходили на принудительные работы. Копать окопы, разгружать вагоны, возить тачки с цементом, строить заграждения против американцев и англичан. Каждый, у кого есть силы, обязан укреплять Атлантический вал [38]. Этьен стоит в дверях, с медицинской справкой в кармане. Холодный ветер дует ему в лицо, унося страхи в прихожую.

Мадам Рюэль шепчет, что немцы убеждены: взрыв связан с передачами подпольной радиостанции. Сейчас они перекрывают берег – растягивают колючую проволоку, ставят деревянные «рогатки». Доступ на укрепления уже ограничен.

Она отдает батон, и Мари-Лора спешит домой. Там Этьен разламывает хлеб и находит внутри очередную полоску бумаги. Еще девять чисел.

– Я думал, они сделают перерыв.

Мари-Лора думает об отце.

– Может быть, дядюшка, сейчас это даже важнее, чем было раньше?

Он ждет до темноты. Мари-Лора сидит в шкафу, фальшивая задняя стенка отодвинута. Слышно, как включаются микрофон и передатчик. Тихий дядин голос читает числа. Затем звучит мелодия – сегодня все больше виолончели – и обрывается на середине музыкальной фразы.

– Дядя?

Он медленно, неуклюже спускается по лестнице и берет Мари-Лору за руки:

– Та война, на которой погиб твой дедушка, забрала шестнадцать миллионов человек. Полтора миллиона одних только французских ребят, из которых почти все были младше меня. Два миллиона немцев. Если выстроить их в цепочку, она бы шла мимо наших дверей одиннадцать суток. То, что мы делаем, Мари, – это не дорожные указатели поворачивать. И не письма на почте путать. Эти числа – больше чем числа. Понимаешь?

– Но мы же хорошие, правда, дядя?

– Да. Надеюсь, что да.

Рю-де-Патриарш

Фон Румпель входит в жилой дом в Пятом районе Парижа. Хозяйка, фальшиво улыбаясь, берет у него пачку продуктовых талонов и прячет в карман кофты. Под ногами у нее вьются кошки. За спиной – комната с множеством безделушек, пахнущая сухими яблоневыми лепестками, пылью, старостью.

– Когда они съехали, мадам?

– Летом сорокового.

У нее такой вид, будто она сейчас тоже зашипит, как кошка.

– Кто вносит плату за квартиру?

– Не знаю.

– Чеки от Музея естествознания?

– Не могу сказать.

– Когда последний раз кто-нибудь приходил?

– Никто не приходил. Чеки присылают по почте.

– Откуда?

– Не знаю.

– И в квартиру никто не заходит?

– С того лета – нет.

Она отступает на шаг, пряча хищное лицо и хищные ногти в приторной полутьме.

Фон Румпель поднимается на четвертый этаж. Квартира мастера заперта на один замок. Внутри окна заколочены фанерой, в дырки от сучков пробиваются серебристые лучики, как будто вся квартира – темная коробочка в столбе чистого света. Шкафы открыты, диванная подушка лежит криво, кухонный стул упал. Все говорит о поспешном уходе или тщательном обыске. А может, и о том, и о том. По краю унитаза выросла черная плесень. Фон Румпель осматривает спальню, ванную, кухню. Его подстегивает неистребимая дьявольская надежда: а вдруг?..

На верстаке – крохотные скамейки, крохотные фонарные столбы, крохотные бруски отполированного дерева. Маленькие тисочки, маленькая коробочка с гвоздями, маленькие бутылочки уже засохшего клея. Под верстаком накрытый мешковиной сюрприз: макет Пятого района. Здания не выкрашены, но сделаны изумительно. Ставни, двери, окна, канализационные люки. Людей нет. Игрушка?

В шкафу – поеденные молью детские платья и свитер, на котором вышитая коза жует цветы. Пыльные шишки на подоконнике, разложенные в ряд от больших к маленьким. На кухне к половицам прибиты полоски сукна. Тишина. Порядок. Ничего лишнего. От стола к уборной вдоль стены протянут шнур. Часы без стекла, давно остановившиеся. И, только найдя три огромных тома Жюль Верна брайлевским шрифтом, фон Румпель понимает: загадка решена.

Искусный мастер, специалист по замкам и сейфам. Живет в десяти минутах ходьбы от музея. Работает там всю жизнь. Скромный, к богатству не стремится. Слепая дочь. Очевидно, надежный человек.

– Где ты прядешься? – спрашивает он вслух.

Пыль клубится в странных серебристых лучиках.

В мешке или в ящике. За плинтусом, под половицами, в стене. Фон Румпель вытаскивает ящики кухонного стола, смотрит за ними. Но те, кто обыскивал квартиру до него, во все такие места уже заглянули.

Постепенно его внимание возвращается к макету. Сотни крохотных зданий с мезонинами и балконами. И вдруг приходит догадка: это точная копия района! Уменьшенная, лишенная цвета, безлюдная. Миниатюрное призрачное подобие. Одно здание особенно лоснится от частого прикосновения пальцев: тот самый дом, где он сейчас находится.

Фон Румпель встает на колени, заглядывает в улицы. Он – бог, нависший над Латинским кварталом. Может двумя пальцами сцапать кого хочет, заслонить своей тенью полгорода. Перевернуть весь этот крохотный мирок. Он берется за крышу дома, в котором сейчас стоит на коленях, и дом вынимается из макета легко, будто так и задумано. Фон Румпель крутит его в руках: восемнадцать окон, шесть балконов, парадная дверь. Вот тут – за этим окном – старуха с кошками. А здесь, на четвертом этаже, он сам. Снизу у домика обнаруживается крохотное отверстие, немного похожее на замочную скважину в музейном ящике-сейфе. Это значит, что дом внутри пустой и там что-нибудь может лежать. Фон Румпель некоторое время крутит его в руках, пытаясь решить головоломку. Пытается сдвинуть дно, боковины.

Сердце бешено стучит, на языке что-то мокрое и горячее.

Что ты в себе скрываешь?

Фон Румпель ставит домик на пол и с размаху давит его ботинком.

Белый город

В апреле сорок четвертого «опель» въезжает в белый город, полный пустых окон.

– Вена, – говорит Фолькхаймер.

Нойман-второй начинает распинаться про габсбургские дворцы, венский шницель и девиц, у которых нижние губы сладки, как штрудель. Они останавливаются в некогда великолепном отеле, где мебель составлена вдоль стен, мраморные раковины забиты куриными перьями, а под окна подоткнуты газеты. Внизу – сортировочный узел, бесконечный простор железнодорожных путей. Вернер вспоминает доктора Гауптмана, его вьющиеся волосы и перчатки с меховой оторочкой. Воображает его венскую юность в кафе, где будущие ученые говорили о Боре и Шопенгауэре, а мраморные статуи смотрели на них с карнизов, как добрые крестные.

Гауптман, наверное, по-прежнему в Берлине. А может, на фронте, как все.

У военного коменданта нет времени их принять. Его подчиненный сообщил Фолькхаймеру, что участники Соппротивления выходят на связь откуда-то из Леопольдштадта. «Опель» целый день колесит по району. На распускающихся деревьях висит зябкий туман. Вернер в кузове трясется от холода. Ему кажется, что все вокруг пропахло мертвечиной.

Пять дней он слышит в наушниках только гимны, записанные пропагандистские речи и отчаянные просьбы офицеров прислать бензин, боеприпасы, людей. Все рвется на глазах; ткань войны с треском расползается на куски.

– Государственная опера, – говорит Нойман-второй как-то вечером.

Перед ними высокий мраморный фасад с множеством колонн, во всем одновременно

угадывается тяжесть и легкость. Вернер думает, до чего бессмысленно строить прекрасные здания, сочинять музыку, петь, печатать огромные книги с изображениями птиц, если равнодушный мир так быстро это все поглощает. Зачем играть на музыкальных инструментах, когда тишина и ветер настолько мощнее? Зачем зажигать фонари, когда тьма все равно их потушит? Когда немецкие солдаты привязывают русских пленников к ограде по несколько человек сразу, суют им в карманы гранаты с выдернутой чекой и отбегают?

Оперные театры! Города на Луне! Смешно. Лучше уткнуться лицом в мостовую и ждать, когда тебя погрузят на сани вместе с другими покойниками.

Ближе к середине дня Фолькхаймер приказывает остановиться в Аугартенском парке. Солнце растопило туман, деревья стоят в первом весеннем цвете. Лихорадка внутри Вернера тлеет, как за дверцей печи. Нойман-первый, который, не будь ему суждено умереть через десять недель при вторжении союзных войск в Нормандию, мог бы стать позже парикмахером, пахнуть тальком и шнапсом, ходить в штанах и рубашках с вечно прилипшими волосами, указательным пальцем упираться в ухо клиентам, поворачивая им голову, и клеить вокруг большого дешевого зеркала открытки с видами Альп, – Нойман-первый говорит:

– Пора стричься.

Он ставит на тротуар табуретку, кладет на плечи Бернду самое чистое полотенце и начинает щелкать ножницами. Вернер находит государственную радиостанцию, передающую вальсы, и ставит репродуктор в открытую дверь «опеля», чтобы всем было слышно. Нойман-первый стрижет Бернда, потом Вернера, потом тощего Ноймана-второго. Фолькхаймер усаживается на табурет и под звук особенно проникновенного вальса закрывает глаза – Фолькхаймер, на чьем счету по меньшей мере сотня убитых. Который огромными экспропрированными башмаками выбивал двери жалких лачуг, всаживал пулю в затылок украинцу-радисту, возвращался к «опелю» и спокойным, почти сонным голосом приказывал Вернеру забрать передатчик – пусть даже этот передатчик залит кровью и забрызган мозгами. Который всегда следил, чтобы Вернер был сыт. Приносил тому вареные яйца, делился супом.

Который искренне привязан к Вернеру и постоянно о нем заботится.

В Аугартене искать трудно: тут много узких улочек и высоких жилых домов. Радиоволны и проходят через здания, и отражаются от них. Ближе к вечеру, когда табурет уже давно убрали, а вальсы умолкли, Вернер сидит за станцией, слушая пустоту, и вдруг из дома выбегает рыженькая девочка в коричневой пелеринке, лет шести-семи, маленькая для своего возраста. У нее большие ясные глаза, совсем как у Ютты. Она бежит через улицу в парк, под цветущие деревья, а мать стоит на углу и покусывает ногти. Девочка залезает на качели и начинает раскачиваться, взмахивая ногами. И тут у Вернера в душе открывается какой-то клапан. Вот зачем мы живем, думает он, чтобы вот так играть в первый весенний день. Он ждет, что Нойман-второй скажет какую-нибудь пошлость, испортит все, но тот молчит, и Бернд тоже. Может, они просто не видят девочку, может, есть хоть что-то чистое, что им не удастся замарать. Девочка качается и поет песенку, ту самую, под которую Юттины подружки прыгали через скакалку перед сиротским домом: «Айнс, цвай, полицай, драй, фир, офицер». Вернеру отчаянно хочется стоять там, раскачивать ее все выше и петь: «Фюнф, зекс, альте хекс, зибен, ахт, гуте нахт!» Тут мать что-то кричит (Вернер не успевает разобрать слов) и берет девочку за руку. Они сворачивают за угол, бархатная пелеринка исчезает.

Меньше чем через час он ловит в треске помех передачу на швейцарском диалекте немецкого. «Передаю в шестнадцать ноль-ноль, это ка-икс сорок шесть, вы меня слышите?» Не все слова ему понятны. Вернер идет через площадь и сам настраивает вторую станцию. Когда передача возобновляется, он пеленгует ее, подставляет числа в формулу, затем поднимает голову и невооруженным глазом видит антенну на стене

жилого дома.

Так просто.

Фолькхаймер уже встрепенулся: лев, почуявший запах дичи. Они давно понимают друг друга без слов.

– Видишь вон там проволоку? – спрашивает Вернер.

Фолькхаймер изучает здание в бинокль:

– То окно?

– Да.

– А там не слишком тесно? Столько квартир?

– То окно, – повторяет Вернер.

Они входят в дом, Вернер остается. Выстрелов не слышно. Через несколько минут его зовут подняться на пятый этаж. Квартира обклеена обоями с цветочным рисунком. Вернер думал, что надо будет, как всегда, забрать оборудование, но в квартире нет ни трупов, ни рации, ни даже обычного приемника. Только люстры, диван с вышитыми подушками и рябящие обои.

– Гляньте под половицами! – приказывает Фолькхаймер.

Нойман-второй выламывает несколько досок, но под ними лишь слежавшийся конский волос.

– Может быть, другая квартира? Другой этаж?

Вернер идет через спальню, распахивает окно и смотрит на чугунный балкон. То, что он принял за антенну, – всего лишь крашенный металлический штырь, наверное, чтобы крепить бельевую веревку. Однако он слышал передачу. А слышал ли?

В затылке нарастает боль. Он садится на неубранную кровать, сцепляет руки за головой и оглядывает комнату. Дамские панталоны на спинке стула, щетка для волос на секретере, ряды флакончиков и баночек с косметикой – все очень женское, загадочное. Вернер чувствует то же смущение, что четыре года назад, когда фрау Зидлер приподняла юбку и встала на колени перед приемником. Мятые простыни, пахнет лосьоном, на туалетном столике фотография молодого человека – племянника? любовника? брата? Может быть, он ошибся в расчетах. Может, сигнал отразился от домов. Может, он отупел от болезни. Розы на обоях плывут, кружатся, наезжают одна на другую.

– Ничего? – кричит Фолькхаймер из другой комнаты, и Бернд отвечает:

– Ничего!

В какой-нибудь параллельной вселенной, думает Вернер, эта женщина могла бы дружить с фрау Еленой. В реальности более приятной, чем эта. Внезапно Вернер замечает на дверной ручке квадрат коричневого бархата с капюшоном, детскую пелеринку, и тут же в соседней комнате раздается булькающий, изумленный возглас Ноймана-второго и выстрел, потом женский крик и еще выстрелы. Фолькхаймер стремительно проходит туда, остальные за ним. Нойман-второй стоит перед открытым стенным шкафом и двумя руками держит винтовку. Все в пороховом дыму. На полу женщина, одна рука заведена назад, будто она отказывается от приглашения танцевать, а в шкафу не рация, а девочка с простреленной головой. Глаза открытые и влажные, рот круглый от изумления. Это та

самая девочка с качелей, и ей никак не больше семи лет.

Вернер ждет, что она моргнет. Моргни, умоляет он мысленно, ну моргни же. Однако Фолькхаймер уже захлопывает шкаф, только дверца не затворяется, потому что девочка нога торчит наружу, а Бернд накрывает женщину одеялом, и как мог Нойман-второй так ошибиться, но, конечно, он ошибся, потому что так всегда с Нойманом-вторым, со всеми в этом взводе, с армией, с миром, они исполняют, что велено, им страшно, они помнят только о себе. Назови мне человека, который поступает иначе.

Нойман-первый, сузив глаза, проталкивается вперед. Нойман-второй, свежеподстриженный, бессмысленно барабанит пальцами по винтовочному прикладу.

– Зачем они прятались? – спрашивает он.

Фолькхаймер мягко убирает девочкину ногу в шкаф.

– Рации здесь нет, – говорит он и закрывает дверцу.

У Вернера тошнота перехватывает горло.

Снаружи фонари качаются на ветру. С запада на город наплывают тучи.

Вернер забирается в «опель». Здания вокруг как будто растут и нависают над ним. Он упирается лбом в крышку откидного столика, и его тошнит на пол.

Так что на самом деле, дети, количественно весь свет – невидимый.

Бернд залезает последним и захлопывает дверцу; «опель» трогается с места, наклоняется, огибая угол. У Вернера такое чувство, будто улицы встали боком и закручиваются воронкой, а грузовик в ее центре засасывает все глубже.

Двадцать тысяч лье под водой

На полу перед входом в спальню Мари-Лоры лежит что-то большое, завернутое в газету и перевязанное шпагатом. С лестничной площадки звучит голос Этьена:

– Поздравляю с шестнадцатилетием!

Мари-Лора разрывает бумагу. Две книги, одна на другой.

Три года и четыре месяца с тех пор, как папа уехал из Сен-Мало. Тысяча двести двадцать четыре дня. Почти четыре года с тех пор, как она последний раз щупала брайлевский шрифт, и все же буквы возникают из памяти, как будто она читала еще вчера.

Жюль. Верн. Двадцать. Тысяч. Лье. Под. Водой. Часть. Первая. Часть. Вторая.

– Ты говорила, что не успела ее закончить. И я подумал, может, не я буду читать тебе, а ты – мне?

– Но как...

– Мсье Эбрар, книготорговец.

– Притом что ничего не достать? И они же такие дорогие!

– У тебя много друзей в этом городе, Мари-Лора.

Она ложится на пол и открывает первую страницу:

– Я начну опять с первой книги. С самого начала.

– Замечательно!

– «Глава первая. Плавающий риф. Тысяча восемьсот восемьдесят шестой год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно...»

Она галопом пролетает первые десять страниц, и все возвращается: мир гадает, что за чудовище таранит корабли, знаменитый морской биолог профессор Пьер Аронакс берется раскрыть загадку. Нарвал или подвижный риф? Что-то совсем другое? Вот-вот Аронакс вылетит за борт фрегата, а вскоре они с канадским гарпунщиком Недом Лендом окажутся на подводном корабле капитана Немо.

За окнами, закрытыми картоном, с платинового неба сеет мелкий дождь. Горлица идет вдоль водосточного желоба и курлычет. В заливе атлантический осетр серебристой лошастью выпрыгивает из воды и пропадает.

Телеграмма

На изумрудный берег прибыл новый командир гарнизона, полковник. Подтянутый, решительный, толковый. С медалями за Сталинград. Носит монокль. При нем постоянно секретарь-переводчица, очень красивая француженка, которая то ли была, то ли не была морганатической супругой одного из представителей российского императорского дома.

Он среднего роста, с преждевременной сединой, но в его выправке и манере держаться есть что-то такое, отчего все остальные кажутся на голову ниже его. Говорят, что до войны полковник руководил целой автомобильной компанией. Что он понимает мощь Германской земли, чувствует в своих жилах биение ее темной доисторической силы. Что он совершенно непреклонен.

Каждый вечер полковник рассылает телеграммы. В числе шестнадцати официальных депеш, отправленных им из Сен-Мало 13 апреля 1944 года, есть сообщение в Берлин:

= ДЕПАРТАМЕНТЕ КОТ Д'АРМОР ЗАМЕЧЕНО РАДИОВЕЩАНИЕ ТЕРРОРИСТОВ ТЧК ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО СЕН-ЛУНЭР ЛИБО ДИНАР ЛИБО СЕН-МАЛО ЛИБО КАНКАЛЬ ТЧК ПРОСИМ ПОМОЩИ ПОИМКЕ И УНИЧТОЖЕНИИ =

Точка-точка-тире-тире, летит телеграмма по проводам через всю Европу.

8. 9 августа 1944 г.

Форт-Насиональ

На третий день осады Сен-Мало обстрел затихает, как будто артиллеристы ненадолго задремали у орудий. Горят деревья, машины, дома. Немецкие солдаты в блиндажах пьют вино. В школьном подвале священник кропит святой водой стены. Две обезумевшие от страха лошади выбили двери конюшни и галопом несутся по горячей Гран-рю.

Примерно в четыре неверно направленный снаряд из американской полевой гаубицы, перелетев через городскую стену, взрывается у северного парапета Форт-Насионаля, куда согнали против воли триста восемьдесят французов. Девять человек умирают на месте. У одного из них – он только что играл в бридж – в руках по-прежнему зажаты карты.

На чердаке

Все четыре года, что Мари-Лора провела в Сен-Мало, колокола церкви Святого Викентия били каждый час. Однако сегодня они молчат. Она не знает, как долго просидела на чердаке, не знает даже, день сейчас или ночь. Время такое юркое – отпусти чуть-чуть, и оно выскользнет из рук навсегда.

Жажда настолько нестерпима, что хочется прокусить руку и напиться своей кровью. Мари-Лора достает консервную банку из кармана дядюшкиного пальто и припадает губами к краям. И у губ, и у крышки металлический привкус. До содержимого всего миллиметр.

Нет, говорит папин голос. Он услышит.

Я открою только одну банку, папа. Вторую приберегу на потом. Немец уже ушел. Почти наверняка ушел.

Почему он не задел проволоку?

Он ее разрезал. Или я проспала колокольчик. Да мало ли почему!

С чего ему уходить, если то, что он ищет, здесь?

Кто знает, что он ищет?

Ты знаешь.

Я так хочу есть, папа.

Постарайся думать о чем-нибудь другом.

Ревущие водопады холодной чистой воды.

Ты выживешь, ma chérie.

Откуда ты знаешь?

Потому что у тебя в кармане алмаз. Потому что я оставил его, чтобы он тебя берег.

От него никакого проку! Только одни беды!

Тогда почему в дом не попала бомба? Почему он не сгорел?

Это камень, папа. Самый обычный. Есть лишь везенье и невезенье. Случай и физика. Помнишь?

Ты жива.

Я жива лишь потому, что до сих пор не умерла.

Не открывай банку. Он тебя услышит и убьет.

Как он меня убьет, если я не могу умереть?

Вопросы ходят по кругу – мозги сейчас закипят. Мари-Лора садится на банкетку и начинает водить пальцами по передатчику, пытаюсь вспомнить объяснения Этьена: вот фонограф, вот микрофон, вот четыре проводка ведут к двум аккумуляторам. И тут внизу раздается голос.

Очень аккуратно она сползает с банкетки и прижимается ухом к полу.

Немец прямо под ней. Мочится в унитаз на шестом этаже. Журчит бесконечная тонкая струйка, а немец постанывает, как от боли. Между стонами он восклицает: «Das Häuschen fehlt, wo bist du Häuschen?»[39]

Что-то с ним не так.

– Das Häuschen fehlt, wo bist du Häuschen?

Никакого ответа. С кем он разговаривает?

Откуда-то из-за дома доносится минометная пальба и свист снарядов над головой. Немец идет из уборной в спальню Мари-Лоры. Все та же прихрамывающая походка. И бормотание. Häuschen: что это значит?

Скрипят пружины ее матраса – этот звук ни с чем не спутать. Неужели немец все это время спал на ее кровати? Шесть выстрелов прокатываются один за другим, ниже, дальше, чем зенитный огонь. Корабельная артиллерия. И тут же барабаны, тарелки, гонги взрывов малиновой сеткой расчерчивают небо над домом. Затишье кончилось.

Бездна в желудке, пустыня в горле – Мари-Лора достает из пальто банку. Кирпич и нож лежат рядом.

Нет!

Если я буду слушать тебя, папа, то умру от голода, держа в руках банку с едой.

Внизу, в спальне, все тихо. Снаряды летят упорно, через предсказуемые интервалы, рисуя над потолком длинные алые параболы. Можно открыть банку – за их свистом будет не слышно.

ИИИИИИ, свистит снаряд, дзынь, ударяет кирпич по ножу, а нож по банке. Глухой взрыв где-то вдали. Осколки стучат по стенам зданий.

ИИИИИИ, дзынь. ИИИИИИ, дзынь. Каждый удар – молитва. Не дай ему услышать!

Пять ударов, и из крышки проступает жидкость. Шестым Мари-Лоре удастся расширить отверстие и отогнуть часть крышки ножом.

Она подносит банку к губам и пьет прохладный солоноватый сок: фасоль. Консервированная фасоль. Вода, в которой варились стручки, какая-то на удивление вкусная; хочется пить ее всем телом. Папин голос в голове уже давно молчит.

Головы

Вернер продевает антенну через мешанину досок в потолке и прикладывает к покореженной трубе. Никакого результата. Он на четвереньках проползает вдоль стен, укладывая антенну по периметру подвала, словно хочет опутать Фолькхаймера в его золотистом кресле. Опять ничего. Выключает полуживой фонарик, прижимает наушник к здоровому уху, зажимается и, целиком обратившись в слух, начинает в темноте двигать иголку по катушке настройки.

Треск помех. Больше ничего.

Может, они слишком глубоко. Может, развалины дома экранируют сигнал. Может, в рации какая-то фундаментальная поломка, которую он не заметил. А может, ученые фюрера изобрели сверхмощное оружие, вся эта часть Европы уничтожена и Вернер с Фолькхаймером – последние живые люди на тысячу километров вокруг.

Он снимает наушники и выключает станцию. Пайки давно съедены, фляжки опустели. Они с Фолькхаймером, давась, выпили по несколько глотков воды из-под малярных кистей, и Вернер не уверен, что сможет еще раз взять в рот эту гадость.

Батарея в рации почти села. Когда она кончится, можно будет вставить американскую одиннадцативольтную с черной кошкой. А потом?

Сколько кислорода в час потребляют легкие одного человека? Было время, когда Вернер с удовольствием занялся бы подсчетами. Теперь он сидит с двумя гранатами Фолькхаймера на коленях и чувствует, как внутри его гаснет последняя искра света. Вертит одну гранату, потом другую. Он взорвал бы их только для того, чтобы осветить подвал, чтобы последний раз хоть что-нибудь увидеть глазами.

Фолькхаймер иногда включает фонарь и светит в дальний угол, где на двух полках частью стоят, частью лежат восемь или девять гипсовых голов. Они примерно как у манекенов, только тщательнее проработаны: три с усами, две лысые, одна в военной фуражке. У них есть странное свойство: очень белые, они при выключенном фонаре как будто остаются на сетчатке Вернера, не вполне видимые и не вполне невидимые, и почти что светятся в темноте.

Безмолвные, внимательные, неморгающие.

Обман зрения.

Лица, отвернитесь.

В темноте Вернер подползает к Фолькхаймеру; так хорошо отыскать среди мрака мощное колено друга. Винтовка лежит рядом. Тело Бернда где-то позади.

– Ты когда-нибудь слышал, что про тебя рассказывают? – спрашивает Вернер.

– Кто?

– Мальчишки в Шульпфорте.

– Кое-что слышал.

– Тебе это нравилось? Быть Великаном? И что тебя все боялись?

– Мало радости постоянно слышать вопрос, сколько в тебе роста.

Где-то на улице взрывается снаряд. Где-то там горит город, океан разбивается о берег, морские желуди колышут веерами усиков.

– А правда, сколько в тебе роста?

Фолькхаймер испускает короткий смешок.

– Как ты думаешь, Бернд был прав насчет гранат?

– Нет, – говорит Фолькхаймер с неожиданной твердостью. – Они нас убьют.

– Даже если как-то забаррикадироваться?

– Нас раздавит.

Вернер пытается различить среди черноты гипсовые головы.

Если не гранаты, то что? Неужто Фолькхаймер и вправду верит, что кто-нибудь станет их раскапывать? Что они заслуживают спасения?

– Так мы будем просто ждать?

Фолькхаймер не отвечает.

– И сколько еще?

Когда сядет аккумулятор, можно будет вставить американскую батарейку, и радио проработает еще сутки. А можно вставить ее в фонарь Фолькхаймера. Батарейка даст им еще сутки треска атмосферных помех. Или еще сутки света. Но для выстрела из винтовки света не нужно.

Помрачение

Что-то малиновой бахромой колышется на краю зрения. Наверно, он принял слишком много морфия. Или болезнь прогрессирует и добралась до глаз.

Пепел снежинками влывает в окно. Уже рассвет? Или это зарево пожара? Простыни насквозь пропотели, форма мокрая, будто он купался во сне. Во рту привкус крови.

Фон Румпель перекачивается на край кровати и смотрит на макет. Он уже исследовал каждый квадратный сантиметр игрушки. Бутылкой отколотил угол. Сооружения по большей части полые – шато, собор, рынок, – но зачем тратить время и ломать их все, если самого главного дома нет?

В несчастном городе за окном почти все горит или рушится, а здесь, в миниатюре, наоборот – город стоит, а дом, где он сейчас, испарился.

Могла девочка забрать его с собой при бегстве? Да, могла. Дядю перед отправкой в Форт-Националь тщательно обыскали – об этом фон Румпель позаботился – и не нашли ничего, кроме бумаг.

Где-то обрушилась стена, тонны каменной кладки с грохотом оседают на землю.

То, что этот дом стоит среди всеобщего разрушения, – вполне убедительное доказательство. Камень где-то здесь. Надо просто отыскать его, пока еще есть время. Прижать к сердцу и ждать, когда богиня протянет огненную руку и выжжет его беды. Выведет его из цитадели, из осады, из болезни. Он будет спасен. Надо лишь заставить себя встать с кровати и продолжить поиски. Методично. Сколько бы часов они ни заняли. Разобрать тут все по кирпичикам. Начать с кухни. Еще раз.

Вода

Слышно, как внизу скрипят пружины матраса. Как немец, прихрамывая, спускается по лестнице. Он уходит? Сдался?

Пошел дождь. Тысячи капель барабанят по крыше.

Мари-Лора встает на цыпочки и прижимается ухом к потолку. Слушает журчание дождевых струй. Как там эта молитва? Та, которую мадам Манек шептала, когда с Этьеном не было никакого сладу?

Господи, милость Твоя – огонь очищающий.

Надо включить смекалку и логику. Как сделал бы папа или великий морской биолог профессор Пьер Аронакс у Жюль Верна. Немец не знает про чердак. У нее в кармане камень, есть еще одна банка с едой. Это преимущества.

Дождь – тоже хорошо. Он хоть немного, да притушит пожар. Можно ли набрать дождевой воды для питья? Прodelать дырки в крыше? Как-нибудь еще обратить его себе на пользу? Может, его стук заглушит ее шаги?

Она точно знает, где стоят два оцинкованных ведра: сразу за дверью спальни. Добраться до них, может, даже отнести одно сюда...

Нет, отнести не получится. Слишком тяжелое ведро, слишком много шума, вода расплещется. Однако можно добраться до ведра и погрузить в него лицо. Наполнить водой банку из-под фасоли.

Одна мысль о воде – о том, как кончик носа, потом губы касаются холодной поверхности, – вызывает биологическую тягу, какой Мари-Лора еще не знала. Она мысленно падает в озеро, вода заливается в уши, в рот, в горло. Маленький глоточек – и мозг снова заработает. Она ждет, что папин голос отсоветует идти, но голос молчит.

От шкафа через комнату Анри, через лестничную площадку до ее двери – двадцать один шаг. Мари-Лора берет с пола нож и пустую консервную банку, сует их в карман. Тихонько спускается по лестнице из семи перекладин и долго стоит неподвижно за стенкой шкафа. Слушает, слушает, слушает, пригнувшись. Миниатюрный домик вдавливаются в ребра. Интересно, там, на крохотном чердаке, маленькая Мари-Лора тоже вслушивается за шкафом? Так же сильно ей хочется пить? Ни звука, только стучит дождь, превращая Сен-Мало в месиво из грязи и пепла.

Возможно, это ловушка: он услышал, как она открывает банку, шумно спустился на первый этаж, тихо поднялся обратно и теперь стоит перед шкафом с пистолетом в руках.

Господи, милость Твоя – огонь очищающий.

Мари-Лора упирается ладонью в стенку и сдвигает панель. Рубашки гладят ее по лицу. Она приоткрывает одну дверцу.

Никаких выстрелов. Ничего. За выбитым окном дождь хлещет по горящим зданиям с таким звуком, будто волны перекачивают гальку. Мари-Лора призывает дедушку, в чьей спальне сейчас стоит, – любознательного вихрастого мальчика, от которого пахнет морем. Веселый, непоседливый Анри берет ее за одну руку, Этьен – за другую. Дом становится как пятьдесят лет назад. Внизу смеются нарядные родители, кухарка снимает верхние створки с устриц, мадам Манек, молоденькая горничная, только что из деревни, стоит на стремянке, стирает пыль с люстры и напевает за работой...

Папа, у тебя есть ключи от всего на свете.

Мальчики ведут ее к лестничной площадке и дальше, мимо уборной.

В спальне остался запах немца: вроде бы ваниль и еще что-то кислое. Мари-Лора не слышит ничего, кроме дождя и стука крови в висках. Она тихо-тихо опускается на колени и ведет рукой вдоль щели между досками. Звук, с которым пальцы касаются ведра, кажется громче соборного колокола.

Дождь молотит по крышам и по стенам, струйками журчит за выбитыми окнами. Вокруг – ее камешки и ракушки. Папин макет. Ее одеяло. И где-то должны быть туфли.

Мари-Лора наклоняет лицо и касается губами воды. Каждый глоток кажется громким, как взрыв снаряда. Один, три, пять. Мари-Лора глотает, дышит, глотает, дышит. Она всей головой в ведре.

Дышит. Умирает. Грезит.

Не шаги ли там? Он на первом этаже? Не поднимается?

Девять, одиннадцать, тринадцать – все, напилась. И даже слишком – в кишках плещется вода. Мари-Лора опускает в ведро консервную банку.

Теперь вернуться без единого звука. Не задеть за стену, за дверь. Не споткнуться, не пролить воду. С полной банкой в левой руке, Мари-Лора начинает ползком выбираться из комнаты.

Она уже у двери, когда вновь слышит немца. Он тремя или четырьмя этажами ниже, перерывает комнату. Высыпает на пол целый ящик чего-то, кажется подшипников. Они подпрыгивают, звенят, катятся.

Мари-Лора вытягивает правую руку и прямо у порога натывается на что-то большое, прямоугольное, твердое. Ее книга! Роман Жюль Верна! Как будто папа ей здесь его оставил! Наверное, немец скинул книгу с кровати. Мари-Лора как можно тише берет ее и прижимает к груди.

Удастся ли добежать до первого этажа?

Проскочить мимо немца на улицу?

Однако вода уже наполнила капилляры, кровь побежала быстрее, мозг заработал лучше. Мари-Лора не хочет умирать. Она и без того слишком испытывает судьбу. Даже если удастся чудом пробежать мимо немца, нет гарантий, что на улице будет безопасней.

Вот она уже на площадке. В дедушкиной спальне. Ощупью находит платяной шкаф, забирается внутрь и тихо затворяет за собой дверцы.

Балки

Снаряды проносятся над головой, и подвал дрожит, как от проезжающих поездов. Вернер мысленно видит американских артиллеристов: корректировщики огня смотрят из танков, со склона горы, с гостиничного балкона; офицеры просчитывают скорость ветра, наклон ствола, температуру воздуха; радисты повторяют указания.

Три градуса правее, расстояние то же. Спокойные усталые голоса направляют огонь. Наверное, таким же голосом Бог призывает души к себе. Сюда, пожалуйста.

Всего лишь числа. Чистая математика. Привыкайте мыслить в таких категориях. Вот и у них так же.

– Мой прадед, – внезапно говорит Фолькхаймер, – был лесорубом в те времена, когда еще не появились пароходы и весь флот был парусный.

В темноте точно не скажешь, но вроде бы он стоит и водит рукой по треснувшей балке – одной из трех, на которых держится потолок. Колени чуть согнуты – словно атлант, готовый впрячься в работу.

– Тогда, – продолжает Фолькхаймер, – всей Европе нужны были мачты для кораблей. Однако почти все государства свели свои леса. Во всей Англии, рассказывал прадед, не осталось ни одного стоящего дерева. Так что все мачты для английского и для испанского флота, да и для португальского тоже, везли из Пруссии, из лесов, в которых прошло мое детство. Дедушка знал, где растут самые высокие. Бывало, пять человек три дня пилили одно дерево – такие были стволы. Сперва вгоняли клинья, прадед говорил: как иголки в шкуру слона. Иногда приходилось вбить более сотни клиньев, прежде чем дерево наклонилось.

Со свистом проносится снаряд; подвал дрожит.

– Прадед рассказывал, что ему нравилось воображать, как стволы везут через всю Европу, через реки, через море в Британию, очищают от коры, обстругивают и ставят на кораблях, как они проживают целую жизнь, видят океаны, участвуют в сражениях, пока не упадут и не умрут второй смертью.

Еще один снаряд пролетает наверху; балки над головой хрустят – а может быть, Вернеру мерещится. Этот кусок угля был когда-то зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос миллион лет назад. А может, не миллион, а два или даже сто миллионов лет назад. Можете вообразить сто миллионов лет?

Вернер говорит:

– Там, откуда я родом, деревья выкапывали из-под земли. Доисторические.

– Я одного хотел – выбраться оттуда, – отвечает Фолькхаймер.

– Я тоже.

– А теперь?

Бернд покрывается плесенью в углу. Ютта там, далеко, видит, как из ночи выступают тени, как шахтеры в первом утреннем свете бредут домой. Ведь в детстве он и не хотел ничего другого, верно? Его вполне устраивал этот мир – мир ягод, морковных очистков и сказок фрау Елены. Дегтя, поездов за окном, жужжания пчел между рамами. Мир, где были бечевка, проволока и голос из приемника, обещающий веретено, чтобы прясть свои грезы.

Передатчик

Передатчик на столе у печной трубы. Два лодочных аккумулятора на полу. Странный механизм, выстроенный десятилетия назад, чтобы разговаривать с призраком. Как можно тише Мари-Лора усаживается на банкетку. У кого-то наверняка есть приемник – у пожарных, если они еще остались, у бойцов Сопротивления, у американцев, которые обстреливают город. У немцев в подземных фортах. Или даже у Этьена. Она пытается вообразить, как он сидит, съезжившись, и крутит настройку призрачного радио. Может, он думает, что она мертва. Может, ему нужна лишь искорка надежды.

Мари-Лора ощупывает трубу и находит рычаг. Налегает на него всем телом. Антенна выдвигается, скрежещет о крышу.

Слишком громко.

Она ждет. Считает до ста. Внизу по-прежнему все тихо.

Пальцы находят под столом тумблеры: один для микрофона, другой для передатчика. Она не помнит, какой для чего. Включает оба подряд. В корпусе передатчика гудят лампы.

Не слишком громко, папа?

Не громче ветерка. Отголоски пожара.

Мари-Лора ведет рукой вдоль провода и находит микрофон.

Просто закрыть глаза не значит и в малой степени понять, что такое слепота. Под вашим миром небес, лиц и зданий есть более древний мир, где внешние поверхности исчезают и звуки рыбьими косяками плывут в воздухе. Мари-Лора на чердаке, высоко над улицей, слышит, как шуршит камыш на болоте в трех километрах от города. Как американцы в полях направляют орудия на дымящийся Сен-Мало. Как в подвалах, где семьи сидят у керосиновых ламп, всхлипывают дети, как вороны прыгают по грудам кирпича и мухи садятся на мертвые тела, как дрожит тамариск, трещат сойки и пылает трава на дюнах. Она чувствует исполинский гранитный кулак, на котором стоит Сен-Мало, и океан, набегающий с четырех сторон, и внешние острова под вечным натиском прилива. Слышит, как коровы пьют из каменных поилок и дельфины выпрыгивают из зеленой воды Ла-Манша, как в пяти лье от берега песок заносит скелеты мертвых китов, чей костный мозг столетиями служит пищей целым колониям организмов, которые проживут жизнь, не увидев и одного фотона солнечного света. Как в гроте улитки ползут по мокрым камням.

Может, не я буду читать тебе, а ты – мне?

Свободной рукой она открывает книгу на коленях. Находит пальцами строки. Подносит микрофон к губам.

Голос

Утром четвертого дня в подвале под разрушенным «Пчелиным домом» Вернер крутит настройку починенной рации, и внезапно девичий голос говорит прямо в его здоровое ухо: «В три часа ночи меня разбудило какое-то страшное сотрясение». Он думает: это голод, меня лихорадит, я навоображал невесту что в треске помех...

Девушка продолжает: «Я приподнялся на постели и стал прислушиваться, как вдруг меня отбросило на середину каюты».

Она говорит тихо, на прекрасном французском, выговор у нее четче, чем у фрау Елены. Вернер прижимает наушник к уху.

«Ясно, что „Наутилус“ на что-то натолкнулся и дал сильный крен», – говорит она, грассируя. С каждым звуком голос все глубже проникает в его мозг. Юный высокий голос немногим громче шепота. Если это галлюцинация, то пусть она не кончается.

«Одна из таких ледяных глыб опрокинулась и ударила по „Наутилусу“, который стоял на месте под водою. Затем она скользнула по его корпусу, с непреодолимой силой приподняла его, вытеснила кверху, в менее плотный слой воды».

Слышно, как она языком облизывает небо.

«Но можно ли было ручаться за то, что мы сейчас не натолкнемся на верхний слой торосов и не будем сдавлены между двумя поверхностями ледяных массивов?»

Снова врываются помехи, грозя заглушить голос, и Вернер сражается с ними изо всех сил. Он снова мальчик на чердаке и не хочет пробуждаться от сна, а Ютта трясет его

за плечо и шепчет: «Проснись!»

«Мы находились среди воды, но по обе стороны, всего в десяти метрах, вздымались ледяные стены. Сверху и снизу такая же стена».

Девушка перестает читать, снова трещат помехи. Когда ее голос раздается опять, это взволнованный, настоятельный шепот: «Он здесь. Прямо подо мной».

Передача обрывается. Вернер крутит настройку, переключает частоты: ничего. Тогда он снимает наушники, идет в полной темноте к Фолькхаймеру и хватает его за плечо:

– Я что-то слышал. Бога ради...

Фолькхаймер не шевелится, он словно вырезан из дерева. Вернер дергает изо всех сил, но он слишком маленький, слишком слабый и почти сразу выдыхается.

– Перестань, – говорит голос Фолькхаймера из темноты. – Ничего это не даст.

Вернер садится на пол. Где-то в развалинах орут кошки. Голодные, наверное. Как он. Как Фолькхаймер.

Один мальчик в Шульпфорте описывал Вернеру Нюрнбергский съезд: океан знамен, плотная толпа и сам фюрер на трибуне, выстроенной по подобию алтаря, лучи прожекторов освещают колонны у него за спиной, воздух искрится праведным гневом, и понимаешь, ради чего жить. Ганса Шильцера это сводило с ума, и Герриберта Помзеля тоже, и всех мальчишек в Шульпфорте. И лишь один человек в окружении Вернера не поддавался на театральщину – его младшая сестра. Как? Каким образом Ютта сразу все поняла? В то время, когда мы знали так мало?

Но можно ли было ручаться за то, что мы сейчас не натолкнемся на верхний слой торосов и не будем сдавлены между двумя поверхностями ледяных массивов?

Он здесь. Прямо подо мной.

Сделай что-нибудь. Спаси ее.

Однако Бог – лишь белый холодный глаз в небе, месяц, смотрящий сквозь дым, как город мало-помалу обращается в прах.

9. Май 1944 г.

Край света

В кузове «опеля» Фолькхаймер вслух читает Вернеру письмо. Тетрадный листок в его ручищах кажется совсем невесомым.

...И еще герр Зидлер из шахтоуправления прислал записку, где поздравляет тебя с

успехами. Он пишет, что тебя заметили. Значит ли это, что ты скоро вернешься домой? Ганс Пфефферинг просит передать тебе, что «смелого пуля боится», хотя, по-моему, это плохой совет. Зуб у фрау Елены почти прошел, только она по-прежнему не может курить и от этого вся дерганая. Я писала тебе, что она закурила?..

За плечом Фолькхаймера, в треснувшем заднем окне будки, парит над землей рыжая девочка в бархатной пелеринке. Она плывет сквозь деревья и дорожные знаки, поворачивает вместе с дорогой, следует за машиной повсюду, как луна.

Нойман-первый берет курс на запад. Вернер в одеяле лежит под лавкой, не шевелясь, отказывается от чая, от тушенки, а мертвая девочка плывет за ним повсюду. Она в небе, в окне, в десяти сантиметрах от лица. Два влажных немигающих глаза и третий – пулевое отверстие.

«Опель» проезжает через зеленые городки, где тополя рядами тянутся вдоль сонных каналов. Две женщины на велосипедах съезжают на обочину и с ненавистью провожают взглядом немецкий грузовик.

– Франция, – говорит Бернд.

Над головой качаются вишневые ветки в белых бутонах.

Вернер открывает заднюю дверь и свешивает ноги, так что ступни скользят почти сразу над дорогой. Лошадь катается по траве, пять белых облачков украшают небо.

Вечер. Ужин в городке под названием Эперне. Хозяин гостиницы приносит вино, куриные ноги и бульон. Вернер пьет бульон, и его даже не тошнит. Люди за столиками вокруг разговаривают на языке, на котором фрау Елена когда-то пела ему колыбельные. Нойман-первый отправляется искать солярку, Нойман-второй спорит с Берндом, правда ли в первую войну цеппелины делали из коровьих кишок, а три мальчика в беретах стоят у входа и круглыми глазами таращатся на Фолькхаймера. За ними оранжевые ноготки на клумбе складываются в мертвую девочку, затем вновь становятся цветами.

– Еще бульона? – спрашивает хозяин.

У Вернера нет сил мотнуть головой. Он боится опустить руки на стол: они такие тяжелые, что пройдут через дерево как сквозь масло.

Они едут всю ночь и на рассвете останавливаются у блокпоста в северной части Бретани. Вдалеке высится каменная цитадель Сен-Мало. Облака – чересполосица светло-серого и голубого, море под ними такое же.

Фолькхаймер протягивает часовому приказу. Вернер, не спрашивая разрешения, выпрыгивает из грузовика и перелезает через низкий парапет на пляж. Обходит череду заграждений и направляется к воде. Вправо вдоль берега по меньшей мере на километр тянется деревянная конструкция, опутанная колючей проволокой.

На гладком песке – ни одного отпечатка ноги. Галька и комья водорослей лежат волнистой линией. Видны три острова с низкими каменными фортами; на конце причала горит зеленый фонарь. Почему-то кажется, что так и должно быть: вот край материка, впереди только море, дальше некуда. Как будто это цель, к которой Вернер двигался с тех пор, как покинул Цольферайн.

Он окунает руку в прибой и подносит пальцы ко рту, чтобы попробовать соль на вкус. Кто-то выкрикивает его имя, но Вернер не смотрит в ту сторону. Ему хочется стоять тут весь день и смотреть, как рябит под солнцем вода. Теперь кричат уже двое, Бернд и Нойман-первый. Наконец Вернер оборачивается и видит, что они машут руками. Он

идет по песку, между заграждениями, назад к «опелю».

Человек десять смотрят на него во все глаза. Часовые, несколько местных. У кого-то руки прижаты к лицу.

– Осторожней! – орет Бернд. – Там мины! Ты что, табличек не видел?

Вернер залезает обратно в кузов и складывает руки на груди.

– Совсем соображать перестал? – спрашивает Нойман-второй.

Редкие горожане прижимаются к домам, пропуская обшарпанный «опель». Нойман-первый останавливает машину перед четырехэтажным зданием с голубыми ставнями.

– Районная комендатура, – объявляет он.

Фолькхаймер уходит в дом и возвращается с полковником в полевой форме: рейхсверовский китель, широкий ремень, черные сапоги. С ним два адъютанта.

– Мы предполагаем, что действует целая сеть, – говорит один из адъютантов. – За числовым шифром следуют объявления о крестинах, помолвках и смертях.

– А потом музыка, почти всегда музыка, – добавляет второй. – Что это значит, мы не понимаем.

Полковник проводит двумя пальцами по безупречно выбритой щеке. Фолькхаймер смотрит на него и на адъютантов как на расстроенных детей, которых надо срочно утешить, пообещать, что мелкая несправедливость будет исправлена.

– Мы их найдем, – говорит он. – Это много времени не займет.

Числа

Врач в Нюрнберге сообщает Рейнгольду фон Румпелю, что опухоль в горле выросла до четырех сантиметров в диаметре. Размер опухоли в тонкой кишке оценить труднее.

– Три месяца, – говорит доктор. – Может быть, четыре.

Часом позже фон Румпель на банкете. Четыре месяца. Сто двадцать восходов, еще сто двадцать раз поднимать больное тело с кровати и застегивать в форму. Офицеры за столом возмущенно обсуждают другие числа: Восьмая и Пятая немецкие армии отступают из Италии. Десятая, возможно, окружена. Едва ли удастся удержать Рим.

Сколько людей?

Сто тысяч.

Сколько единиц техники?

Двадцать тысяч.

Подают кубики печени, подсоленные и приперченные, в слякоти бурой подливки. Фон

Румпель молча смотрит в тарелку, пока ее не уносят. Три тысячи четыреста марок – вот все, что у него осталось. И три бриллиантика в конверте, который он держит в бумажнике. Каждый примерно по карату.

Женщина за столом увлеченно говорит про собачьи бега, про их волнующий азарт, про то, как они ее возбуждают. Фон Румпель берет кофе, силясь унять дрожь в руках. Официант трогает его за плечо:

– Вас к телефону. Междугородний звонок из Франции.

Фон Румпель на ватных ногах проходит через вращающуюся дверь. Официант ставит телефонный аппарат на стол и вежливо удаляется.

– Фельдфебель? Это Жан Бриньон.

Имя ничего не говорит фон Румпелю.

– У меня есть сведения о мастере из музея. Про которого вы спрашивали в прошлом году.

– Леблане.

– Да, о Даниэле Леблане. Вы не забыли про моего брата? Вы обещали ему помочь, если я что-нибудь разузнаю.

Три курьера, из них два найдены. Осталось решить последнюю задачку. Богиня снится фон Румпелю почти каждую ночь: волосы у нее – пламя, пальцы – древесные корни. Безумие. Даже сейчас, пока он стоит у телефона, цепкий плющ обвивает горло, взбирается к ушам.

– Да, ваш брат. Что вы узнали?

– Леблана обвинили в заговоре, что-то связанное с шато в Бретани. Арестовали в январе сорок первого по доносу местного жителя. При нем нашли чертежи и отмычки. Кроме того, его сфотографировали, когда он проводил измерения в Сен-Мало.

– В каком он лагере?

– Я не сумел выяснить. Система довольно сложна.

– А кто доносчик?

– Малуэн по фамилии Левитт. Клод Левитт.

Фон Румпель задумывается. Слепая дочь, квартира на рю-де-Патриарш пустует с июня сорокового, Музей естествознания продолжает вносить квартплату. Куда такой человек убежит, если надо будет бежать? Если при нем нечто очень ценное? И слепая дочка в придачу? Почему Сен-Мало? Очевидно, у него там кто-то близкий.

– Мой брат, – говорит Жан Бриньон. – Вы поможете моему брату?

– Спасибо большое, – говорит фон Румпель и кладет трубку.

Май

Последние дни мая сорок четвертого в Сен-Мало напоминают Мари-Лоре последние дни мая сорокового в Париже: такие же долгие и так же наполнены благоуханием. Как будто все живое торопится жить накануне какой-то катастрофы. По пути в булочную мадам Рюэль воздух пахнет миртом, магнолией и вербеной; распустилась глициния, повсюду аркады и занавесы цветов. Мари-Лора считает канализационные решетки; на двадцать первой она минует мясную лавку (звук воды, льющейся из шланга на мостовую), на двадцать пятой – булочная.

Мари-Лора кладет на прилавок продовольственный талон:

– Один простой батон, пожалуйста.

– А как твой дядя?

Слова всегдашние, а вот мадам Рюэль сегодня какая-то необычная. Словно наэлектризованная.

– Дядя здоров, спасибо.

И тут мадам Рюэль – чего никогда прежде не случалось – нагибается через прилавок и берет Мари-Лору за щеки. Ладони у нее в муке.

– Ты – сокровище!

– Вы плачете, мадам? Что-нибудь случилось?

– Все замечательно, Мари-Лора.

Ладони исчезают, и появляется батон – тяжелый, теплый, больше обычного.

– Скажи дяде, что час пробил. Что русалки обесцветили волосы.

– Русалки, мадам?

– Они скоро будут здесь. Не пройдет и недели. Подставляй руки.

Мадам Рюэль вручает ей мокрый, холодный кочан капусты размером с пушечное ядро. Он еле-еле пролезает в отверстие рюкзака.

– Спасибо, мадам.

– А теперь быстрее домой.

– На улице чисто?

– Как вода в роднике. Никого. Сегодня чудесный день. Незабываемый.

Час пробил. *Les sirènes ont les cheveux décolorés.* Дядя слышал по своему радио толки, что за Ла-Маншем, в Англии, собирается огромная армада: реквизируют и переоборудуют рыбацьи суда. Пять тысяч судов, одиннадцать тысяч самолетов, пятьдесят тысяч единиц техники.

На перекрестке с *рю-д'Эстре* Мари-Лора поворачивает не влево, к дому, а вправо. Сто метров до укреплений, сто с чем-то вдоль стены; она вытаскивает из кармана ключ, подарок Юбера Базена. пляж закрыт уже много месяцев, заминирован, затянута колючей проволокой, но осталась старая конура, где Мари-Лора может, невидимо ни для кого,

посидеть среди улиток, воображая себя великим морским биологом Аронаксом, почетным гостем и пленником капитана Немо, свободным от государств и политики, плывущим через калейдоскоп морских чудес. Быть свободной! Лежать в ботаническом саду с папой. Чувствовать его руки в своих, слышать, как подрагивают на ветру лепестки тюльпанов. Он сделал ее центром своей жизни; с ним она привыкла считать, что каждый ее шаг важен.

Ты все еще со мной, папа?

Они скоро будут здесь. Не пройдет и недели.

Преследование (снова)

Они ищут день и ночь. Сен-Мало, Динар, Сен-Сер-ван, Сен-Венсан. Нойман-первый втискивает потрепанный «опель» в узкие улочки, где борта грузовика с обеих сторон скребут по стенам. Они проезжают маленькие серые блинные с разбитыми окнами, заколоченные булочные, склоны, где пленные месят цемент, а кряжистые проститутки таскают воду из колодцев, но нигде не слышат передачи, о которой говорили адъютанты полковника. Вернер ловит Би-би-си с севера и пропагандистские станции с юга, иногда – череду точек и тире. Однако никто не сообщает о свадьбах и похоронах, не читает чисел и не включает музыку.

Вернеру и Бернду досталась комната на верхнем этаже реквизированной гостиницы внутри крепости. Время здесь как будто остановилось давным-давно. На потолке трехсотлетней давности лепнина: пальмовые листья, рога изобилия. Ночью по коридорам ходит мертвая венская девочка. Она не смотрит на Вернера, входя в открытую дверь, но он знает: она преследует его.

Хозяин гостиницы заламывает руки, Фолькхаймер расхаживает по холлу.

По небу ползут самолеты – невероятно медленно. Вернеру кажется, что сейчас они застопорятся совсем и упадут в море.

– Наши? – спрашивает Нойман-первый. – Или их?

– Слишком высоко. Не разобрать.

В номере верхнего этажа – видимо, лучшем в гостинице – Вернер встает в шестиугольную ванну и ребром ладони стирает с окна грязь. Крылатые семечки кружатся на ветру и падают в сумеречный колодец между зданиями. На темном потолке свернулась трехметровая пчелиная царица с фасетчатыми глазами и золотистым пушком на брюшке.

* * *

Дорогая Ютта!

Прости, что не писал тебе в последние месяцы. Лихорадка почти прошла, так что не

волнуйся за меня. Сегодня я хочу написать тебе про море. Оно такое многоцветное. Серебристое на заре, зеленое в полдень, синее вечером. Иногда оно кажется почти красным, а иногда – цвета старинных монет. Сейчас по нему плывут тени облаков, и повсюду искрится солнце. Белые цепочки чаек над волнами – как бусы.

Я ничего в жизни красивее не видел. Порой я засматриваюсь на него и забываю про свои обязанности. Мне кажется, оно вмещает все, что человек способен перечувствовать.

Передавай привет фрау Елене и всем оставшимся детям.

«Лунный свет»

Сегодня они работают в Старом городе под южной стеной. Сеет мелкий дождик, почти неотличимый от тумана. Вернер в кузове «опеля», Фолькхаймер дремлет рядом на лавке. Бернд на парапете с первой станцией, под плащ-палаткой. Его не слышно уже больше часа, значит, спит. Темно, только горит янтарным светом указатель на шкале.

На всех частотах – треск помех, и вдруг...

Мадам Лаба сообщает, что ее дочь ждет ребенка. Мсье Ферей шлет привет двоюродным братьям в Сен-Венсане.

Треск помех. Голос как будто из давнего-давнего сна. Несколько слов все с тем же бретонским акцентом: Следующая передача в четверг, в двадцать три ноль-ноль. Пятьдесят шесть, семьдесят два... – и воспоминания вылетают из прошлого, как поезд из темноты. Тембр голоса – точно как во французской передаче их детства. Затем вступает фортепьяно: три одиночные ноты, интервал, аккорд; каждый звук – свеча, уводящая глубже в лес... Узнавание мгновенно. Как будто он тонул, сколько себя помнит, и внезапно кто-то выдернул его из воды.

У Фолькхаймера глаза по-прежнему закрыты. Через окошко в передней части будки видны неподвижные плечи Нойманов. Вернер прикрывает шкалу рукой. Мелодия разворачивается, становится громче... Он ждет, что сейчас раздастся голос Бернда, который поймал ту же передачу.

Однако ничего не происходит. Все спят. Откуда это чувство, что будка, в которой сидят они с Фолькхаймером, наэлектризована?

Длинная знакомая тема – пианист играет в разных октавах, можно подумать, у него три, четыре руки – аккорды словно все более частые жемчужины на нитке, и Вернер видит рядом с собой шестилетнюю Ютту. Они вместе склонились над детекторным приемником, рядом фрау Елена месит тесто, а струны Вернеровой души еще не оборваны.

Последние такты, и остается только треск помех.

Слышали ли остальные? Слышат ли сейчас, как его сердце колотится о ребра? Вот дождь, все так же тихо накапывает между высокими домами. Вот Фолькхаймер, его подбородок уперт в могучую грудь. Фредерик говорил, у нас нет выбора, мы не распоряжаемся своей жизнью, но в конечном счете именно Вернер убедил себя, будто выбора нет. Вернер, видевший, как Фредерик выплеснул воду на землю (Не буду!), и со стороны наблюдавший все, что было потом. Смотревший, как Фолькхаймер входит в один

дом за другим, как хищный кошмар повторяется вновь и вновь.

Он снимает наушники, проходит мимо Фолькхаймера и распахивает заднюю дверь. Фолькхаймер открывает один глаз, огромный, золотистый, львиный. Спрашивает:

– Nichts?

Вернер смотрит на ряд высоких мокрых домов. Ни одно окно не горит. Никаких антенн. Дождь капает тихо, почти беззвучно, но в ушах у Вернера ревет буря.

– Nichts, – говорит он. Ничего.

Антенна

В «Пчелином доме» разместили восемь австрийских зенитчиков во главе с лейтенантом. Пока их повар на кухне греет овсянку с ветчиной, остальные семеро кувалдами крушат межкомнатные перегородки на четвертом этаже. Когда все садятся ужинать, Фолькхаймер ест медленно, то и дело поглядывая на Вернера.

Следующая передача во вторник, в двадцать три ноль-ноль.

Вернер услышал голос, и что он сделал? Солгал. Предал своих. Сколько сейчас людей в опасности из-за его поступка? И все же, вспоминая голос и мелодию, он дрожит от радости.

Половина Северной Франции в огне. Берег пожирает людей – американцев, канадцев, британцев, немцев, русских – по всей Нормандии, тяжелые бомбардировщики превращают в прах города. Однако здесь, в Сен-Мало, все так же колышется на дюнах трава, немецкие моряки проводят учебы в порту, артиллеристы загружают боеприпасы в подземелья под фортом Сите.

Австрияки из «Пчелиного дома» краном поднимают на бастион 88-миллиметровое орудие, устанавливают его на крестовине и накрывают защитным брезентом. Команда Фолькхаймера работает две ночи кряду, и память Вернера шутит с ним шутки.

Мадам Лаба сообщает, что ее дочь ждет ребенка.

Так как же мозг, живущий среди вечной тьмы, выстраивает для нас мир, полный света?

Если у француза тот же передатчик, что когда-то посылал сигнал до самого Цольферайна, антенна должна быть большой. Либо в ней сотни метров проволоки. Так или иначе, она должна быть заметной.

На третью ночь после первой передачи – в четверг – Вернер стоит в шестиугольной ванне под пчелиной царицей. Ставни открыты, за ними – мешанина черепичных крыш. Над укреплениями носятся буреветники; колокольню собора окутывают клочья тумана.

Всякий раз, как Вернер смотрит на Старый город, его изумляют печные трубы. Они огромные, по двадцать-тридцать штук над каждым кварталом. Даже в Берлине нет таких труб.

Ну конечно. Наверняка у француза антенна закреплена на трубе.

Вернер быстро спускается на улицу, идет по рю-де-Форжер, потом по рю-де-Динан. Смотрит на ставни, на водосточные трубы, ищет провода на кирпичной стене, что-нибудь, что выдало бы передатчик. Шея уже заболела. Пора возвращаться – он отсутствовал слишком долго, могут быть неприятности. И так Фолькхаймер явно что-то заподозрил. Однако ровно в двадцать три ноль-ноль меньше чем в квартале от того места, где они поставили «опель», Вернер замечает то, что искал: вдоль трубы скользит антенна. Не толще швабры. Она поднимается метров на двенадцать и, словно по волшебству, раскрывается в букву «Т».

Высокий дом на краю моря. Идеальное место для передатчика. С улицы антенна практически не видна.

Вернер слышит голос Ютты: «Я уверена, он ведет передачу из огромного дома, который больше всего нашего поселка. В доме тысяча окон и тысяча слуг». Дом высокий и узкий, на фасаде одиннадцать окон. Стены в пятнах оранжевого лишайника, замшелые снизу.

Номер четыре по улице Воборель.

Откройте глаза и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки.

Он быстро идет назад в гостиницу – голова опущена, руки в карманах.

Большой Клод

Клод Левитт – пухлый, обрюзгший, так и лоснится от сознания собственной значимости. Фон Румпель слушает парфюмера, а у самого подкашиваются ноги; слишком много сильных запахов в тесной лавке. За последние недели он посетил несколько летних резиденций в поисках картин и статуй, которые либо никогда не существовали, либо ему неинтересны. Все – чтобы оправдать свой приезд в Сен-Мало.

Да, да, говорит парфюмер, глядя на нашивки фон Румпеля, несколько лет назад он помог властям выявить приезжего, который измерял здания. Ничего особенного, просто выполнил свой гражданский долг.

– И где он жил в те месяцы, этот мсье Леблан?

Парфюмер щурится, прикидывая, какую выгоду тут извлечь. Глаза, обведенные черными кругами, трубят одно: «Я хочу! Дай!» Жалкие существа, каждое мучительно к чему-то стремится. Однако здесь фон Румпель – хищник. Ему нужно только терпение. Неумоимость. Убирать препятствия одно за другим.

Он поворачивается, как будто собрался уйти, и с парфюмера мигом слетает вся самоуверенность.

– Подождите-подождите.

Фон Румпель держится рукой за дверь:

– Где жил мсье Леблан?

– У своего дяди. Никчемный человек. С головой не в порядке.

– Где?

– Прямо здесь. – Парфюмер указывает рукой. – Дом номер четыре.

Boulangerie

[40]

Лишь через день у Вернера выпадает час, чтобы вернуться к тому дому. Деревянная дверь, перед ней решетка. Синие оконные рамы. Утренний туман такой густой, что крыши не видно. У Вернера в голове крутятся несбыточные фантазии: француз пригласит его в дом. Они выпьют кофе, обсудят старые передачи. Может быть, распутают какую-нибудь важную эмпирическую проблему, мучившую его долгие годы. Может быть, француз покажет Вернеру свой приемник.

Бред. Если позвонить в дверь, старик решит, что его пришли арестовать или убить на месте. Антенна над трубой – вполне достаточная улика.

Вернер может вломиться в дверь, вытащить старика на улицу и заслужить поощрение.

Туман светлеет. В соседнем доме кто-то открывает и снова закрывает дверь. Вернеру вспоминается, как Ютта строчила свои взволнованные письма, писала на конверте: «Профессору во Францию» – и бросала их в почтовый ящик на площади. Воображала, что француз услышит ее голос, как она слышит его. Один из десяти миллионов.

Всю ночь Вернер мысленно упражнялся во французском: «Avant la guerre. Je vous ai entendu à la radio»[41]. Винтовку он оставит за спиной, руки будет держать по бокам. Постарается выглядеть маленьким, совсем не страшным. Старик поначалу испугается, но все удастся объяснить. Однако, пока Вернер стоит в редящем тумане на улице Воборель и репетирует свои слова, дверь дома номер четыре отворится и оттуда выходит не седовласый ученый, а девушка. Стройная, хорошенькая девушка с золотисто-каштановыми волосами и веснушчатым лицом, в очках и сером платье. На плече у нее рюкзак. Она идет влево, прямо на Вернера, и у того екает сердце.

Улица совсем узкая; девушка заметит, что он на нее тарашится. Однако она как-то странно держит голову, лицо наклонено в одну сторону. Вернер замечает трость, черные стекла очков и понимает, что она – слепая.

Трость стучит по мостовой. Девушка уже в двадцати шагах. Никто не смотрит из окон; все занавески задернуты. Пятнадцать шагов. Чулки на ней рваные, туфли велики, шерстяное платье чем-то заляпано. Десять шагов, пять. Девушка проходит на расстоянии вытянутой руки; сейчас Вернер видит, что она выше его, хоть и ненамного. Не задумываясь, почти не понимая, что делает, он идет вслед за ней. Трость стучит по водосточной канавке, отыскивая каждую канализационную решетку. Девушка идет грациозно, словно балерина, ноги у нее такие же выразительные, как руки. Она поворачивает направо, потом налево, проходит полквартила и уверенно входит в открытую дверь магазинчика. Над дверью прямоугольная вывеска: «Boulangerie».

Вернер стоит неподвижно. Туман почти разошелся, проглянуло летнее небо. Женщина поливает цветы, старик в габардиновом костюме выгуливает пуделя. На скамейке сидит

тощий немецкий фельдфебель с большим зобом и запавшими глазами. Он опускает газету, смотрит на Вернера и тут же заслоняется снова.

Отчего у Вернера дрожат руки? Отчего перехватило дыхание?

Девушка появляется из булочной, аккуратно ступает на мостовую и идет прямо на него. Пудель как раз прилажился справить большую нужду, и девушка аккуратно его обходит. Она второй раз приближается к Вернеру, ее губы шевелятся. Она тихонько проговаривает – deux, trois, quatre[42]. Он может сосчитать веснушки на ее лице, чувствует запах хлеба из рюкзака. Миллион капелек тумана блестит на шерстяном платье и на волосах, солнце очерчивает их серебристым ореолом.

Он стоит как вкопанный. Ее длинная белая шея кажется ему удивительно беззащитной.

Девушка не замечает его. Кажется, что для нее вообще нет ничего, кроме свежего туманного утра. Вот, думает он, та чистота, о которой им твердили в Шульпфорте.

Вернер прижимается спиной к стене. Кончик трости ударяет о мостовую в двух сантиметрах от его ботинка. И вот девушка уже прошла: платье легонько колышется, трость движется взад-вперед, а он стоит и смотрит, пока она не пропадает в тумане.

Грот

Немецкие зенитчики сбили американский самолет. Он упал в море у Парамэ, летчик выбрался на берег и попал в плен. Этьен расстроен, а вот мадам Рюэль излучает радость.

– Красивый, как киноартист, – шепчет она, вручая Мари-Лоре батон. – Я уверена, они все такие.

Мари-Лора улыбается. Каждое утро одно и то же: американцы все ближе, немецкая армия трещит по швам. Каждый вечер Мари-Лора читает Этьену вторую часть «Двадцати тысяч лье под водой». Теперь и он, и она не знают, что там дальше. «„Наутилус“ прошел в три с половиною месяца около десяти тысяч лье, – пишет профессор Аронакс. – Куда мы держим путь? Что сулит нам будущее?»

Мари-Лора кладет батон в рюкзак, выходит из булочной и направляется к гроту Юбера Базена. Она закрывает решетку, приподнимает подол и входит в мелкую воду, думая об одном: как бы не раздавить никого из мелких существ на дне.

Идет прилив. Мари-Лора отыскивает морских желудей, шелковисто-мягкого анемона, легонько кладет палец на панцирь песчаной улитки. Та сразу замирает, втягивает в раковину голову и подошву. Потом вновь медленно выпускает рога и ползет дальше, таща на себе закрученную раковину.

Чего ты ищешь, улиточка? Живешь ли ты мгновением или, как профессор Аронакс, тревожишься о будущем?

Улитка начинает взбираться на стену, а Мари-Лора, в насквозь мокрых дядюшкиных домашних туфлях, шлепает к выходу и уже хочет запереть за собой решетку, когда мужской голос произносит:

– Доброе утро, мадемуазель.

Она оступается и чуть не падает. Трость со звоном катится по камням.

– Что в рюкзаке?

Он хорошо говорит по-французски, но сразу понятно, что это немец. Он загородил узкую улочку. С подола капает, в туфлях хлюпает вода, по обе стороны – высокие стены. Мари-Лора по-прежнему держится правой рукой за открытую решетку.

– А там что? Укрытие?

Голос звучит пугающе близко, но в таком узком месте, где эхо отдается от стен, трудно определить расстояние. Ей кажется, что батон в рюкзаке бьется как живой. В нем почти наверняка – туго скрученная полоска. Числа на бумаге – смертный приговор. Дядюшке, мадам Рюэль. Им всем.

– Моя трость, – говорит она.

– Закатилась тебе за спину, милочка.

За спиной у немца – узкий проулок, дальше занавес плюща и город. Там можно закричать, и тебя услышат.

– Вы позволите мне пройти, мсье?

– Конечно.

Однако он не двигается с места. Дверь тихонько скрипит.

– Что вам нужно, мсье?

Голос предательски дрожит; если немец еще раз спросит про рюкзак, у нее разорвется сердце.

– Что ты тут делаешь?

– Нам не разрешают ходить на пляж.

– И ты ходишь сюда?

– Собирать улиток. Мне пора идти, мсье. Позвольте мне взять мою трость.

– Но ты не собирала улиток, девочка.

– Можно мне пройти?

– Сперва ответь на вопрос о твоём отце.

– О папе? – Что-то холодное внутри ее становится еще холоднее. – Папа сейчас придет.

Немец принимается хохотать, и его смех отдается от стен.

– Сейчас, говоришь? Твой папа, который в тюрьме за пятьсот километров отсюда?

Нитки страха прошивают грудь. Надо было слушать тебя, папа. Никогда не выходить из дому.

– Брось, petite cachotière[43], – говорит немец, – нечего так пугаться.

Мари-Лора слышит, что он тянется к ней, чувствует гнилой запах из его рта, и что-то – кончик пальца? – касается ее запястья в тот самый миг, когда она отступает на шаг и с лязгом захлопывает решетку.

Немец падает и как-то очень долго встает; Мари-Лора думала, что он вскочит сразу. Она поворачивает ключ в замке, убирает его в карман и, пятясь в низкое пространство конуры, находит трость. Немец по другую сторону решетки, но его голос преследует Мари-Лору:

– Девочка, из-за тебя я выронил газету. Я всего лишь скромный фельдфебель, и мне надо задать тебе вопрос. Один простой вопрос, и я уйду.

Море рокошет, улитки шебуршат на камнях. Достаточно ли частая решетка, не пролезет ли он между прутьями? Достаточно ли крепки петли? Только бы они выдержали! Она в мощной толще укреплений. Холодная вода прибывает; каждые десять секунд в конуру заплескивает новая волна. Слышно, как немец расхаживает перед входом, припадая на одну ногу: раз – пауза – два; раз – пауза – два. Мари-Лора пытается вообразить псов, которые, по словам Юбера Базена, жили здесь столетия назад. Сторожевых псов размером с лошадь, которые вцеплялись людям в ноги и вырывали куски мяса. Она встает на колени, сжимается и говорит себе: я – Улитка. В крепком панцире. Неуязвимая.

Агорафобия

Тридцать минут. Мари-Лора должна была вернуться через двадцать одну; Этьен засекал много раз. Как-то она пришла через двадцать три минуты. Обычно приходит куда быстрее.

Тридцать одна.

До булочной четыре минуты ходу. Четыре туда, четыре обратно, и где-то по дороге набегают еще тринадцать-четырнадцать. Он знает, что Мари-Лора обычно ходит к морю; когда она возвращается, от нее пахнет водорослями, морским укропом и маленьким курчавым растением, похожим на красный мох. Этьену неизвестно, куда именно ходит его племянница, но он всегда был уверен, что с ней все будет хорошо. Что в любознательности – ее сила. Что она в тысячу раз приспособленней к жизни, чем он сам.

Тридцать две минуты. Из окна пятого этажа никого внизу не видно. Вдруг она заблудилась и теперь ведет пальцами по стене на южном краю города, уходя с каждой секундой все дальше от дому. Или попала под машину, или утонула в луже, или ее сцапал немецкий солдат с нехорошими намерениями. Или кто-нибудь узнал про хлеб, про числа, про передатчик.

Пожар в булочной.

Этьен бегом спускается на первый этаж и выглядывает в окно кухни. Перед домом спит кошка. На восточных стенах – прямоугольники солнечного света.

Это все он виноват.

Этьен задыхается. В тридцать четыре минуты по своим часам он надевает ботинки и отцовскую шляпу. Стоит в прихожей, собирая всю свою решимость. Когда двадцать четыре года назад он последние разы выходил из дому, то пытался смотреть людям в глаза, держаться так, будто все в порядке. Но приступы подкрадывались исподволь, непредсказуемо, как бандиты. Сперва весь воздух наполнялся ужасом. Потом любой свет, даже через опущенные веки, становился невыносимо ярким. Он не мог идти, потому что каждый его шаг отдавался грохотом. Крохотные глазки смотрели из мостовой, в тени у стен ворочались покойники. Когда мадам Манек приводила его домой, он забивался в дальний угол кровати и зажимал уши подушками. Вся энергия уходила на то, чтобы не слышать стук крови в ушах.

Сердце мелко стучит в далекой холодной клетке. Приближается мигрень.

Жуткая, жуткая, жуткая головная боль.

Двадцать сердцебиений. Тридцать пять минут. Он поворачивает защелку, открывает решетку. Выходит на улицу.

Ничего

Мари-Лора пытается вспомнить все, что знает про щеколду и замок на решетке, все, что ощупали ее пальцы, все, что сказал бы ей отец. Железный штырь, продетый в три ржавые скобы, врезной замок с проржавевшим «язычком». Можно ли сбить его выстрелом из пистолета? Немец водит газетой по прутьям решетки и бормочет:

– Приехал в июне, арестовали его только в январе. Что он делал все это время? Зачем измерял здания?

Она съежилась у дальней стены грота, рюкзак прижат к животу. Вода уже до колен, холодная, несмотря на то что сейчас июль. Видит ли ее немец? Мари-Лора аккуратно открывает рюкзак, разламывает батон, не вытаскивая его наружу, мнет мякиш, ища полоску бумаги. Вот. Она считает до трех и сует бумажку в рот.

– Просто скажи мне, – кричит немец, – не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не говорил ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея. Тогда я уйду и никому не расскажу про это место. Клянусь Богом!

Бумага между зубами постепенно истирается в кашу. У ног Мари-Лоры улитки заняты своей работой: скоблят, жуют, спят. У них во рту, рассказывал Этьен, зубы в восемьдесят рядов, примерно по тридцать в каждом ряду, две с половиной тысячи зубов у каждой улитки, и все скребут, трут, шуршат. Высоко над укреплениями кричат чайки. Клянусь Богом? Как долго эти невыносимые мгновения длятся для Бога? Трллионную долю секунды? Жизнь любого существа – искорка в бездонной черноте. Какие тут могут быть клятвы?

– Меня совсем загоняли, – говорит немец. – Жан Жувене в Сен-Бриё, шесть Моне по соседству, яйцо Фаберже в поместье под Ренном. Я так устал. Неужели ты не понимаешь, как долго я ищу?

Почему папа не остался? Разве не она для него главное? Мари-Лора проглатывает разжеванную бумагу и резко подается вперед:

– Ничего он мне не оставил! – Она сама не ждала, что в голосе будет столько злости.
– Ничего! Только дурацкий макет города и пустое обещание! Только мадам, которая умерла, и дядюшку, который боится муравья!

Немец перед решеткой молчит. Наверное, обдумывает ее ответ. И кажется, ее взрыв его убедил.

– А теперь, – кричит она, – уходите, как обещали!

Сорок минут

Туман уже почти рассеялся, солнечный свет заливает мостовую, дома, окна. Весь в холодном поту, Этьен добегает до булочной и протискивается в начало очереди. Возникает лицо мадам Рюэль, белое, как луна.

– Этьен? Но как?..

Перед глазами плывут малиновые пятна.

– Мари-Лора...

– Она не?..

Прежде чем он успевает мотнуть головой, мадам Рюэль поднимает прилавок, хватая Этьена под руку и тащит к выходу. Женщины в очереди шушукаются, то ли возмущенно, то ли заинтригованно. Мадам Рюэль выводит Этьена на улицу Робера Сюркуфа. Циферблат наручных часов как будто вырос. Сорок одна минута? Он словно разучился считать. Мадам Рюэль стискивает его плечо.

– Куда она могла пойти?

Рот пересох, мысли еле ворочаются.

– Иногда... она... на обратном пути... идет к морю.

– Но пляжи закрыты. И укрепления тоже. – Мадам Рюэль смотрит вверх его головы. – Значит, она ходит куда-то еще.

Они стоят посреди улицы. Где-то стучит молоток. Война, думает Этьен отрешенно, это рынок, где человеческая жизнь такой же товар, как любой другой; ее обменивают на шоколад, пули, парашютный шелк. Не ужели за эти числа он отдал жизнь Мари-Лоры?

– Нет, – шепчет он. – Она ходит к морю.

– Если они найдут хлеб, – шепчет в ответ мадам Рюэль, – мы все погибли.

Он вновь глядит на часы, но солнце как будто выжгло сетчатку. В пустой витрине мясной лавки покачивается на бечевке одинокий кусок соленой грудинки. Трое школьников смотрят на Этьена, ожидая, когда тот упадет. И вот, когда утро уже готово разлететься осколками, он внезапно отчетливо видит железную решетку перед старой конурой в городских укреплениях. Место, где они втроем играли в детстве: он,

Ари и Юбер Базен. Маленькая сырая пещера, где мальчишки могут поорать в голос, а могут тихонько пофантазировать.

Тощий как спичка, смертельно бледный Этьен Леблан бежит по рю-де-Динан, а за ним едва поспевают мадам Рюэль, жена пекаря; свет еще не видел таких жалких спасателей. Церковный колокол бьет два, три, четыре раза, и так до восьми. Этьен сворачивает на рю-де-Бойе, и ноги сами несут его вдоль чуть наклонной крепостной стены, по дорожке их с братом детства, под нависший занавес плюща, а там, по другую сторону запертой решетки, – дрожащая, мокрая до пояса, но совершенно живая Мари-Лора. Она сжалась в комок у стены, на коленях у нее раскрошенный батон.

– Ты пришел, – говорит она после того, как пустила их внутрь и почувствовала на своих щеках руки Этьена. – Ты пришел...

Девушка

Вернер помимо воли все время думает о ней. Девушка с тростью, девушка в сером платье, девушка, сотканная из тумана. В ее восторженных волосах, в бесстрашной поступи есть что-то от иного мира. Она поселилась в нем, живой двойник убитой венской девочки, преследующей его каждую ночь.

Кто она? Дочь французского радиста? Внучка? Зачем он подвергает ее такой опасности?

Они колесят по деревушкам вдоль реки Ранс. Вернер не сомневается, что его скоро разоблачат. Он вспоминает безупречно выбритого полковника перед комендатурой, тощего фельдфебеля с газетой. Они уже знают? А Фолькхаймер? И есть ли спасение? Иногда вечерами в сиротском доме они с Юттой мечтали, что лед из каналов поднимется, наползет на поля, скроет шахтерские домишки, раздавит фабричные трубы, так что утром они выйдут в окно и вместо всего привычного увидят лишь белый сверкающий простор. Такое чудо нужно ему теперь.

Первого августа к Фолькхаймеру приходит лейтенант. На позициях не хватает людей, сообщает он. Всех, кто не занят непосредственно в обороне Сен-Мало, отправляют в боевые части. Нужны по меньшей мере два человека.

Фолькхаймер обводит их взглядом. Бернд слишком стар. Вернер – единственный, кто умеет чинить оборудование.

Нойман-первый. Нойман-второй.

Через час оба сидят в кузове армейского грузовика, зажав винтовки между колен. Нойман-второй не похож на себя: будто смотрит не на бывших товарищей, а на свою смерть. Будто он сейчас покатится в черной карете по крутому откосу в бездонную пропасть.

Нойман-первый машет рукой. Лицо равнодушное, но складки в уголках глаз выдают отчаяние.

– В конце концов, – говорит Фолькхаймер, провожая грузовик, – все мы там будем.

В ту ночь Фолькхаймер ведет «опель» по приморскому шоссе на восток, в сторону Канкаля. Бернд с первой станцией усаживается на пригорке, Вернер со второй остается

в кузове. Фолькхаймер в кабине; его мощные колени упираются в руль. Далеко в море что-то горит, возможно корабль, и на небе подрагивают созвездия. Вернер знает, что в два часа двенадцать минут француз снова выйдет в эфир, а он выключит станцию или сделает вид, будто слышит только помехи. Прикроет шкалу рукой и постарается не дрогнуть ни одним мускулом.

Домик

Этьен говорит, что не надо было столько на нее взваливать, подвергать ее такой опасности. Что она больше не будет выходить из дому. По правде сказать, Мари-Лора рада. Немец преследует ее в кошмарах; он трехметровый краб-стригун, щелкает клешнями и шепчет в ухо: «Один простой вопрос».

– А как же батоны, дядя?

– За ними буду ходить я. Мне с самого начала надо было так делать.

Утром четвертого и пятого августа Этьен подолгу стоит перед дверью, бормоча себе под нос, потом толкает решетку и выходит. Очень скоро под телефонным столиком на третьем этаже звенит колокольчик: это значит, что Этьен вернулся, задвинул три засова и стоит в прихожей, тяжело дыша, словно чудом избежал тысячи опасностей.

Помимо хлеба, есть почти нечего. Горох. Перловая крупа. Сухое молоко. Последние банки домашних консервов мадам Манек. В голове Мари-Лоры неотступно кружат одни и те же вопросы, и мысли несутся за ними, как гончие. Сперва полицейские два года назад: «Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?» Потом хромой фельдфебель с мертвым голосом: «Не оставил ли тебе чего-нибудь отец или не рассказывал ли о чем-нибудь, что привез с собой из музея?»

Папа ушел. Мадам Манек ушла. Мари-Лора помнит, как вздыхали парижские соседи, когда она ослепла: «Словно на этой семье проклятье».

Она пытается забыть страх, голод, вопросы. Надо жить, как улитка, – от мгновения до мгновения, по сантиметрику. Утром шестого августа Мари-Лора сидит с Этьеном на кушетке и читает вслух следующие строки: «И верно ли, что капитан Немо никогда не отлучается с „Наутилуса“? Разве не бывало, что он не показывался целыми неделями? Что он делал в это время? Я воображал, что он страдает припадками мизантропии! А на самом деле не выполнял ли он какую-либо тайную миссию, недоступную моему пониманию?»

Она захлопывает книгу.

– Разве ты не хочешь узнать, спасутся ли они на этот раз? – спрашивает Этьен.

Однако Мари-Лора мысленно повторяет странное письмо отца, последнее, которое они получили.

Помнишь твои дни рождения? Как утром на столе тебя всегда ждали два подарка? Мне жаль, что все так обернулось. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена внутри дома. Я знаю, что ты поступишь правильно, хотя мне хотелось бы подарить тебе что-

нибудь получше.

Мадемуазель, упоминал ли он что-нибудь конкретное?

Можно нам посмотреть то, что он привез с собой?

У него в музее было много ключей.

Дело не в передатчике. Этьен ошибается. Немца интересует не радио, а что-то, о чем Мари-Лора, по его мнению, может знать. И он услышал то, что хотел. Она все-таки ответила на его вопрос.

Только дурацкий макет города.

Вот почему он ушел.

Поищи внутри дома Этьена.

– Что с тобой? – спрашивает дядя.

Внутри дома.

– Мне надо отдохнуть, – говорит она, поднимается по лестнице, прыгая через две ступени, закрывает дверь спальни и запускает руки в макет.

Восемьсот шестьдесят пять зданий. Вот, в углу, высокий узкий дом № 4 по улице Воборель. Пальцы скользят по фасаду, находят дверной проем. Нажатие – и домик выскакивает из макета. Мари-Лора трясет его – ничего. Но ведь так бывало и раньше. Хотя пальцы дрожат, она решает головоломку в считанные секунды. Поворачивает трубу на девяносто градусов, сдвигает дощечки крыши: раз, два, три.

Четвертая дверь, и пятая, и так далее, до тринадцатой запертой двери не больше башмака.

Откуда тогда известно, спросили дети, что он точно там?

Надо верить преданию.

Она переворачивает домик. На ладонь выпадает грушевидный камень.

Числа

Авиация союзников разбомбила железнодорожный вокзал. Немцы взорвали портовые сооружения. Самолеты возникают из облаков и пропадают снова. Этьен слышал, что в Сен-Серван свозят раненых немцев, что американцы захватили Мон-Сен-Мишель в тридцати километрах от Сен-Мало, что освобождения можно ждать со дня на день. Он приходит к булочной, как раз когда мадам Рюэль отпирает дверь. Та сразу проводит его в дом:

– Им нужно знать положение зенитных батарей. Координаты. Справитесь?

Этьен стонет:

– У меня Мари-Лора. Почему не вы, мадам?

– Я ничего не понимаю в картах, Этьен. Минуты, секунды, магнитные склонения, поправки. Вы в этом разбираетесь. Вам нужно только найти батареи, отметить на карте и передать координаты.

– Мне придется ходить с компасом и блокнотом, других способов нет. Меня застрелят.

– Им очень важно знать точную позицию орудий. Подумайте, скольких людей это спасет. И надо все выяснить сегодня же ночью. Говорят, что завтра интернируют мужчин от восемнадцати до шестидесяти лет. У каждого проверят документы и всех, кто по возрасту способен воевать и может быть участником Сопротивления, запрут в Форт-Насионале.

Пол шатается. Этьен в паутине, она опутывает руки и ноги, трещит при каждом движении, как горящая бумага. С каждой секундой кокон все туже. Звенит колокольчик на двери, кто-то входит. Мадам Рюэль, словно рыцарское забрало, опускает на лицо маску равнодушия.

Он кивает.

– Хорошо, – говорит она и сует батон ему под мышку.

Море огня

У него сотни граней. Мари-Лора то и дело берет его и тут же кладет обратно, словно он жжет пальцы. Арест папы, исчезновение Юбера Базена, смерть мадам Манек – неужто один камень может причинить столько несчастий?

Ей слышится скрипучий, пахнущий вином голос старого доктора Жеффара: «Быть может, царицы плясали ночи напролет, украсив им прическу. Быть может, из-за него начинались войны.

Владелец камня будет жить вечно, но, куда алмаз у него, на всех, кого он любит, будут сыпаться несчастья».

Вещи – просто вещи. Сказки – просто сказки.

Очевидно, именно этот камешек нужен немцу. Надо открыть ставни и выбросить его в окошко. Отдать кому-нибудь, кому угодно. Зашвырнуть в море.

Этьен поднимается на чердак. Слышно, как скрипят над головой половицы, как включается передатчик. Мари-Лора кладет камень в карман, берет макет дома и уже подходит к платяному шкафу, когда ее останавливает одна мысль. Папа считал алмаз настоящим. Иначе зачем бы он соорудил коробочку-головоломку? Зачем оставил камень в Сен-Мало, если не из страха, что его конфискуют по дороге? И значит, именно поэтому не взял Мари-Лору с собой. Получается, что камень хотя бы внешне похож на алмаз стоимостью в двадцать миллионов франков. Во всяком случае, папа поверил, что он настоящий. В таком случае, что будет, если показать его дяде? И заявить, что алмаз

нужно выбросить в океан?

Она слышит мальчишеский голос в музее: «Часто ли на твоих глазах выкидывают в море пять Эйфелевых башен?»

Кто добровольно расстанется с таким камнем? И что, если проклятие не выдумка и она передаст его дяде?

Однако проклятия бывают только в сказках. Земля – это магма, континентальная кора и океан. Сила тяготения и время. Ведь так же? Мари-Лора крепко сжимает кулак, возвращается к себе в спальню и убирает камень обратно в макет дома. Задвигает на место три дощечки крыши. Поворачивает трубу на девяносто градусов. Кладет домик в карман.

* * *

Прилив в ту ночь особенно высокий; огромные волны бьют в основания крепости, море зеленое, и на нем в лунном свете белеют плавучие островки пены. Мари-Лора просыпается от стука в дверь.

– Я ухожу, – говорит Этьен.

– Который час?

– Скоро рассвет. Я вернусь через сорок пять минут.

– Зачем ты идешь?

– Лучше тебе не знать.

– А как же комендантский час?

– Я мигом.

И это говорит ее дядюшка, который за четыре года их знакомства ничего не делал быстро.

– А что, если начнут бомбить?

– Уже почти светает. Мне надо успеть, пока темно.

– Будут ли бомбить дома, дядюшка? Когда это начнется?

– Дома бомбить не станут.

– А долго это будет?

– Нет, совсем недолго. Спи, Мари-Лора, а когда ты проснешься, я уже буду здесь. Вот увидишь.

– Можно я немного тебе почитаю? Раз уж проснулась. Мы так близко к концу.

– Вот вернусь, и читаем.

Она пытается успокоить мысли, замедлить дыхание. Не думать про домик под подушкой и страшный груз внутри.

– Этьен, – шепчет Мари-Лора, – ты не жалеешь, что мы сюда приехали? Что я свалилась тебе на голову и вам с мадам Манек пришлось обо мне заботиться? Ты никогда не чувствовал, что я навлекла на тебя проклятие?

– Мари-Лора, – говорит он без колебаний и двумя руками стискивает ее ладонь, – ты лучшее, что было в моей жизни.

Что-то словно нависает в темноте, какая-то ревушая волна, огромный морской вал. Однако Этьен лишь произносит второй раз: «Спи, а когда ты проснешься, я уже буду здесь», и мгновение спустя она считает его шаги на лестнице.

Арест Этьена Леблана

Этьен уже не помнит, когда прошлый раз чувствовал себя таким здоровым и сильным. Он рад, что мадам Рюэль поручила ему это последнее задание. Координаты одной зенитной установки он уже передал: она стоит на укреплениях позади «Пчелиного дома». Остались еще две батареи. Надо взять азимут с двух известных точек – это будут колокольня и остров Пти-Бе – и по ним вычислить положение третьей, неизвестной. Простая триангуляция. Куда лучше, чем разговаривать с призраками у себя в голове.

Он сворачивает на рю-д'Эстре и по задворкам училища срезает к улочке позади «Отель-Дьё». Ноги несут его, как в юности. Вокруг никого. За туманом уже брезжит рассвет. Город вокруг – теплый, душистый, сонный, дома по обе стороны кажутся почти нематериальными. На миг у Этьена мелькает чувство, что он идет по длинному-предлинному вагону, все пассажиры спят, а поезд скользит во тьме к огромному сияющему городу: там горят арки, сверкают башни, взмывают ввысь фейерверки.

Из темноты под крепостной стеной возникает человек в немецкой форме и, хромая, идет навстречу Этьену.

7 августа 1944 г.

Мари-Лора просыпается от грохота тяжелых орудий. Она идет через лестничную площадку, открывает платяной шкаф, тростью сдвигает рубашки и трижды тихонько стучит в фальшивую заднюю стенку. Ничего. Она спускается на пятый этаж и стучится в дядюшкину комнату. Никакого ответа. Она входит. Его постель пуста и холодна.

Нет Этьена и на втором этаже, и на кухне. Гвоздик, на который мадам Манек вешала ключи, пуст. Дядюшкиных ботинок в прихожей нет.

Я вернусь через сорок пять минут.

Мари-Лора силится унять панику. Важно не предполагать худшего. Она проверяет проволоку, ведущую к колокольчику, – на месте. Потом отрывает кусок от вчерашнего батона мадам Рюэль и съедает его, не садясь за стол. Воду – вот чудо! – снова дали. Мари-Лора наполняет два оцинкованных ведра, относит их к себе в спальню. Подумавши, возвращается на третий этаж и наливает ванну до краев.

Затем она открывает книгу. Капитан Немо установил флаг на Южном полюсе, но, если не уйти к северу, их затрет льдами. Весеннее равноденствие только что прошло, впереди шесть месяцев непроглядной ночи.

Мари-Лора считает оставшиеся главы. Девять. Есть искушение читать дальше, но они путешествуют на «Наутилусе» вместе, она и Этьен; как только он вернется, они продолжат. Наверняка он будет с минуты на минуту.

Она еще раз проверяет домик под подушкой. Ее так и тянет достать камень, но она перебарывает искушение и вместо этого ставит домик на старое место в макете. Под окном заводится грузовик. Пролетают чайки, крича по-ослиному; вдалеке снова бухают орудия, грузовик отъезжает, а Мари-Лора решает перечитать одну из предыдущих глав. Надо сосредоточиться, чтобы из выпуклых точек сложились буквы, из букв – слова, из слов – мир.

Во второй половине дня колокольчик под телефонным столиком тихонько звякает, ему приглушенно отвечает второй на чердаке. Мари-Лора поднимает пальцы от страницы. Наконец-то! Но когда она спускается в прихожую, берется за щеколду и спрашивает: «Кто там?» – то слышит не тихое «это я» Этьена, а вкрадчивый голос парфюмера Клода Левитта:

– Впустите меня, пожалуйста.

Даже сквозь дверь Мари-Лора чувствует его запах: мята, мускус, альдегид.

А за ними: пот, страх.

Она отодвигает обе щеколды и приотворяет дверь.

Он говорит через полуоткрытую решетку:

– Вам надо пойти со мной.

– Я жду дядюшку.

– Я говорил с вашим дядей.

– Говорили? Где?

Слышно, как мсье Левитт, часто дыша, ударяет кулаком о кулак.

– Если бы вы были зрячая, мадемуазель, вы бы увидели приказ об эвакуации. Городские ворота заперты.

Она не отвечает.

– Задерживают всех мужчин от шестнадцати до шестидесяти. Им приказано собраться в башне, а когда начнется отлив, их по низкой воде отконвоируют в Форт-Насиональ. Дай Бог им остаться в живых.

На улице Воборель все вроде бы тихо. Между домами носятся ласточки, на водосточном желобе воркуют две горлицы. Мимо проезжает велосипедист, и снова все затихает. Правда ли городские ворота заперты? Правда ли этот человек говорил с Этьеном?

– Вы идете с ними, мсье Левитт?

– Нет, я туда не собираюсь. Вам надо немедленно идти в убежище. – Мсье Левитт шмыгает носом. – Либо в крипту Нотр-Дам в Рокабее. Туда я отправил мою супругу. Об этом меня попросил ваш дядя. Оставьте дома абсолютно все и пойдете со мной.

– Зачем?

– Ваш дядя знает зачем. Все знают зачем. Здесь опасно. Идемте.

– Но вы сказали, городские ворота заперты.

– Да, сказал, и довольно уже вопросов. – Он вздыхает. – Здесь оставаться нельзя, я пришел вам помочь.

– Дядя говорил, в погребе безопасно. Этот погреб простоял пятьсот лет, простоит и несколько ночей.

Парфюмер откашливается. Мари-Лора представляет, как он тянет длинную шею, стараясь заглянуть в дом, видит пальто на вешалке, хлебные крошки на кухонном столе. Все проверяют, что есть у других. Дядя не попросил бы парфюмера проводить ее в убежище; когда он последний раз упоминал Клода Левитта?

И вновь она думает о макете наверху и о камне внутри. Слышит голос доктора Жеффара: «...что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым. Насколько дорогим».

– В Парамэ уже горят дома, мадемуазель. Бомбят порт и собор, в больнице нет воды. Врачи моют руки вином. Вином!

Голос у мсье Левитта дрожит. Мари-Лора вспоминает, как мадам Манек говорила: «Всякий раз, как в городе случается кража, Клод, отправляясь спать, прячет бумажник между ягодиц».

– Я останусь, – отвечает она.

– Господи, девочка, мне что, тебя силком вытаскивать?

Мари-Лора вспоминает, как немец ходил перед решеткой Юбера Базена, вода газетой по прутьям, и чуть-чуть тянет дверь на себя. Парфюмера кто-то сюда подослал.

– Уж конечно, мы с дядей не одни ночевали сегодня дома, – говорит она, стараясь хотя бы внешне сохранить спокойствие. От парфюмера разит так, что у нее кружится голова.

– Мадемуазель, – теперь голос звучит умоляюще, – образумьтесь. Идемте со мной и оставьте все здесь.

– Можете поговорить с моим дядей, когда он вернется. – И Мари-Лора запирает дверь на щеколду.

Ей слышно, что он по-прежнему стоит у входа. Просчитывает издержки и выгоды. Потом уходит, таща за собою свой страх, точно телегу. Мари-Лора наклоняется и поправляет проволоку. Что мог увидеть парфюмер? Этьен был бы доволен. За окном кухни проносятся стрижи. Паутина вспыхивает на солнце и тут же гаснет.

И все-таки: а что, если парфюмер говорил правду?

День потихоньку гаснет. Сверчки в подвале заводят свою песенку – ритмическое трр-

трр. Августовский вечер; Мари-Лора, в рваных чулках, идет на кухню и отрывает еще кусок от батона мадам Рюэль.

Листовки

Под конец дня австрийский повар подает свиные почки в томате на гостиничных тарелках: у каждой на ободке – серебряная пчела. Все сидят на мешках с песком или на снарядных ящиках. Бернд засыпает прямо за столом, Фолькхаймер в уголке говорит с лейтенантом о радио в подвале, вдоль стен австрияки в касках методично жуют. Уверенные, опытные вояки. Уж их-то никакие сомнения не мучат.

После ужина Вернер поднимается на последний этаж, встает в шестиугольную ванну и чуть-чуть приоткрывает ставень. Вечерний воздух блаженно свеж. Под окном, на бастионе, ждет 88-миллиметровое орудие. За ним, за амбразурами, под двенадцатиметровой стеной, плещет зеленое море, взлетают белые брызги прибоя. Слева город, серый и плотный. Далеко на востоке дрожит алое зарево невидимой битвы. Американцы прижали их к океану.

Вернеру кажется, что в пространстве между тем, что уже произошло, и тем, что еще произойдет, висит невидимая мембрана: по одну сторону известное, по другую – неведомое. Он думает о девушке, которая сейчас, может быть, в городе, а может быть – нет. Воображает, как она стучит тростью по водосточным канавкам. Идет, обратив к миру незрячие глаза и ясное лицо.

По крайней мере, он сберег тайну ее дома. Защитил ее.

На дверях домов, на рыночных палатках и фонарных столбах расклеен новый приказ командующего гарнизоном: «Запрещается покидать Старый город. Запрещается выходить на улицу без особого разрешения».

Как раз когда Вернер собирался закрыть ставень, в темном небе возник одинокий самолет. Из его брюха выпархивает белая, растущая на глазах стая.

Птицы?

Стая трепещет, разлетается над городом: это бумага. Тысячи листков. Они скатываются по крышам, кружат над парашютами, оседают на мокром пляже.

Вернер спускается в холл. Один из австрийцев разглядывает листок под лампой.

– Здесь все по-французски, – говорит он.

Вернер берет листовку. Типографская краска такая свежая, что пачкает пальцы.

«Срочное обращение к жителям! – гласит текст. – Немедленно выходите на открытую местность!»

10. 12 августа 1944 г.

Заживо погребенные

Она читает дальше: «Кто мог сказать заранее, сколько тогда понадобится времени для нашего освобождения? Не задохнемся ли мы раньше, чем „Наутилус“ сможет вернуться на поверхность моря? Не суждено ли ему со всем его содержимым быть погребенным в этой ледяной могиле? Опасность казалась грозной. Но все смотрели прямо ей в глаза, и все решились исполнить долг свой до конца».

Вернер слушает. Команда прорубается сквозь айсберги, стиснуввшие подводную лодку; «Наутилус» идет на север вдоль побережья Южной Америки, мимо устья Амазонки, и тут его атакуют гигантские кальмары. Лопасты не крутятся. Капитан Немо впервые за несколько недель выходит из каюты, лицо у него мрачное.

Вернер встает и, таща в одной руке радио, в другой – аккумулятор, добирается до Фолькхаймера в его золотистом кресле. Ставит аккумулятор на пол, ладонью проводит в темноте по руке товарища к плечу, находит массивную голову. Надевает на нее наушники.

– Слышишь? – спрашивает Вернер. – Это удивительная и прекрасная история. Жаль, что ты не знаешь французского. Роговые челюсти исполинского кальмара застряли в лопастях подводной лодки, и капитан сказал, что придется всплыть и биться с чудищем врукопашную.

Фолькхаймер медленно втягивает воздух. Он не шевелится.

– Она говорит по тому передатчику, который мы должны были засечь. Я нашел его. Недели две назад. Нам сказали, это террористическая сеть, но там только старик и девушка.

Фолькхаймер молчит.

– Ты ведь с самого начала знал, верно? Что я знаю?

Фолькхаймер, вероятно, не слышит Вернера из-за наушников.

– Она все время повторяет: «Помогите!» Зовет отца, дядю. Говорит: «Он здесь. Он убьет меня».

Разрушенное здание над ними содрогается, и Вернеру кажется, что они в «Наутилусе» под двадцатиметровой толщей воды и десять разъяренных спрутов хлещут щупальцами по корпусу подводной лодки. Передатчик должен быть довольно высоко, под самой крышей, куда в любую минуту может упасть бомба.

Вернер говорит:

– Я спас ее лишь для того, чтобы услышать, как она погибнет.

Фолькхаймер все не отзывается. Умер или приготовился умереть – какая разница? Вернер забирает наушники и садится на пол рядом с аккумулятором.

«Первый помощник, – читает девушка, – яростно дрался с другими чудищами, которые всползли на боковые стены „Наутилуса“. Экипаж боролся с ними, пустив в ход топоры.

Нед, Консель и я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух».

Форт-Насиональ

Этьен слезно взывает к охранникам, к смотрителю форта, к другим заключенным: «Моя племянница, моя внучатая племянница, она слепая, она одна...» Говорит, что ему шестьдесят три, а не шестьдесят, что у него несправедливо изъяли документы, что он – не террорист, идет к дежурному фельдфебелю и, запинаясь, произносит немецкие фразы, которые кое-как составил: «Sie müssen mich helfen!»[44] и «Meine Nichte ist herein dort!»[45] – но фельдфебель только пожимает плечами и смотрит на горящий город, словно говоря: кто тут что может поделаться?

Потом в форт попадает шальной американский снаряд, раненых относят в подвал, мертвых заваливают камнями на берегу чуть выше верхней отметки прилива, и Этьен умолкает.

Отлив, снова прилив. Последние силы Этьена уходят на то, чтобы унять шум в голове. Иногда он почти убеждает себя, что различил за пылающими остовами зданий на северо-западном краю города крышу собственного дома. Что тот по-прежнему стоит. А потом все снова застилается дымом.

Ни одеяла, ни подушки. Уборные – страх и ужас. Еду приносит жена смотрителя по четырехсотметровой полоске камней, которая обнажается в отлив, под звуки рвущихся в городе бомб. Все постоянно голодно. Чтобы отвлечься, Этьен придумывает фантастические планы побега: прыгнуть с парашюта, проплыть несколько сотен метров, одолеть прибойную полосу. По заминированному пляжу добраться до запертых ворот. Бред.

Заключенные в форту видят взрывы раньше, чем слышат их грохот. В прошлую войну Этьен знал артиллеристов, которые, глядя в бинокль, по цвету взметнувшего фонтана определяли, во что попал снаряд. Серый – камни. Бурый – земля. Розовый – люди.

Он смежает веки и вспоминает, как в книжной лавке мсье Эбрара впервые услышал радио. Как поднимался на хоры в церкви и слушал голос Анри, взывающий к потолку. Вспоминает тесные ресторанчики с резными деревянными панелями и свинцовыми оконными переплетами, куда родители водили их обедать; корсарские виллы с зубчатыми фризами, дорическими колоннами и вмурованными в стены золотыми монетами; оружейные и меняльные лавки на приморских улочках и надписи, которые Анри царапал на крепостной стене: «Осточертело! Скорей бы отсюда выбраться!» Вспоминает дом Леблана, собственный дом! Высокий и узкий, с винтовой лестницей, похожей на закрученную раковину, – дом, где сквозь стену иногда проходит призрак его брата, где жила и умерла мадам Манек, где не так давно они с Мари-Лорой сидели на кушетке, воображая, что летят над гавайскими вулканами и над лесами Перу, где всего неделю назад она сидела по-турецки на полу и читала про добычу жемчуга у побережья Цейлона, про капитана Немо и Аронакса в водолазных костюмах, про то, как темпераментный канадец Нед Ленд готовится метнуть гарпун в бок акуле... Все это горит. Все, что ему памятно.

Над Форт-Насионалем разгорается убийственно яркая заря. Млечный Путь – тускнеющая река. Этьен смотрит на пожар и думает: во вселенной так много горячего...

Последние слова капитана Немо

К полудню двенадцатого августа Мари-Лора прочла в микрофон семь из последних девяти глав. Капитан Немо освободил свой корабль от гигантского спрута и тут же оказался в центре циклона. Через несколько страниц он протаранил боевой корабль, пройдя через его корпус, пишет Жюль Верн, «как иголка парусного мастера сквозь парусину». Теперь «Наутилус» дремлет в морской глубине, а капитан играет на органе печальные и заунывные аккорды, истинный плач души. Остались три страницы. Удалось ли ей кого-нибудь поддержать, увлечь за собой в темные коридоры «Наутилуса» – дядюшку, запертого в темном подвале вместе с сотней других задержанных, или двух-трех американских артиллеристов в полях, – Мари-Лора не знает.

Однако она рада, что книга заканчивается.

Немец внизу дважды вскрикивал от отчаяния, потом умолк. Почему бы, думает Мари-Лора, не пойти и не отдать ему домик? Может быть, тогда он оставит ее в живых?

Сперва она закончит читать. Потом решит.

И вновь Мари-Лора открывает домик, вытряхивает камень на ладонь.

Что будет, если богиня снимет проклятие? Погаснет ли пожар, исцелится ли земля, вернутся ли горлицы на подоконники? Вернется ли папа?

Думай о следующем вздохе. О следующем ударе сердца. Нож совсем близко под рукой. Пальцы прижаты к строкам книги. Канадский гарпунщик Нед Ленд измыслил план бегства. «Море бурное, – говорит он профессору Аронаксу, – ветер крепкий, но сделать двадцать миль на легкой посудинке с „Наутилуса“ меня нисколько не пугает. Я сумею незаметно перенести в шлюпку немного еды и несколько бутылок с водой».

«Я буду с вами, Нед».

«А если меня застанут, я буду защищаться, пока меня не убьют».

«Мы умрем вместе, Нед».

Мари-Лора выключает передатчик. Она думает об улитках в гроте Юбера Базена, о десяти тысячах маленьких трубочек: как они втягиваются в свое витые раковины и как им хорошо в гроте, где чайки не могут их схватить, унести в небо и бросить на камни.

Посетитель

Фон Румпель пьет испорченное божоле из бутылки, которую нашел в кухне. Четыре дня в доме, и сколько ошибок он наделал! Быть может, Море огня все это время спокойно лежало себе в парижском музее, а наглый минералог и замдиректора до сих пор

смеются, вспоминая, как провели наивного немца. Или парфюмер его предал, забрал у девчонки алмаз. А может, увел ее за город вместе с рюкзаком. Или старик затолкал алмаз себе в задний проход и как раз сейчас высрал – двадцать миллионов франков в кучке дерьма.

А может, камня никогда и не было. Может, все это легенда, сказка.

Он был настолько уверен. Уверен, что найдет тайник, решит головоломку. Что камень его вылечит. Девчонка не знает, старика удалось убрать – все складывалось превосходно. И в чем можно быть уверенным теперь? Только в зловещем ползучем растении, убивающем его тело, отравляющем каждую клетку. В ушах звучит отцовский голос: «Тебя просто испытывают».

Кто-то кричит по-немецки:

– Ist da wer?[46]

Отец?

– Эй, там!

Фон Румпель прислушивается. Звуки все ближе. Он осторожно подходит к окну, надевает каску и выглядывает наружу.

С улицы смотрит капрал немецкой пехоты:

– Господин фельдфебель? Вот уж не думал... В доме никого нет?

– Никого. Куда вы направляетесь, капрал?

– В крепость Сите, господин фельдфебель. Мы эвакуируемся. Бросаем все. Удерживаем только шато и Голландский бастион. Всем остальным приказано отступить.

Фон Румпель упирается подбородком в разбитый подоконник. У него такое чувство, что голова сейчас отвалится, упадет на мостовую и треснет.

– Весь город будет подвергнут массированной бомбардировке, – говорит капрал.

– Когда?

– Завтра прекращение огня. Говорят, в полдень. Чтобы гражданские могли уйти. Затем противник возобновит наступление.

– Мы сдаем город? – спрашивает фон Румпель.

Неподалеку взрывается снаряд, эхо прокатывается между осевшими домами. Капрал придерживает рукой каску. Осколки камней прыгают по мостовой.

– Вы из какого подразделения, фельдфебель?

– Занимайтесь своим делом, капрал. Я здесь почти закончил.

Финал

Фолькхаймер не шевелится. Отвратительная жижа из ведра с малярными кистями давно выпита. Вернер крутит настройку. Он не слышал девушку уже... сколько? Час? Больше? Она прочла, как «Наутилус» затянуло в водоворот, волны были выше зданий, подводное судно вздымалось, его стальные ребра трещали, и закончила, как догадывается Вернер, последними строками книги: «Уже шесть тысяч лет тому назад Екклезиаст задал такой вопрос: „Кто мог когда-либо измерить глубины бездны?“ Но дать ему ответ из всех людей имеют право только двое: капитан Немо и я».

Затем передатчик умолк, и вокруг Вернера сомкнулась кромешная тьма. Все эти дни – сколько их уже прошло? – голод ощущался как рука внутри, которая тянется вверх, к лопаткам, потом вниз, к животу. Корябает кости. А вот нынче днем – или ночью? – голод угас, как пламя в прогоревшем очаге. В конечном счете оказалось, что между пустотой и наполненностью особой разницы нет.

Вернер моргает: сквозь потолок, будто сквозь тень, спускается венская девочка в пелеринке. Держа в руках пакет с увядшей зеленью, она садится на обломки. Вокруг нее роится облако пчел.

Темно, хоть глаз коли, но ее он видит отчетливо.

Она считает по пальцам, перечисляя. За то, что оступилась в строю. За то, что работала слишком медленно. За то, что спорила из-за хлеба. За то, что слишком долго управлялась в лагерном нужнике.

За слезы. За то, что не складывала вещи, как предписано.

Это очевидный бред, но в бессмысленных словах есть что-то, какая-то истина, которую Вернер не позволяет себе понять. Девочка старится на глазах, рыжие волосы седеют, воротник выцветает, она превращается в старуху – и у Вернера уже брезжит понимание, кто она на самом деле.

За то, что жаловалась на головную боль.

За пение.

За разговоры ночью в бараке.

За то, что забыла дату своего рождения во время вечерней поверки.

За то, что слишком медленно разгружала вагон.

За то, что не сдала ключи, как положено.

За то, что не донесла охраннику.

За поздний подъем.

Фрау Шварценбергер, вот кто она такая. Еврейка из лифта в доме Фредерика.

За то, что закрыла глаза, когда к ней обращались.

За то, что собирала хлебные крошки.

За попытку войти в парк.

За воспаленную кожу на руках.

За то, что попросила сигарету.

За недостаток воображения – и в темноте Вернеру кажется, что он достиг дна. Как будто все это время он погружался по спирали все ниже и ниже, как «Наутилус» в мальстрем, как отец в шахту: из Цольферайна через Шульпфурту, через ужасы России и Украины, через Вену, мимо матери с дочерью, через стыд, которым обернулись все его устремления, сюда – в подвал на краю континента, где призрак бормочет нелепицу; фрау Шварценбергер идет к нему, на ходу превращаясь из старухи в ребенка, – ее волосы вновь рыжеют, морщины разглаживаются, и вот уже перед Вернером лицо семилетней девочки, а посредине лба – дыра черней черноты вокруг, и в глубине этой дыры бурлит целый город: десять тысяч, пятьсот тысяч душ, все смотрят на него из улиц, из окон, из дымящихся парков... и тут гремит гром.

Молния.

Артиллерия.

Девочка исчезает.

Земля дрожит. Внутренности в животе содрогаются. Балки стонут. Затем медленное шуршание сбегаящей ручейками пыли и слабое, обреченное дыхание Фолькхаймера на расстоянии вытянутой руки.

Музыка № 1

Примерно в полночь тринадцатого августа – шестые сутки на дядюшкином чердаке – Мари-Лора берет левой рукой пластинку и пальцами правой ведет по ее дорожкам, восстанавливая в голове всю мелодию, ее подъемы и спады. Потом ставит пластинку на дядюшкин патефон.

Она не пила полтора дня. Не ела два. Чердак пахнет жарой, пылью, затхлостью, мочой Мари-Лоры из бритвенного тазика в углу.

Мы умрем вместе, Нед.

Осада, кажется, не кончится никогда. На улицах сыплется каменная кладка, город превращается в крошево, и только один этот дом стоит.

Мари-Лора вынимает из кармана дядюшкиного пальто неоткрытую банку, которую так долго берегла – может быть, потому, что это последняя связь с мадам Манек. Или потому, что, если открыть и консервы окажутся испорченными, горечь утраты ее убьет.

Она убирает банку и кирпич под банкетку, где точно сможет их найти. Еще раз проверяет, что пластинка лежит правильно. Ставит иголку на крайнюю дорожку.левой рукой находит тумблер микрофона, правой – передатчика.

Она включит музыку на полную мощность. Если немец в доме, он услышит. Услышит мелодию, льющуюся сверху, вскинет голову и бросится на шестой этаж, как демон, капая слюной. Рано или поздно он прикиннет ухом к двери платяного шкафа, откуда музыка будет звучать еще громче.

Сколько в мире сложности! Ветки деревьев, филигрань корней, друзы кристаллов,

улицы, которые папа воссоздавал в макетах. Ребрышки на раковине мурекса, неровности платановой коры, структура полых костей орла. И не менее, сказал бы Этьен, они просты в сравнении с человеческим мозгом – вероятно, сложнейшим из всего, что существует в мире: один его килограмм включает целые вселенные.

Она вставляет микрофон в раструб, включает патефон, пластинка начинает вращаться. Чердак поскрипывает. Мари-Лора мысленно идет по дорожке ботанического сада, воздух золотой, ветер зеленый, ивы длинными ветками гладят ее по плечам. Впереди папа; он протянул руку, ждет.

Звучит фортепьяно.

Мари-Лора тянется под банкетку за ножом. Подползает к лестнице и садится, свесив ноги. В кармане у нее домик с алмазом внутри, в кулаке – нож.

Она говорит:

– Давай, иди же сюда.

Музыка № 2

Под звездами в городе спит всё. Спят артиллеристы, спят монахини в крипте собора, дети в старых корсарских погребках спят на коленях уснувших матерей. Спит врач в подвале бывшей богадельни, раненые немцы в тоннелях под фортом Сите. За стеной Форт-Насионаля спит Этьен. Все спят, кроме улиток, ползущих по камням, да крыс в развалинах. В темной яме под разрушенным «Пчелиным домом» спит Вернер.

И только Фолькхаймер бодрствует. На коленях у него станция, между ногами – аккумулятор, на голове – наушники, в которых трещат помехи. И не потому, что он надеется что-нибудь услышать, а оттого, что Вернер так все оставил. Оттого, что нет сил их снять. Оттого, что много часов назад он себя убедил: если шелохнуться хоть чуть-чуть, гипсовые головы в углу подвала его убьют.

Невероятно, невысказанно, но из треска помех возникает музыка.

Фолькхаймер распахивает глаза, пытается уловить во тьме хоть один случайный фотон. Звуки одинокого рояля взмывают вверх, чередуются с паузами, и внезапно Фолькхаймер понимает, что идет на заре по заснеженному лесу, ведя в поводу двух лошадей. Впереди шагает прадедушка, видна лишь его огромная спина и завернутая в тряпку пила на плече. Снег хрустит под башмаками и копытами, деревья вокруг шепчутся и скрипят. На краю замерзшего озера растет сосна высотой с колокольню. Прадедушка встает на колени, как в церкви, пропиливает ложбинку в коре и начинает вгрызаться в древесину.

Фолькхаймер встает. Находит в темноте ногу Вернера, надевает ему на голову наушники.

– Слушай, – говорит он. – Слушай, слушай.

Вернер просыпается. Мелодия – как прозрачная рябь на воде. «Лунный свет». Сияющая девушка из лунного света.

Фолькхаймер говорит:

– Подключи фонарь к аккумулятору.

– Зачем?

– Подключи, и все.

Недослушав мелодию, Вернер отсоединяет аккумулятор, вывинчивает из фонаря лампочку и патрон, присоединяет контакты, и в руках у него возникает шар света. В дальнем углу подвала Фолькхаймер громоздит куски кладки, доски, обломки стены. Изредка он замирает, складывается пополам и тяжело дышит, потом вновь принимается работать. Наконец он втаскивает Вернера за импровизированную баррикаду, свинчивает основание гранаты и выдергивает чеку, поджигая пятисекундный запал. Вернер рукой плотнее прижимает к голове каску, и Фолькхаймер бросает гранату туда, где когда-то была лестница.

Музыка № 3

Обе дочери фон Румпеля были пухленькими капризулями. Обе вечно теряли погремушки и соски, запутывались в пеленках и принимались орать как резаные. Однако они выросли, несмотря на его отсутствие. И обе поют, особенно Вероника. Может, знаменитыми певицами и не станут, но отцу нравится. Они надевают большие фетровые боты и жуткие бесформенные платья, которые шьет им мать, с аютиными глазками мелкой гладью на воротнике, складывают руки за спиной и выводят песенки, смысла которых не понимают по малолетству.

Мужчины вьются вокруг,

Как мотыльки у огня,

И если крылышки обожгут,

То пусть не винят меня.

То ли в воспоминании, то ли во сне фон Румпель смотрит, как Вероника, проснувшись, по обыкновению, до рассвета, стоит на коленях в комнате Мари-Лоры и водит по улицам макета двух кукол, одну в белом платье, другую в сером костюме. Они поворачивают налево, поворачивают направо и подходят к собору, где стоит третья кукла, в черном, с поднятой рукой. Свадьба это или жертвоприношение, не угадать. Вероника поет так сладко, что слова тают, остается только мелодия, и кажется, будто звучит не девичий голос, а фортепьяно, и куклы кружат в такт, переступая с ноги на ногу.

Музыка умолкает, Вероника растворяется в воздухе. Фон Румпель садится. Макет перед кроватью кровотоцит и отстраивает себя заново. Где-то сверху молодой человек начинает по-французски рассказывать про уголь.

Наружу

Долю мгновения воздух рвется с треском, как будто из него выдирают последние молекулы кислорода. Потом летят куски камня, дерева и металла, со звоном ударяют о каску, врезаются в стену за спиной, баррикада, возведенная Фолькхаймером, рушится, повсюду в темноте все сползает и катится, Вернеру нечем дышать. Однако взрыв произвел некий тектонический сдвиг в развалинах здания – слышны треск и новый грохот сыплющихся камней. Когда Вернер перестает кашлять и стряхивает обломки с груди, он видит Фолькхаймера: тот смотрит на рваное пятнышко лилового света.

Небо. Ночное небо.

Столб звездного сияния разрезал тьму и упирается в груды обломков на полу. Мгновение Вернер вбирает его в легкие. Тут Фолькхаймер, отодвинув Вернера, взбирается на полуразрушенную лестницу и начинает куском арматуры расширять дыру. Металл звенит, руки изодраны в кровь, шестидневная щетина светится белым от пыли, но дело идет споро; ломтик света уже превратился в фиолетовый клин размером с две Вернеровых ладони.

Одним ударом Фолькхаймер разносит целый пласт обломков, которые падают ему на каску и на плечи, а дальше надо только протиснуться и подтянуться. Он пролезает в дыру, одежда рвется, ноги дергаются, и вот он уже наверху – протягивает руку, чтобы вытащить Вернера вместе с винтовкой и вещмешком.

Они стоят на коленях среди того, что еще совсем недавно было улицей. Все залито сиянием звезд. Луны не видно. Фолькхаймер поднимает окровавленные ладони, словно хочет поймать воздух, впитать его кожей, как дождь.

От гостиницы сохранился лишь один угол, на внутренних стенах висят куски штукатурки. Дальше – остовы домов, их внутренности открыты ночному небу. Крепостная стена за гостиницей стоит, хотя многие верхние амбразуры разбиты. За ней чуть слышно плещется море. Все остальное – развалины и тишина. Каждый зубец очерчен звездным светом. Сколько трупов разлагаются в этой грудке обломков прямо перед ними? Девять? Возможно, больше.

Шатаясь, как пьяные, они подходят к крепостной стене. Фолькхаймер, моргая, глядит сперва на Вернера, потом в ночь. Лицо у него так густо припорошено известкой, что он кажется колоссом, слепленным из пудры.

В пяти кварталах к югу крутит ли еще девушка свою запись?

Фолькхаймер говорит:

– Бери винтовку. Иди.

– А ты?

– Еда.

Вернер трет глаза, уставшие от сверкания звезд. Есть не хочется, как будто он навсегда избавился от этой утомительной привычки.

– А нам разве не надо?..

– Иди, – повторяет Фолькхаймер.

Вернер смотрит на него в последний раз: рваная армейская куртка, квадратная челюсть. Ласковые большие руки. Какое же у тебя будущее...

Знал ли он все это время?

Вернер перебегает от укрытия к укрытию. В левой руке брезентовый вещмешок, в правой – винтовка. Осталось пять патронов. В голове звучит голос девушки: «Он здесь. Он убьет меня». На запад по ущелью каменного крошева, через груды кирпича, проводов, черепицы, местами еще горячей. Улицы по виду пусты, хотя кто смотрит на него из открытых окон – немцы, французы, англичане или американцы, – Вернер не знает. Быть может, он сейчас в перекрестье снайперского прицела.

Вот одинокая туфля на платформе. Вот упавший фанерный повар, в руках у него доска, на которой мелом написан суп дня. Вот спутанный ком колючей проволоки. И повсюду трупный запах.

Пригнувшись за разбомбленной сувенирной лавочкой – на стойках тарелки с именами по ободку, расставленные в алфавитном порядке, – Вернер пытается сообразить, где он сейчас. Coiff eur Dames[47] через улицу. Глухая стена банка. Дохлая лошадь, запряженная в телегу. Тут и там торчат уцелевшие здания, стекла выбиты, из окон струйками тянутся дымки, словно тени сорванного плюща.

Как ярок свет в ночи, он и не знал! День его ослепит.

Вернер поворачивает направо, где, если он не ошибся, должна быть рю-д'Эстре. Дом номер четыре по улице Воборель по-прежнему стоит. Все окна на фасаде выбиты, но стены почти не закоптились, и даже два ящика для цветов еще висят.

Он прямо подо мной.

Им всегда внушали, что главное – ясная цель. Пузатый комендант Бастиан, с его старушечьей походкой, утверждал, что школа выбьет из Вернера неуверенность.

Мы залп пуль, мы пушечные ядра. Мы – острое клинка.

Кто слабейший?

Платяной шкаф

Фон Румпель, ковыляя, подходит к огромному гардеробу. Пиджаки, брюки в полоску, хлопковые рубашки с высоким воротником и до нелепого длинными рукавами. Мальчишеская одежда невесть какой давности.

Чья эта комната? Большие зеркала на дверцах гардероба почернели от времени, под маленьким письменным столом старые кожаные сапоги, на крючке висит метелка для смахивания пыли. На столе фотография мальчика в коротких штанах на вечернем пляже.

За разбитым окном висит безветренная ночь. Пепел кружится в свете звезд. Голос, сочащийся сквозь потолок, повторяется: «Разумеется, дети, мозг погружен во тьму... И

все же мир, выстраиваемый в мозгу...» – плывет, бая и растягивая слова; по мере того как садится аккумулятор, урок звучит все медленнее, словно лектор устал, и наконец совсем умолкает.

Сердце бешено стучит, голова отказывает. Со свечой в левой руке и пистолетом в правой, фон Румпель вновь поворачивается к гардеробу. Места столько, что внутри можно поместиться целиком. Как эту громадину втащили на шестой этаж?

Он подносит свечу ближе и в тени рубашек замечает то, что пропустил в первый раз: полосы на пыльном дне. То ли от коленей, то ли от пальцев, а скорее, и от того и от другого. Рукоятку пистолета фон Румпель раздвигает одежду. Насколько глубок шкаф?

Он наклоняется внутрь, и в этот момент тренькают два колокольчика: один сверху, другой снизу. От этого звука он вздрагивает, ударяется головой о верхнюю стенку шкафа, свеча падает, и фон Румпель грохается на спину.

Свеча катится, пламя обращено вверх. Почему? Какой загадочный принцип требует, чтобы огонек свечи всегда указывал на небо?

Пять дней в этом доме, а камень так не найден, последний немецкий порт в Бретани скоро падет, а с ним и весь Атлантический вал. Срок, обещанный врачом, уже вышел. И что это за звон колокольчиков? Так приходит смерть?

Пламя медленно тянется к окну. К занавескам.

Внизу скрипит, открываясь, дверь. Кто-то вошел в дом.

Товарищи

Пол в прихожей усеян битой посудой, бесшумно не пройдешь. За кухней, где вперемешку валяются кастрюли и полки, – коридор, занесенный сугробами пепла. Перевернутый стул. Впереди лестница. Если девушка не ушла за последние несколько минут, она должна быть на верхнем этаже, у передатчика.

С вещмешком за спиной, держа винтовку двумя руками, Вернер начинает подъем. На каждой площадке тьма заливаает ему глаза. Под ногами возникают и пропадают пятна. Вся лестница забросана книгами, бумагами, веревками, бутылками и, кажется, частями старинных кукольных домиков. Второй этаж, третий, четвертый, пятый: везде одинаково. Вернер не знает, много ли шума он производит и насколько это существенно.

На шестом этаже лестница вроде бы заканчивается. На площадке три полуоткрытых двери: слева, впереди, справа. Вернер, держа винтовку, заходит в правую. Он ждет ружейных вспышек, оскаленных демонов, но все тихо. Свет из открытого окна озаряет продавленную кровать. Девичье платье в открытом шкафу. Вдоль плинтуса разложены сотни каких-то комочков – галька? В углу два наполовину полных ведра, наверное с водой.

Неужели он опоздал? Вернер прислоняет винтовку Фолькхаймера к кровати, берет ведро и выпивает один глоток, второй. В окне, далеко за соседними домами, за крепостной стеной, возникает и гаснет огонек – качается на волнах судно.

Голос за спиной говорит:

– Ага.

Вернер оборачивается. Перед ним немецкий унтер-офицер в полевой форме. Пять нашивок и три ромба – фельдфебель. Бледный, избитый, худой как смерть, фельдфебель неверным шагом подходит к постели. Правая сторона шеи странно выпирает из тесного воротника.

– Не советую мешать морфий с божоле, – говорит он.

Жилка у него на виске пульсирует.

– Я видел вас, – говорит Вернер. – Перед булочной. С газетой.

– И я тебя видел, малыш-рядовой.

В его голосе слышна уверенность, что они товарищи. Сообщники в преступлении. Что оба пришли сюда за одним и тем же.

За спиной фельдфебеля невозможное: пламя. Занавеска в комнате по другую сторону лестничной площадки горит. Языки огня уже лижут потолок. Фельдфебель запускает палец за воротник, оттягивает. Лицо тощее, зубы торчат. Он садится на кровать. Звездный свет поблескивает на дуле пистолета.

В ногах кровати на низком столе едва различается деревянный макет города. Это Сен-Мало? Вернер смотрит то на макет, то на горящую занавеску, то на винтовку Фолькхаймера, прислоненную к кровати. Унтер-офицер наклоняется вперед и нависает над миниатюрным городом, словно измученная горгулья.

По лестничной площадке змеятся первые струйки дыма.

– Занавеска, господин фельдфебель. Она в огне.

– Прекращение огня назначено на полдень. По крайней мере, так говорят, – глухо произносит фон Румпель. – Спешить некуда. Времени больше чем достаточно. – Он пробегается пальцами одной руки по миниатюрной улице. – Нам нужно одно и то же, рядовой. Но лишь один это получит. И только я знаю, где оно. Тебе нужно решить непростую задачку. Там оно, там или там? – Он трет одной рукой о другую, ложится на кровать и направляет пистолет к потолку. – Или там?

В комнате напротив горящая занавеска падает с карниза. Может быть, она погаснет, думает Вернер. Может быть, она погаснет сама собой.

Вернер вспоминает людей в подсолнухах и сотни других: каждый лежал в лачуге, в грузовике или в бункере с таким лицом, будто только что услышал мелодию знакомой песенки. Между бровями морщина, рот открыт. Выражение словно говорит: «Уже? Так рано?» Однако разве не с каждым это случается чересчур рано?

На площадке дрожат отзвуки пламени. Все так же лежа, фельдфебель берет пистолет двумя руками, открывает и закрывает патронник.

–пей еще. – Он указывает на ведро у Вернера в руках. – Я вижу, как сильно ты хочешь пить. Поверь, я туда не мочился.

Вернер ставит ведро. Фельдфебель поводит головой взад-вперед, как будто у него затекла шея. Затем направляет пистолет Вернеру в грудь. Со стороны горячей занавески доносится приглушенный стук: что-то ударяется о перекладины лестницы и падает на пол. Фельдфебель поворачивает голову, дуло пистолета опускается.

Вернер хватает винтовку Фолькхаймера. Вся жизнь ты ждешь, и вот миг наступил. Готов ли ты?

Одновременность мгновений

Кирпич падает на пол. Голоса умолкают. Внизу какое-то движение, и тут же снопом малинового света гремит выстрел: взрыв Кракатау. Дом на миг раскалывается пополам.

Мари-Лора соскальзывает с лестницы и припадает ухом к фальшивой стене шкафа. Торопливые шаги пересекают площадку и входят в комнату Анри. Плеск воды, шипение, запах дыма и пара.

Теперь шаги становятся неуверенными. Они не такие, как у фельдфебеля. Легче. Они приближаются к шкафу. Человек по другую сторону открывает дверцы. Задумывается. Соображает, что к чему.

Слышно, как он водит рукой по задней стенке. Мари-Лора крепче стискивает нож.

В трех кварталах восточнее Франк Фолькхаймер сидит в брошенной квартире на углу рю-де-Лорьер и рю-Тевенар и руками ест из банки консервированные бататы. За устьем реки, под двухметровым слоем бетона, адъютант держит китель, а полковник, командующий гарнизоном, продевает руки сперва в один, потом в другой рукав. Ровно в то же мгновение девятнадцатилетний американский разведчик на склоне под дотами замирает, оборачивается и трогает за руку товарища, а в Форт-Насионале Этьен Леблан, лежа щекой на брусчатке, говорит себе, что, если они с Мари-Лорой выживут, он скажет ей выбрать любую точку на экваторе, возьмет билеты на океанский лайнер, на самолет и не остановится, пока они не окажутся в джунглях, среди благоухания незнакомых цветов и пения неведомых птиц. В пятистах километрах от Форт-Насионаля жена Рейнгольда фон Румпеля будит дочерей, чтобы идти к мессе, и думает о пригожем соседе, вернувшемся с фронта без ноги. Не очень далеко от нее Ютта Пфенниг спит в ультрамариновой полутьме сиротского дома и видит во сне рассвет над заснеженными полями, а совсем недалеко от Ютты фюрер подносит к губам стакан теплого (но не кипяченого) молока, на тарелке перед ним ежедневный завтрак – кусок черного ольденбургского хлеба и яблоко; в овраге под Киевом двое заключенных натирают песком руки, чтобы не скользили, и вновь берутся за носилки, а ниже зондеркоманда железными прутами помешивает огонь; трясогузка скачет по плитам берлинского двора, высматривая улики; в учреждении национал-политического образования Шульпфорты мальчишки двенадцати-тринадцати лет, общим числом сто девятнадцать, стоят в очереди к грузовику с десятикилограммовыми противотанковыми минами, – те самые мальчишки, которым ровно через восемь месяцев, в разгар советского наступления, выдадут последний оставшийся у рейха ящик горького шоколада, вермахтовские каски с мертвых солдат и шестьдесят ручных гранатометов «панцерфауст» и бросят их – со вкусом шоколада во рту, в огромных касках на бритых головах – защищать мост, который уже не нужно защищать, под танки Т-34 Белорусской армии, так что из ста девятнадцати не выживет ни один; в Сен-Мало светает, Вернер слышит, как Мари-Лора с шумом втягивает воздух, Мари-Лора слышит, как Вернер скребет ногтями по дереву, как будто патефонная игла шуршит по пластинке; между ними меньше полуметра.

Он говорит:

– Es-tu là?[48]

Ты здесь?

Он призрак. Из иного мира. Он – папа, мадам Манек, Этьен: в нем наконец вернулись все, кто ее покинул. Через фальшивую стенку шкафа слышен его голос:

– Я не собираюсь тебя убивать. Я слышал тебя. По радио. Потому и пришел. – Он с трудом подбирает французские слова. – Музыка. Свет луны.

Она почти улыбается.

Каждый из нас возникает как одна-единственная клетка меньше пылинки. Гораздо меньше. Деление. Умножение. Сложение и вычитание. Материя движется туда и обратно, атомы меняются местами, молекулы вращаются, белки шивают сами себя, митохондрии шлют свои окислительные приказы; мы начинаем с микроскопического коловращения электричества. Легкие, мозг, сердце. Сорок недель спустя шесть триллионов клеток сдавливаются родовыми путями нашей матери, и мы кричим. С этого мгновения мы в мире, и мир начинает на нас воздействовать.

Мари-Лора сдвигает панель. Вернер протягивает руку и помогает ей выйти. Она нащупывает ногой пол и говорит:

– Mes souliers[49]. Я не смогла найти туфли.

Вторая банка

Девушка очень тихо сидит в углу, кутая колени в пальто. Как она подобрала под себя ноги! Как ее пальцы порхают в воздухе! Все это он надеется не забыть никогда.

На востоке грохочут орудия. Цитадель бомбардируют, она отстреливается.

На Вернера накатывает усталость. Он говорит по-французски:

– Будет... как это... Waff enruhe. Перерыв в бою. В полдень. Чтобы люди вышли из города. Я могу тебя вывести.

– А ты точно знаешь, что это правда?

– Нет, – отвечает Вернер, – точно не знаю.

Тишина. Он разглядывает свои штаны, пыльную куртку. Форма делает его сообщником всего, что эта девушка ненавидит.

– Там есть вода, – говорит он, идет в другую комнату и, стараясь не глядеть на тело фон Румпеля, берет второе ведро.

Девушка исчезает в ведре с головой, ее тощие руки обнимают обод.

– Ты очень храбрая, – говорит Вернер.

Она ставит ведро и спрашивает:

– Как тебя зовут?

Он отвечает, и она говорит:

– Когда я ослепла, Вернер, люди говорили, что я очень храбрая. И когда папа уехал, тоже. Только это была не храбрость. У меня не оставалось выбора. Я просыпаюсь утром и живу своей жизнью. Ведь и ты так же?

– Этого не было уже много лет. Но сегодня, кажется, да.

Она без очков, зрачки словно залиты молоком, но Вернера это удивительным образом не пугает. Ему вспоминается выражение фрау Елены: *belle laide*. Прекрасная дурнушка.

– Какое сегодня число?

Он оглядывается. Обгоревшие занавески, копоть на потолке, картон, которым были закрыты окна, отогнулся, и в дыру сочится очень бледный предутренний свет.

– Не знаю. Сейчас утро.

Над домом свистят снаряды. «Сидеть бы здесь тысячу лет», – думает Вернер, но тут снова взрывается бомба, и он говорит:

– По твоему передатчику кто-то рассказывал о науке. Когда я был маленьким. Мы слушали вместе с сестрой.

– Это был голос моего дедушки. Ты его слышал?

– Много раз. Нам очень нравилась эта передача.

Окно бледнеет. В комнату проникает ранний желтоватый свет. Все мучительно-призрачное и неопределенное. Быть здесь, в этой комнате, на высоком этаже, а не в подвале, – как лекарство.

– Я бы съела ветчины, – говорит она.

– Что-что?

– Я бы съела целую свинью.

Вернер улыбается:

– Я бы съел целую корову.

– Женщина, которая жила тут раньше, готовила самые вкусные в мире омлеты.

– Когда я был маленький, – говорит он, надеясь, что правильно вспомнил слова, – мы собирали ягоды в Рурской области. Мы с сестрой. Иногда находили ягоды размером с большой палец.

Девушка на коленях подползает к шкафу и взбирается по лестнице. Когда она спускается обратно, в руке у нее зажата помятая банка консервов:

– Тебе видно, что там?

– Наклейки нет.

– Ее и не должно быть.

– Там еда?

– Давай откроем и проверим.

Вернер приставляет нож к банке и одним ударом кирпича пробивает дыру. И тут же его обдает запахом, таким фантастически сладким, что впору потерять сознание. Как же это по-французски? Rêches. Les rêches.

Девушка наклоняется вперед, нюхает, и ее щеки еще ярче расцветают веснушками.

– Мы съедем ее на двоих, – говорит она. – За то, что ты сделал.

Вернер вбивает нож второй раз, пилит металл, отгибает крышку.

– Осторожно, – говорит он и протягивает банку.

Девушка окунает пальцы в сироп и выуживает мокрую, мягкую скользкую дольку. Потом Вернер делает то же самое. Персик – упоение. Утренняя заря во рту.

Они едят. Пьют сироп. Пальцами собирают со стенок последние остатки.

«Птицы Америки»

Сколько чудес в этом доме! Она показывает ему передатчик на чердаке: двойной аккумулятор, старинный патефон, антенну, которая поднимается и опускается с помощью сложной системы рычагов. Даже валики для фонографа, на которых записаны голос ее деда, уроки науки для детей. А книги! Ими засыпаны все нижние этажи – Беккерель, Лавуазье, Фишер, – за целую жизнь не прочесть. Вот бы прожить десять лет в этом узком высоком доме, запершись от мира, изучать его секреты, читать его книги и смотреть на эту девушку.

– Как ты думаешь, – спрашивает Вернер, – капитан Немо уцелел в водовороте?

Мари-Лора сидит на площадке пятого этажа, в своем огромном пальто, как будто ждет поезда.

– Нет. Да. Не знаю. Наверное, в этом-то и весь смысл, да? Чтобы мы гадали? – Она наклоняет голову. – Он был сумасшедший. И все равно мне не хотелось, чтобы он погиб.

В кабинете ее дядюшки, в углу, в куче разбросанных книг, Вернер отыскал «Птиц Америки». Перепечатка, не такое огромное издание, как он когда-то видел у Фредерика, но все равно потрясающее: четыреста тридцать пять гравюр. Вернер выносит их на площадку:

– Дядя тебе это показывал?

– Что это?

– Птицы. Птицы, птицы, птицы.

Снаружи проносятся снаряды.

– Надо идти вниз, – говорит она, но оба не двигаются с места.

Калифорнийская куропатка.

Северная олуша.

Большой фрегат.

Вернер видит, как Фредерик стоит на коленях у окна, прижавшись носом к стеклу. В кустах прыгает маленькая серая птичка. С виду невзрачная, да?

– Можно мне взять одну страницу?

– Конечно. Мы же скоро уходим, да? Когда будет безопасно?

– В полдень.

– А как мы узнаем, что уже время?

– Когда перестанут стрелять.

В небе гудят самолеты. Десятки и десятки самолетов. Вернера бьет озноб. Мари-Лора отводит его на первый этаж, где на всем лежит сантиметровый слой пепла и сажи. Вернер убирает с дороги перевернутую мебель, открывает люк, и они спускаются в погреб. Где-то наверху тридцать бомбардировщиков сбрасывают свой груз, отзвук взрыва докатывается через реку, подвал под Мари-Лорой и Вернером содрогается.

Можно ли каким-нибудь чудом это продлить? Спрятаться здесь вдвоем до конца войны? Пока армии будут маршировать взад и вперед у них над головой, пока не придет время, когда останется только открыть дверь, отодвинуть камни и увидеть, что дом превратился в руины на берегу моря? Пока он не сможет взять ее за руку и вывести на солнечный свет? Он бы пошел куда угодно, вытерпел бы что угодно, лишь бы это случилось. Через год, три, десять будет не так важно, кто немец, а кто француз; они смогут зайти в туристский ресторанчик, заказать простой обед и съесть в молчании – в уютном молчании, какое бывает между влюбленными.

– А знаешь, – тихо спрашивает Мари-Лора, – из-за чего он был здесь? Тот человек?

– Из-за передатчика? – Еще не договорив, Вернер задумывается: а правда, из-за чего?

– Может быть, – отвечает она.

Минуту спустя они оба уже спят.

Прекращение огня

Резкий летний свет льется в открытый люк. Время, наверное, уже за полдень. Орудия молчат. Несколько мгновений Вернер смотрит на спящую Мари-Лору.

Дальше начинается спешка. Вернер не сумел отыскать туфли Мари-Лоры, зато нашел в стенном шкафу пару мужских ботинок и помог ей их надеть. Поверх формы он натягивает твидовые штаны Этьена и рубашку – рукава ему чересчур длинны. Если они наткнутся на немцев, он будет говорить только по-французски, скажет, что помогает ей выбраться из города. Если встретят американцев, скажет, что дезертировал.

– Должен быть пункт сбора, какое-нибудь место, где собирают беженцев, – говорит Вернер, хотя не совсем уверен, что правильно вспомнил французские слова. В опрокинутом комоде он находит белую наволочку, складывает и убирает Мари-Лоре в карман. – Когда будет нужно, подними ее на вытянутых руках.

– Постараюсь. А где моя трость?

– Вот.

Они некоторое время стоят в прихожей, не зная, что их ждет по другую сторону двери. Вернер вспоминает душный танцзал, где четыре года назад сдавал экзамены, лестницу, красный флаг с белым кругом и черной свастикой. Надо шагнуть вперед. Надо прыгнуть.

Снаружи из груд камней торчат печные трубы. По небу плывет дым. Вернер знает, что город обстреливали с востока, что шесть дней назад американцы были на подступах к Парамэ, поэтому ведет Мари-Лору в том направлении.

В любой момент их могут заметить либо американцы, либо его соотечественники. Принудят что-нибудь делать: работать, вступить в ряды, дать показания, умереть. Откуда-то доносится звук пожара – хруст сухих розовых лепестков, сжимаемых в кулаке. Больше ничего: ни самолетов, ни далекой перестрелки, ни стона раненых, ни лая собак.

Вернер берет Мари-Лору за руку и ведет по камням. Бомбы не падают, пули не свистят, плывущий в воздухе пепел приглушает свет.

Два квартала они не встречают ни единой живой души. Возможно, Фолькхаймер ест – Вернеру приятно вообразить, как огромный Фолькхаймер ест в одиночестве за столиком с видом на море.

– Тут так тихо.

Ее голос – как ясное окошко в небе. Лицо – луг веснушек. Вернер думает: я не хочу тебя отпускать.

– Нас кто-нибудь видит?

– Не знаю. Кажется, нет.

Еще через квартал он видит движение впереди: три женщины тащат свертки.

Мари-Лора тянет его за рукав:

– Что это за поперечная улица?

– Рю-де-Лорьер.

– Идем, – говорит она и направляется вперед, стуча тростью.

Они поворачивают направо, потом налево, мимо дерева, торчащего из земли огромной обгорелой зубочисткой, мимо двух ворон, которые клюют что-то непонятное. Впереди крепостная стена. Воздушные плети плюща свисают с арки, ведущей в узкую улочку. Женщина в платье из синей тафты пытается втащить на тротуар набитый до отказа чемодан. С ней мальчик в штанах, которые ему явно коротки, в яркой куртке и сдвинутым на затылок беретом.

– Там гражданские, мадемуазель. Они куда-то идут. Окликнуть их?

– Я только на одну минуточку.

Она ведет его глубже в проулочку. Из отверстия в стене, которого Вернер пока не видит, тянет свежим, неотравленным океанским воздухом.

В конце проулочка – узкая решетка. Мари-Лора достает из кармана ключ.

– Сейчас прилив?

Вернер видит низкое помещение и вторую решетку в дальнем конце:

– Там вода. Нам надо спешить.

Однако Мари-Лора уже открыла замок и уверенно спускается в грот, шлепая мужскими ботинками, ведет пальцами по стенам, будто это старые друзья, с которыми она расстанется надолго, если не навсегда. Из-за прилива озерцо идет мелкими волнами, они плещутся и задевают ей подол. Из кармана она достает что-то маленькое деревянное и кладет на воду. Ее нежный голосок эхом отдается в гроте:

– Скажи мне, он в океане? Он должен быть в океане.

– Да. Нам надо идти, мадемуазель.

– Он точно в океане?

– Да.

Она, запыхавшись, выбирается из грота. Отодвигает Вернера от решетки и запирает замок. Вернер подает ей трость. Они идут по проулочку, ее ботинки чавкают на ходу. Под навес плюща. Налево. Прямо впереди через перекресток тянется жидкая вереница людей: женщина, ребенок, двое мужчин тащат на носилках третьего, у всех троих в зубах сигареты.

У Вернера снова темнеет в глазах. Голова кружится, ноги ватные. На дороге кошка умывается и внимательно его разглядывает. Он вспоминает старых шахтеров в Цольферайне, которые часами неподвижно сидели на стульях или на ящиках, ожидая смерти. Для таких людей время – худая бочка, из которой медленно-медленно сочится вода. А на самом деле оно – сияющее озерцо у тебя в ладонях. Нужно потратить силы, чтобы его сберечь, чтобы не пролить ни единой капли.

– А теперь, – говорит он на самом лучшем французском, какой может изобразить, – вот наволочка. Веди рукой по стене – вот она, чувствуешь? Доберешься до перекрестка, продолжай идти прямо. Улица вроде почти не завалена. Держи наволочку высоко, прямо перед собой. Вот так, поняла?

Она поворачивается и закусывает нижнюю губу:

– Меня застрелят.

– Нет. Девушку с белым флагом не застрелят. Там впереди люди. Иди вдоль стены. – Он

вновь прикладывает ее ладонь к стене. – Быстрее. Помни про наволочку.

– А ты?

– Я пойду в другую сторону.

Она поворачивается к нему, и, хотя не видит Вернера, он не в силах выдержать ее взгляда.

– Ты разве не пойдешь со мной?

– Лучше, чтобы нас не видели вместе.

– Но как я снова тебя разыщу?

– Не знаю.

Она находит его руку, что-то кладет в ладонь и зажимает его пальцы:

– До свидания, Вернер.

– До свидания, Мари-Лора.

И она уходит. Через каждые несколько шагов кончик трости натывается на камень, и Мари-Лора долго ищет, как его обойти. Шажок, шажок, остановка. Шажок, шажок. Трость стучит, мокрый подол колыхнется, белая наволочка над головой. Вернер глядит ей вслед. Она доходит до перекрестка, минует еще квартал и пропадает из виду.

Вернер ждет звука голосов. Или выстрелов.

Ей помогут. Обязательно помогут.

Когда он разжимает кулак, то видит на ладони железный ключ.

Шоколад

Вечером мадам Рюэль находит Мари-Лору в реквизированном школьном здании, хватает ее за руку и не отпускает. Гражданская администрация раздает конфискованный немецкий шоколад в прямоугольных коробках, и Мари-Лора с мадам Рюэль съедают его столько, что и не могут сосчитать.

Утром американцы захватывают шато и последнюю зенитную батарею, освобождают пленных в Форт-Насионале. Мадам Рюэль выдергивает Этьена из очереди на проверку, и он прижимает Мари-Лору к груди. Полковник в подземной крепости за рекой держится еще три дня. Потом американский самолет «лайтнинг» сбрасывает в вентиляционный люк цистерну напалма (один шанс на миллион), и через пять минут появляется белая простыня на шесте. Осада Сен-Мало окончена. Саперы с миноискателями убирают все неразорвавшиеся снаряды, которые им удастся найти, следом за ними идут военные фотокорреспонденты со штативами, а на разрушенных улицах появляются первые горожане, которые вернулись из полей за городом или выбрались из подвалов. Двадцать пятого августа мадам Рюэль получает разрешение войти в город и проверить, как там пекарня. Однако Этьен с Мари-Лорой отправляются в другую сторону, в Ренн, где

снимают номер в гостинице под названием «Вселенная». Там есть горячая вода, и они оба по два часа лежат в ванне. Вечером Этьен смотрит в темное окно и видит, как отражение Мари-Лоры нащупывает путь к кровати. Она на миг прижимает руки к лицу, потом отпускает.

– Мы поедем в Париж, – говорит он. – Я там никогда не бывал. Ты его мне покажешь.

Свет

Вернера берут в полутора километрах к югу от Сен-Мало трое бойцов французского Сопротивления, объезжающие улицы на грузовике. Сперва они думают, что спасли маленького седого старичка. Потом видят под рубашкой старомодного покроя немецкую форму и решают, что сцапали крупную добычу – вражеского лазутчика. Наконец они понимают, что Вернер – мальчишка. Они сдают его американскому дежурному в реквизированной гостинице, превращенной в центр разоружения. Вернер боится, что его загонят в подвал – только не снова в яму! – но его отводят на третий этаж, где смертельно усталый переводчик, который уже месяц записывает немецких пленных, машинально задает несколько стандартных вопросов: фамилия? имя? звание? Дежурный тем временем уже проверил вещмешок и отдает его Вернеру.

– Девушка, – говорит тот по-французски, – вы видели?..

Однако переводчик только ухмыляется и что-то говорит дежурному по-английски, как будто все допрошенные им немецкие солдаты спрашивали про девушек.

Вернера отводят во двор, обнесенный колючей проволокой. Здесь уже сидят восемь или девять немцев в сапогах, держат помятые армейские фляжки. Один в женском платье, в котором, видимо, пытался дезертировать. Двое старшин, трое рядовых. Фолькхаймера нет.

Вечером приносят котел с супом, Вернер проглатывает четыре порции из жестяной кружки. Через пять минут его рвет. Утром снова суп; Вернер ест медленнее, но результат тот же. Над головой плывут облака. Он думает про Мари-Лору – ее руки, ее волосы, – хоть и боится, что, если перебирать воспоминания слишком часто, они сотрутся. Через день после ареста его вместе с еще двадцатью пленными проводят по улицам до склада, где уже находится больше ста человек. Через открытые ворота Вернер не видит Сен-Мало, но слышит самолеты, множество самолетов. Над горизонтом днем и ночью клубятся столбы дыма. Дважды медики пытаются накормить Вернера жидкой овсянкой, и оба раза его тошнит. Персики были последним, что принял его желудок.

Может быть, вернулась лихорадка; может, он отравился жижой из-под малярных кистей в подвале; может, организм больше не хочет жить. Он понимает, что если не будет есть, то умрет, но проглотить что-нибудь – еще страшнее, чем умереть.

Со склада их переводят в Динан. Большинство пленных – мальчишки или почти старики. Они несут плащ-палатки, вещмешки, ящики, у некоторых яркие чемоданы неведомого происхождения. Есть однополчане, и они обычно идут рядом, но большинство ни с кем не знакомы, и все видели такое, что предпочли бы забыть. И все чувствуют, что за спиной поднимается прилив, растущий вал медленного мстительного гнева.

Вернер идет в твидовых брюках дядюшки Мари-Лоры, с вещмешком за спиной. Ему восемнадцать. Вся жизнь учителя, радио, вожди твердили Вернеру о будущем. И где оно

теперь, будущее? Дорога впереди пуста, траектории его мыслей устремлены внутрь: он видит, как Мари-Лора с тростью исчезает, словно пепел от костра, и тоска мучительно стучит о ребра.

Первого сентября Вернер, проснувшись, не может встать. Двое других заключенных отводят его в сортир, потом укладывают на траву. Молодой врач-канадец светит ему в глаза фонариком. Потом Вернера укладывают в кузов грузовика, везут какое-то время и вносят в палатку, полную умирающих. Медсестра что-то колет ему в руку, ложкой вливает в рот какой-то раствор.

Неделю он живет в странном зеленоватом свете большой брезентовой палатки: в одной руке зажат вещмешок, в другой – угловатый деревянный домик. Когда есть силы, Вернер разбирает головоломку: поворачивает трубу, сдвигает три дощечки, заглядывает внутрь. До чего же умно сделано!

Каждый день справа и слева от него еще одна душа уносится к небесам, и Вернеру чудится далекая мелодия, как будто в запертой комнате играет большой старый приемник, но услышать музыку можно, только прижавшись здоровым ухом к матрасу, и по временам он не уверен, что она и вправду звучит.

Вроде бы Вернер должен на что-то сердиться, но он не помнит на что.

– Он не ест, – говорит медсестра.

Нарукавная повязка с красным крестом.

– Температура?

– Высокая.

Еще слова. Потом числа. Во сне он видит ясную морозную ночь, каналы подо льдом, в шахтерских домах горят окна, а крестьяне катаются по полям на коньках. Видит спящую в Атлантике подводную лодку; Ютта прижимается лицом к иллюминатору и дышит на стекло. Вернер почти ждет, что сейчас Фолькхаймер протянет огромную ручищу, поможет ему встать и забраться в «опель».

А Мари-Лора? Чувствует ли она по-прежнему его пальцы между своими, как он чувствует ее?

Как-то ночью он садится на койке. Рядом несколько десятков больных и раненых. Теплый сентябрьский ветер колышет палатку.

Вернер крутит головой. Ветер крепкий и еще усиливается, брезент парусит, и в просвет входа видны качающиеся деревья. Повсюду шорохи. Вернер расстегивает вещмешок, убирает туда старую тетрадь и домик. Все спят, только на соседней койке раненый что-то бормочет вопросительно, обращаясь к самому себе. Впервые за долгое время Вернеру не хочется пить. Он ощущает лишь рассеянный лунный свет, проникающий сквозь палатку. За распахнутым пологом бегут над деревьями облака. В сторону Германии, в сторону дома.

Синие и серебряные, серебряные и синие.

Между койками летают бумажные листки, сердце у Вернера бьется быстрее. Он видит, как фрау Елена стоит на коленях перед чугунной печкой и ворошит уголь. Дети в кроватях. Маленькая Ютта спит в колыбели.

Отец зажигает фонарь, входит в клеть и пропадает.

Голос Фолькхаймера: какое же у тебя будущее...

Тело под одеялом стало совсем невесомым; за хлопающим пологом палатки танцуют деревья, тучи плывут чередой; Вернер сбрасывает с койки сперва одну, потом другую ногу.

– Эрнст! – зовет человек рядом с ним. – Эрнст!

Но никакого Эрнста тут нет, люди на койках не отзываются. Американский солдат перед палаткой спит. Вернер выходит мимо него на траву.

Ветер задувает под майку. Он – парус, воздушный шар.

Как-то они с Юттой смастерили деревянный кораблик. Ютта раскрасила его яркими-преяркими красками, малиновой и зеленой, торжественно отнесла к реке и опустила на воду. Однако течение подхватило кораблик, опрокинуло его набок и унесло в черную стоячую заводь, куда им было не добраться. Ютта моргала мокрыми ресницами и теребила распущенные петли вязаной кофты.

– Все хорошо, – сказал ей Вернер. – С первой попытки мало что удастся. Мы сделаем другой корабль, лучше.

Сделали ли они другой корабль? Вернер надеется, что да. Он вроде бы вспоминает, как другое суденышко, более мореходное, скользило вниз по реке. Оно исчезло за излучиной, оставив их позади. Было это или нет?

Лунный свет сияет и клубится; над деревьями бегут рваные тучи. Летят осенние листья, но лунный свет неподвижен, его лучи проходят через облака, через воздух, пронзают полегшую траву.

Почему свет не отклоняется на ветру?

Американец замечает, что кто-то вышел из палатки-лазарета и теперь движется на фоне деревьев. Он садится, поднимает руку, кричит:

– Стой! Halt!

Однако Вернер уже на краю поля. Здесь он напарывается на мину, поставленную его же армией три месяца назад, и взлетает вместе с фонтаном бурой земли.

11. 1945 г.

Берлин

В январе сорок пятого фрау Елену и последних четырех девочек из сиротского дома – близняшек Ханну и Сусанну Герлиц, Клаудиа Фёрстер и пятнадцатилетнюю Ютту Пфенниг – отправляют в Берлин, на завод.

По десять часов в день, шесть дней в неделю, они разбирают тяжелые штамповочные прессы и складывают металлолом в ящики, которые потом погрузят на поезд.

Отвинчивают гайки, пилят. Обычно фрау Елена работает рядом с девочками, в рваной лыжной куртке, которую нашла на улице, и тихонько бормочет себе под нос по-французски или напевает песни своего детства.

Они живут над брошенной месяц назад типографией. В коридорах стоят сотни ящиков с бракованными словарями, девочки рвут их на страницы и топят ими чугунную печку.

Вчера Dankeswort, Dankesworte, Dankgebet, Dankopfer[50].

Сегодня Frauenverband, Frauenverein, Frauenvorsteher, Frauenwahlrecht[51].

Капуста с перловкой на обед в заводской столовой, бесконечные очереди с талонами по вечерам. Три раза в неделю выдают порцию масла размером в половинку кусочка сахара. Вода из колонки в соседнем квартале. У матерей с маленькими детьми нет пеленок и колясок; им выдают коровье молоко, но очень мало. Кто-то рвет на подгузники старые простыни, кто-то закладывает младенцам между ногами сложенные треугольником газеты.

По меньшей мере половина девочек на фабрике неграмотны, так что Ютта читает им письма от женихов, братьев и отцов. Иногда пишет под диктовку ответы: «А помнишь, мы ели фисташки? А помнишь, мы ели лимонное мороженое в форме цветочков? Ты тогда сказал...»

Всю весну город бомбят, ночь за ночью, и кажется, что единственная цель противника – сжечь Берлин до основания. Бомбоубежище расположено в конце квартала. Девочки проводят там почти каждую ночь, и грохот падающих домов не дает им спать.

Иногда по пути на завод они видят трупы, черные мумии, людей, обгоревших до неузнаваемости. А иногда на мертвых не видно никаких ран, и именно они больше пугают Ютту: эти люди выглядят так, будто сейчас встанут и побредут на работу вместе со всеми.

Однако они не встают.

Как-то она видит трех школьников, лежащих в ряд ничком. У всех троих на спине ранцы. Ее первая мысль: «Проснитесь. Идите в школу». И тут же она думает: «У них в ранцах могла остаться еда».

Клаудиа Фёрстер перестает говорить. День идет за днем, а она не произносит ни слова. На заводе кончается сырье. Ходят слухи, что никто уже ни за что не отвечает, что медь, цинк и нержавеющую сталь, которые они, надрываясь, раскладывали по ящикам, погрузили в товарные вагоны, а эти вагоны так и стоят на запасных путях.

Почта не ходит. В конце марта завод перестает работать, а фрау Елену и девочек отправляют расчищать улицы после бомбежек. Они поднимают куски каменной кладки, сгребают мусор и битое стекло. Ютта слышит рассказы про перепуганных шестнадцатилетних мальчишек, которые возвращаются к матерям, а через два дня их выволакивают с чердаков и расстреливают как дезертиров. Ей все чаще вспоминается детство, как брат возил ее в тележке, как они рылись на свалках. Выискивали, не блеснет ли в грязи что-нибудь ценное.

– Вернер, – шепчет она вслух.

Осенью в Цольферайне Ютта получила два извещения о его гибели. Оба – с разными местами захоронения. Фресне, Шербур. Города во Франции. Иногда во сне она вместе с ним стоит перед столом, на котором разложены шестерни, моторы и приводные ремни. «Я кое-что придумал, – говорит он, – и сейчас над этим работаю», – но дальше не продолжает.

В апреле женщины говорят только о русских, об их мщении. Варвары, дикари, свиньи.

Звери уже в Штраусберге. Чудовища в пригороде.

Ханна, Сусанна, Клаудиа и Ютта спят на полу вповалку. Осталось ли что-нибудь хорошее в жалкой крепости их последнего дома? Да, чуть-чуть. Однажды вечером Ютта возвращается, вся в пыли, и узнает, что большая Клаудиа Фёрстер где-то нашла картонную кондитерскую коробку, перевязанную золотой лентой. На картоне – жирные пятна. Девочки смотрят на коробку как на весточку из непадшего мира.

Внутри пятнадцать пирожных с начинкой из клубничного джема, переложенные квадратиками вошеной бумаги. Четыре девочки и фрау Елена сидят под текущей крышей, весенний дождь барабанит по городу, из развалин текут черные от пепла ручьи, из-под груд кирпича выглядывают крысы, а они съедают по три черствых пирожных каждая, ничего не оставляя на потом; носы у всех в сахарной пудре, зубы липкие от желе, в крови играет и бурлит счастье.

Почти не верится, что заторможенная, окаменевшая Клаудиа сотворила такое чудо и поделила его с ними.

Немногие оставшиеся в городе девушки одеваются в рванину, прячутся в подвалах. Ютта слышала, что бабушки мажут внучек экскрементами, обрезают им волосы хлебными ножами – что угодно, лишь бы русские на них не польстились.

Она слышала, что матери топят дочерей.

И еще что от русских за километр разит кровью.

– Теперь уже недолго, – говорит фрау Елена, грея руки перед печкой, на которой все никак не закипает чайник.

Русские заявляются к ним ясным майским днем. Их всего трое, и это происходит лишь один раз. Они вламываются в брошенную типографию, ища спиртное, и, не найдя, начинают палить в стены. Треск, пуля отлетает от старого печатного станка, а в квартире на верхнем этаже фрау Елена сидит в полосатой лыжной куртке с сокращенным текстом Нового Завета в кармане, держит девочек за руки и беззвучно молится, двигая губами.

Ютта почти уверила себя, что русские сюда не поднимутся. Несколько минут кажется, что так будет, потом на лестнице раздается грохот сапог.

– Ведите себя спокойно, – говорит фрау Елена девочкам. Ханна, Сусанна, Клаудиа и Ютта – ни одной из них еще нет семнадцати; голос у фрау Елены тихий, но страха в нем не слышно, разве что огорчение. – Ведите себя спокойно, и они не станут стрелять. Я пойду с ними первой, потом они будут добрее.

Ютта сцепляет руки на затылке, чтобы унять дрожь. Клаудиа кажется глухонемой.

– И закройте глаза, – говорит фрау Елена.

Ханна плачет.

– Я хочу их видеть, – говорит Ютта.

– Тогда не закрывай.

Пьяные шаги на верхней площадке лестницы. Русские заходят в чулан, гремят швабрами, по лестнице съезжает ящик со словарями, потом кто-то дергает ручку. Голоса, удары, треск, и дверь распаивается.

Один из них офицер. Двум другим никак не больше семнадцати. Все трое невообразимо

грязны, но за прошедшие часы где-то щедро полили себя женскими духами. Они отчасти похожи на застенчивых школьников, отчасти – на сумасшедших, которым объявили, что они умрут через час. Особенно сильно разит духами от мальчишек. Один из них подпоясан веревкой вместо ремня; он настолько худ, что спускает штаны, не развязывая узла. Второй смеется странным ошалелым смехом, как будто не может до конца поверить, что немцы пришли в его страну, оставив позади такой город. Офицер сидит у двери, выставив ноги, и смотрит на улицу. Ханна коротко вскрикивает, но тут же зажимает себе рот.

Фрау Елена уводит мальчишек в другую комнату. Она издает лишь один звук – короткий кашель, будто чем-то поперхнулась.

Клаудиа идет следующей. Она не кричит, только стонет. Ютта сжимает зубы и молчит. Все странно упорядоченно. Офицер заходит последним, пробует каждую по очереди и, лежа на Ютте, произносит отдельные отрывистые слова. Глаза у него открыты, но не видят, и по напряженному лицу не понять, что это – ласковый шепот или оскорбления. Одеколон не заглушает запах его пота.

Много лет спустя Ютта внезапно вспомнит его тогдашние слова – Кирилл, Павел, Афанасий, Валентин – и решит, что это имена погибших солдат. Однако она может ошибаться.

Перед уходом младший дважды стреляет в потолок, известка мягко сыплется на Ютту, и за эхом выстрела та слышит, как Сусанна на полу рядом с ней даже не всхлипывает, а просто тихо дышит, пока офицер защелкивает пряжку на ремне. Потом все трое русских вываливаются на улицу. Фрау Елена, босая, застегивает лыжную куртку и трет левой рукой плечо, как будто пытается согреть эту маленькую частичку себя.

Париж

Этьен снял ту самую квартиру на рю-де-Патриарш, где выросла Мари-Лора. Каждый день он покупает газеты и просматривает списки освобожденных пленных. Постоянно слушает радиоприемник – всего их у него три. Де Голль то, Северная Африка се. Гитлер, Рузвельт, Гданьск, Братислава. Названия, фамилии – какие угодно, только не папины.

Каждое утро они идут на Аустерлицкий вокзал. Огромные часы отщелкивают неумолимый бег секунд, а Мари-Лора сидит рядом с дядей и слушает тоскливый перестук колес.

Этьен видит солдат с щеками ввалившимися, как перевернутые чашки. Тридцатилетних, которые выглядят на восемьдесят. Мужчин в протертой до дыр одежде, которые подносят руку к голове, чтобы снять несуществующую шляпу. Мари-Лора судит о проходящих по звуку шагов: этот маленький, этот весит тонну, этот почти из воздуха.

Вечерами она читает, куда Этьен пишет письма или названивает в службу репатриации. Она не может проспать больше двух-трех часов кряду: ее будят фантомные бомбы.

– Это просто автобус, – говорит Этьен, который каждый вечер стелет себе на полу рядом с ее кроватью.

Или: «Это просто птицы».

Или: «Там ничего нет, Мари».

Почти каждый день старый специалист по моллюскам доктор Жеффар вместе с ними сидит на Аустерлицком вокзале, бородатый, в галстук-бабочке, пахнущий вином, розмарином, мятой. Он зовет ее Лореттой, рассказывает, как скучал, как думал о ней каждый день, как, видя ее, верит, что доброта прочнее всего в мире.

Мари-Лора сидит, прижавшись плечом к Этьену или доктору Жеффари. Папа может быть где угодно. Вдруг он – тот приближающийся голос? Или те шаги справа? Он может быть в тюрьме, в окопе, за тысячу километров отсюда. Или его уже давно нет в живых.

Она под руку с Этьеном ходит по музею, говорит с сотрудниками, из которых многие ее помнят. Директор уверяет, что они сами ищут ее папу, как только могут, что будут и дальше помогать ей с квартплатой, с обучением. Алмаз никто не упоминает.

Весна набирает ход. Эфир заполняют коммюнике: Берлин взят, Геринг капитулировал, загадочные нацистские бункеры открываются. На Аустерлицком вокзале шепчутся, что вернется один из ста. Что у тех, кто вернулся, шею можно обхватить колечком из большого и указательного пальца. Что когда они снимают рубашку, видно, как под ребрами ходят легкие.

Каждый раз, садясь есть, Мари-Лора чувствует, что предает папу.

Даже те, кто вернулся, вернулись совсем другими: они старше, чем должны быть, как будто были на другой планете, где время течет быстрее.

– Есть вероятность, – говорит Этьен, – что мы так ничего и не узнаем. Надо быть к этому готовыми.

Мари-Лора слышит голос мадам Манек: «Обязательно надо верить».

Они ждут все лето: Этьен с одной стороны, доктор Жеффар – с другой. И однажды августовским вечером Мари-Лора ведет дядю и доктора Жеффара по длинной лестнице, на солнце, и спрашивает, безопасно ли сейчас перейти улицу. Они отвечают: да, и она ведет их по набережной к воротам ботанического сада.

На дорожках перекрикиваются дети. Неподалеку играет саксофон. Она останавливается перед зеленой беседкой, гудящей от пчел. Кто-то где-то сейчас придумывает, как скинуть капюшон горя, но Мари-Лоре это не по силам. Пока не по силам. В конце концов, она всего лишь девочка-инвалид без дома и без родителей.

– Что дальше? – спрашивает Этьен. – Обедать?

– В школу, – говорит она. – Я хочу пойти в школу.

12. 1974 г.

Фолькхаймер

Франк Фолькхаймер живет в Западной Германии, в пригороде Пфорцхайма, на третьем этаже, в доме без лифта. В его квартире три окна. Почти весь вид состоит из огромного рекламного щита, закрепленного на торце дома через улицу. На щите изображены нарезанные кружками колбасы – размером с Фолькхаймера, красные, розовые, серые по краям, украшенные веточками петрушки высотой с куст. По ночам четыре безрадостных электрических прожектора над щитом заливают квартиру странным отраженным светом.

Ему пятьдесят один год.

Косой апрельский дождь падает в лучах прожектора, телевизор моргает голубым светом. Фолькхаймер, привычно нагибаясь, входит из кухни в комнату. Ни детей, ни собаки, ни кошки, ни домашних цветов, очень мало книг на полках. Только журнальный столик, матрас и единственное кресло перед телевизором, в которое он и садится. На коленях круглая жестяная банка с печеньем. Он съедает их все: сначала цветочки, потом крендельки и наконец трилистники.

На экране черная лошадь помогает человеку выбраться из-под поваленного дерева.

Фолькхаймер устанавливает и чинит телевизионные антенны. Каждое утро он надевает синий комбинезон, тесный в плечах и короткий снизу, большие черные ботинки и отправляется на работу. Поскольку ему не нужны помощники, чтобы ворочать тяжелую раздвижную стремянку, и не нужны собеседники, Фолькхаймер почти всегда ездит на вызовы в одиночку. Люди звонят в головную контору, просят установить антенну или жалуются на помехи, на интерференцию, на то, что скворцы свили гнездо на проводах. Фолькхаймер приезжает, сращивает провода, снимает шваброй птичье гнездо, поднимает антенну повыше.

Только в самые ненастные, самые холодные дни он чувствует себя в Пфорцхайме как дома. Ему нравится, когда ветер задувает под воротник комбинезона, когда далекие холмы припорошены снегом, а деревья вдоль улиц (все одинакового возраста, высажены в один год после войны) блестят инеем. Зимними вечерами Фолькхаймер ходит между антеннами, как матрос среди натянутого такелажа. В синих сумерках видно, как внизу на улицах люди спешат домой. Иногда мимо проносятся чайки, белые на фоне темного неба. Легкий, привычный вес инструментов на поясе, запах нескончаемого дождя, сияние облаков – только в такие минуты Фолькхаймер хоть отчасти чувствует себя человеком.

Однако большую часть времени, особенно в теплые дни, жизнь его выматывает: пробки на улицах, граффити на стенах, политика начальства. Все вечно грызутся из-за премий, доплат, сверхурочных. Иногда, в тягучую летнюю жару, Фолькхаймер задолго до зари расхаживает по квартире в резком электрическом свете рекламного щита и ощущает одиночество в себе как болезнь.

Он видит, как высокие ели качаются на ветру, слышит их протяжный скрип. Видит земляной пол дома, в котором вырос, алый рассвет за еловыми лапами. Иногда его преследуют взгляды людей, обреченных погибнуть через секунду, и тогда он убивает их снова. Мертвец в Лодзи. Мертвец в Люблине. Мертвец в Радоме. Мертвец в Кракове.

Дождь стучит по окну, по крыше. Перед сном Фолькхаймер спускается на три лестничных пролета к почтовому ящику в подъезде. Он не забирал почту больше недели, сегодня там, помимо рекламы и счетов, лежит толстый конверт от ветеранской организации в Западном Берлине. Фолькхаймер уносит все в квартиру и распечатывает конверт.

Три разных предмета сфотографированы на одинаковом белом фоне, к каждому прикреплен аккуратная бирка с номером.

14-6962. Брезентовый солдатский мешок, серый, с двумя лямками.

14-6963. Игрушечный деревянный домик, раздавленный с одного угла.

14-6964. Тетрадь в мягкой обложке, на которой написано одно слово: Fragen[52].

Домик ему незнаком, вещмешок может быть чей угодно, а вот тетрадь узнается с первого взгляда. В нижнем углу чернильной ручкой выведены инициалы: «В. П.». Фолькхаймер двумя пальцами трогает фотографию, как будто тетрадку можно вытащить и пролистать.

Он был просто мальчишка. Как они все. Даже самые рослые.

В письме объясняется, что организация ищет ближайших родственников погибших солдат, чьи имена неизвестны, чтобы передать им вещи. У организации есть основания полагать, что он, оберфельдфебель Франк Фолькхаймер, командовал подразделением, в котором служил хозяин вещмешка. Сам вещмешок был найден в американском лагере для военнопленных во Франции, в округе Берне, в 1944 году.

Знает ли он, кому принадлежали эти вещи?

Фолькхаймер кладет фотографии на стол и стоит, уронив мощные руки. Он слышит рычание мотора, стук дождя по будке. Звон комаров. Топот сапог и многоголосые мальчишеские крики.

Треск помех, потом выстрелы.

Но это же не по-человечески, оставлять его так? Пусть даже мертвого.

Какое же у тебя будущее...

Он был маленький, белобрысый, с торчащими ушами. Когда мерз, застегивал воротник и прятал руки в рукава. Фолькхаймер знает, чьи это вещи.

Ютта

Ютта Ветте преподает алгебру шестиклассникам в эссенской школе: переменные, теория вероятностей, параболы. Одевается каждый день одинаково: черные брюки с нейлоновой блузкой, бежевой, серой или голубой. Иногда, под очень хорошее настроение, желтой. Кожа у нее бледная, а волосы по-прежнему белы, как бумага.

Муж Ютты, Альберт, добрый, медлительный, лысеющий бухгалтер, коллекционирует игрушечные паровозики и возится с ними все свободное время. Они уже отчаялись иметь детей, но в тридцать семь Ютта все-таки забеременела. Их сыну Максу шесть лет, он любит собак, копать в земле и задавать вопросы, на которые невозможно ответить. В последнее время у Макса новое увлечение: он складывает из бумаги замысловатые самолетики. Приходит из школы, встает на колени на кухонном полу и с неизменным, почти пугающим упорством складывает самолетик за самолетиком, проверяет разные формы крыльев, хвоста, носа. Очевидно, больше всего ему нравится сам процесс, превращение чего-то плоского во что-то летающее.

Начало июня, четверг, учебный год почти закончился. Они всей семьей в бассейне. Небо затянуто серыми облаками, в лягушатнике галдят малыши, родители болтают между собой, читают газеты или дремлют. Все хорошо. Альберт, в плавках, с полотенцем на

шее, стоит перед буфетом и думает, какое мороженое взять. Макс плывет неумело, молотя руками по воде, и часто оглядывается – смотрит ли на него мама. Наконец он вылезает, заворачивается в полотенце и садится рядом с нею. Макс худой, маленький, с торчащими ушами. На ресницах блестят капли воды. Смеркается, холодает; купальщики собираются семьями и идут к велосипедам или к автобусной остановке. Макс с хрустом жует печенье из картонной коробки.

– Я обожаю печенье-зверушек, Mutti[53], – говорит он.

– Знаю, Макс.

Альберт отвозит их домой на маленьком гроыхающем «НСУ Принц-4». Ютта достает из сумки стопку итоговых годовых контрольных и садится на кухне их проверять. Альберт ставит воду на макароны и начинает жарить лук. Макс достает из ящика лист чистой бумаги и начинает складывать самолетик.

В дверь стучат: раз, два, три.

У Ютты бешено колотится сердце. Карандаш зависает над тетрадью. Какие глупости! Это просто соседка, приятельница или Анна, маленькая подружка Макса, которая вместе с ним строит сложные города из пластмассовых кубиков. Только Анна стучит иначе.

Макс, держа самолетик в руках, несется к двери.

– Кто там, малыш?

Мальчик не отвечает – это значит, что пришел кто-то незнакомый. Ютта идет в прихожую и видит, что в двери стоит великан.

Макс скрестил руки на груди, потрясенный и заинтригованный. Самолетик лежит на полу у его ног. Великан снимает кепку. Его огромная голова блестит лысиной.

– Фрау Ветте?

На нем непомерных размеров серый спортивный костюм с бурыми лампасами по бокам, молния на куртке застегнута до подбородка. Он робко протягивает ей выцветший вещмешок.

Уличные хулиганы. Ганс и Герриберт. Исполинский рост незнакомца вызывает в памяти их всех. Ютта уверена, что этот человек много куда заходил без стука.

– Да?

– Ваша девичья фамилия Пфенниг?

Еще то того, как она кивает, до того, как он говорит: «У меня тут для вас кое-что», ей становится ясно, что речь пойдет о Вернере.

Великан идет за ней, шурша нейлоновыми штанами. Альберт поднимает взгляд от плиты и удивленно вздрагивает, но говорит только «здравствуйте» и «осторожнее», указывая шумовкой на лампочку, в которую великан едва не врезался лбом.

Он предлагает поужинать, великан соглашается. Альберт отодвигает стол от стены и ставит четвертую тарелку. Фолькхаймер на деревянном стуле с подлокотниками напоминает Ютте картинку из Максовой книжки: слон, втиснувшийся в самолетное кресло. Вещмешок, который он принес, остался в передней.

Разговор начинается медленно.

Он ехал несколько часов на поезде.

Сюда от вокзала шел пешком.

Нет, хереса он не будет, спасибо.

Макс ест быстро. Альберт – медленно. Ютта прячет руки под себя, чтобы не видно было, как они дрожат.

– Когда они нашли адрес, – говорит Фолькхаймер, – я спросил, нельзя ли мне съездить самому. Тут письмо приложено, видите?

Он вынимает из кармана сложенный лист бумаги.

За окном проезжают машины, щебечут птицы.

Ютте не хочется брать письмо. Не хочется слышать того, ради чего этот огромный человек ехал так долго. Целыми неделями она не позволяет себе думать о войне, о фрау Елене, о страшных месяцах в Берлине. Теперь она может покупать мясо каждый день, а если в доме становится прохладно, поворачивает вентиль на кухне, и батареи сразу становятся горячее. Ей не хочется быть как те старухи, которые только и думают что о прошлых несчастьях. Иногда она смотрит в глаза старших коллег и гадает, что они делали, когда электричество выключалось, а свеч не было, когда в дождь протекал потолок. Что они видели. Лишь очень редко она позволяет себе думать о Вернере. Во многих смыслах память о брате пришлось упрятать подальше. Учительнице математики в семьдесят четвертом году лучше не рассказывать коллегам, что ее брат учился в учреждении национал-политического образования Шульпфорты.

– На востоке, да? – спрашивает Альберт.

Фолькхаймер говорит:

– Мы вместе учились в школе, вместе попали на фронт. Были в России. Еще в Польше, на Украине, в Австрии. Потом во Франции.

Макс жует нарезанное дольками яблоко. Он говорит:

– А сколько в вас роста?

– Макс, – одергивает его Ютта.

Фолькхаймер улыбается.

– Он ведь был очень способный, да? – спрашивает Альберт. – Юттин брат?

– Очень, – отвечает Фолькхаймер.

Альберт спрашивает, не хочет ли он добавки, предлагает соль, снова предлагает хереса. Он младше Ютты, в сорок пятом, девятилетним ребенком, бегал курьером между бомбоубежищами.

– Последний раз я видел его в Сен-Мало, на северном побережье Франции.

Из ила Юттиных воспоминаний выплывает фраза: «Сегодня я хочу написать тебе про море».

– Мы провели там месяц, и мне кажется, тогда он влюбился.

Ютта выпрямляется на стуле. Мучительно ясно, что слова ничего не передают. Северное

побережье Франции? Влюбился?

Ничего на этой кухне не исцелится. Есть горе, которое невозможно унять.

Фолькхаймер встает из-за стола:

– Я не хотел вас огорчить.

Он такой огромный, когда стоит, что все они чувствуют себя карликами.

– Все хорошо, – говорит Альберт. – Макс, будь другом, проводи гостя во дворик. Я принесу пирог.

Макс открывает перед Фолькхаймером стеклянную дверь, и тот проходит нагнувшись. Ютта составляет тарелки в раковину. Она очень устала и хочет одного: чтобы великан ушел и забрал с собой вещмешок. Чтобы жизнь вернулась в свою колею.

Альберт трогает ее за локоть:

– С тобой все хорошо?

Ютта не отвечает ни «да», ни «нет», только медленно проводит рукой по бровям.

– Я люблю тебя, Ютта.

За окном Фолькхаймер стоит на коленях рядом с Максом. На бетонных плитах лежат два листа бумаги, и, хотя Ютта не слышит голосов, ей понятно, что великан учит Макса складывать самолет. Макс внимательно следит, переворачивает лист вслед за Фолькхаймером, сгибает в тех же местах, слюнявит палец, чтобы придавить складки.

Довольно скоро у каждого в руках по самолетику с большими крыльями и раздвоенным хвостом. Фолькхаймер запускает свой – тот плавно летит через весь двор и врежется носом в ограду. Макс хлопает в ладоши.

Макс в сумерках смотрит на свой самолетик, проверяет наклон крыльев. Фолькхаймер стоит рядом с ним на коленях и терпеливо кивает.

– И я тебя люблю, – говорит Ютта.

Вещмешок

Фолькхаймер ушел. Вещмешок лежит на тумбе в прихожей. У Ютты нет сил на него глядеть.

Она помогает Максиму надеть пижаму, целует его в лоб и говорит: «Спокойной ночи». Потом чистит зубы, стараясь не глядеть на себя в зеркале, подходит к входной двери и долго смотрит через стекло на улицу. В подвале Альберт гоняет поезда по тщательно раскрашенному миру, под виадуками, по электрическому подъемному мосту; они жужжат тихо, но неотвязно, и этот звук отдается в дощатых стенах.

Ютта приносит вещмешок в спальню, кладет на пол и проверяет еще одну контрольную. Потом еще одну. Поезда ненадолго останавливаются, затем возобновляют свое

монотонное жужжание.

Она берется за третью контрольную, но не может сосредоточиться: числа сползают вниз страницы, наезжают друг на друга, превращаются в бессмысленную мешанину. Ютта кладет мешок на колени.

Когда они только поженились и Альберт уезжал в командировки, она просыпалась до зари и вспоминала первые ночи перед отъездом Вернера в Шультпорту. Тогда боль разлуки с ним возвращалась в полную силу.

Молния на старом вещмешке открывается неожиданно легко. Внутри толстый конверт и что-то завернутое в газету. Ютта разворачивает ее и видит игрушечный домик, высокий и узкий, размером примерно с кулак.

В конверте тетрадь, которую она отправила брату тридцать лет назад. Его вопросник. Неровные строчки загибаются кверху. Рисунки, чертежи, списки.

Что-то вроде блендера с педалями, как у велосипеда.

Мотор для игрушечного самолета.

Зачем рыбам усы?

Правда ли, что ночью все кошки серы?

Почему, когда молния ударяет в море, все рыбы не погибают?

Через три страницы она вынуждена закрыть тетрадь. Воспоминания кувыркаются в голове, скачут по комнате. Кровать Вернера на чердаке, стена обклеена пейзажами воображаемых городов. Аптечка, приемник, антенна, пропущенная в окно и зацепленная за скат крыши. Внизу гудят поезда, проезжая по трехуровневому макету, в соседней комнате ее сын с кем-то сражается во сне, губы бормочут, веки подрагивают, а Ютта уговаривает цифры в контрольной вернуться на свои места.

Она снова открывает тетрадь.

Почему держится узел?

Если пять кошек ловят пять крыс за пять минут, сколько нужно кошек, чтобы поймать сто крыс за сто минут?

Почему флаг колышется на ветру, а не стоит прямо?

Между двумя последними страницами вложен старый запечатанный конверт. На нем написано «Фредерику». Фредерик – школьный товарищ.

Вернер писал о нем, о мальчике, который любит птиц.

Он видит то, чего не видят другие.

Как война обходится с мечтателями!

Когда Альберт наконец входит в спальню, Ютта не поднимает головы, делая вид, будто проверяет контрольные. Он раздевается, с тихим кряхтением ложится на кровать, выключает бра и желает Ютте спокойной ночи, а она все так же сидит за столом.

Сен-Мало

Годовые оценки выставлены, у Макса каникулы, он каждый день ходит в бассейн, изводит отца загадками и уже сложил триста самолетиков, которым научил его великан. Не стоит ли свозить его за границу, пусть поучит французский, посмотрит на океан? Ютта задает эти вопросы Альберту, но оба знают, что ответить должна она.

Двадцать шестого июня, за час до рассвета, Альберт делает шесть бутербродов с ветчиной и заворачивает их в фольгу. Потом усаживает жену и сына в «Принц-4», отвозит их на вокзал, целует Ютту в губы, и она, держа Макса за руку, входит в поезд. В сумочке у нее тетрадь Вернера и домик.

Путешествие занимает весь день. К тому времени, как поезд проезжает Ренн, солнце уже низко над горизонтом, в открытые окна тянет запахом теплого навоза, мимо бегут ряды тополей. Чайки и вороны в одинаковом количестве идут за трактором. Макс жует второй бутерброд и перечитывает комикс, в полях колышутся желтые цветы, и Ютта гадает, не на костях ли ее брата они растут.

Еще до темноты в вагон входит хорошо одетый мужчина на протезе, садится напротив и закуривает. Ютта зажимает сумочку между колен; она уверена, что этот человек ранен на войне, что он попытается завязать разговор, и плохой французский ее выдаст. Или что Макс обратится к ней по-немецки. Или что мужчина напротив уже и так все понял. Может, от нее исходит немецкий запах.

Он скажет: это вы виноваты.

Пожалуйста. Только не при моем сыне.

Однако поезд трогается, мужчина докуривает, рассеянно улыбается Ютте и очень скоро засыпает.

Она крутит в руках игрушечный домик. Около полуночи они высаживаются в Сен-Мало, и такси довозит их до гостиницы на площади Шатобриана. Девушка за стойкой берет деньги, которые обменял для них Альберт. Макс полусонно привалился к Ютте сбоку, а она так стесняется своего плохого французского, что уходит спать голодной.

Утром Макс тянет ее через проем между старыми стенами на пляж. Он носится по песку, потом замирает и смотрит на крепостную стену, словно воображая развевающиеся знамена, пушки и средневековых лучников за парапетом.

Ютта не может оторвать взгляд от моря. Оно изумрудно-зеленое и невообразимо огромное. Одинокий белый парус скользит прочь из гавани. На горизонте то возникают, то пропадают за волнами два траулера.

Порой я засматриваюсь на него и забываю про свои обязанности. Мне кажется, оно вмещает все, что человек способен почувствовать.

Они платят монетку, чтобы подняться на башню шато. «Идем!» – кричит Макс и бежит по узким ступеням. Ютта пыхтит сзади. В узкие окошки видны прямоугольники неба. Макс за руку тянет ее по лестнице.

С башни они смотрят, как внизу вдоль витрин прохаживаются крохотные фигурки туристов. Ютта читала про осаду, разглядывала фотографии довоенного города. Однако сейчас, глядя на высокие основательные дома, на сотни крыш, она не видит следов бомбардировки, воронок или разрушенных зданий. Город как будто вырос заново.

На ужин они заказывают бретонские лепешки. Ютта ждала, что все в ресторане обернутся, услышав ее акцент, но никто не обращает внимания. Официант то ли не заметил, что она немка, то ли ему все равно. Вечером они с Максом проходят в высокую арку, которая зовется Динанскими воротами, идут по набережной и взбираются на мыс через устье реки от города. Там разбит парк, среди деревьев видны заросшие развалины форта. Везде, где тропинка тянется над обрывом, Макс останавливается и кидает в море камешки.

Через каждые сто шагов – стальные колпаки, из которых солдаты направляли огонь при штурме берега. Некоторые доты настолько повреждены при обстреле, что трудно вообразить мощь и скорость снарядов, способных проделать такие дыры. Впечатление, будто полуметровый слой стали размягчился, как пластилин, и ребенок проткнул его пальцами.

Каково было стоять там внутри?

Теперь они забросаны пакетиками из-под чипсов, окурками, мятыми бумажками. Над вершиной холма посреди парка развеваются американский и французский флаги. Здесь, гласит табличка, немцы окопались в подземных тоннелях, чтобы сражаться до последнего человека.

Трое подростков проходят смеясь, Макс внимательно следит за ними взглядом. На изъеденной замшелой стене маленькая каменная табличка. Ici a été tué Buy Gaston Marcel agé de 18 ans, mort pour la France le 11 août 1944[54]. Ютта садится на землю. Море беспокойное, темно-серое. Табличек в память о погибших немцах нет.

* * *

Зачем она приехала? Какие ответы надеялась отыскать? Утром второго дня в Сен-Мало они сидят на площади Шатобриана, напротив исторического музея, там, где жесткие скамейки смотрят на клумбы, окруженные металлическими полукольцами. Под навесами туристы перебирают тельняшки и акварели с изображением корсарских кораблей; отец, что-то напевая, обнимает дочку за плечи.

Макс поднимает глаза от книги и спрашивает:

– Mutti, что путешествует вокруг света, но остается в углу?

– Не знаю, Макс.

– Почтовая марка.

Он улыбается.

Она говорит:

– Я скоро вернусь.

За информационной стойкой музея сидит бородатый сотрудник, лет пятидесяти на вид. Из тех, кто по возрасту должен помнить. Ютта открывает сумочку, разворачивает частично раздавленный деревянный домик и говорит, стараясь как можно лучше произносить французские слова:

– Это лежало в вещах моего брата. Я думаю, он нашел это здесь. Во время войны.

Сотрудник музея мотает головой, и Ютта закрывает сумочку.

Тут он просит разрешения посмотреть домик еще раз. Подносит макет к лампе, разворачивает нишей входной двери к себе.

– Oui[55], – говорит он наконец и жестом показывает Ютте, чтобы она подождала на улице.

Через несколько минут бородатый сотрудник выходит из музея, запирает дверь и ведет Ютту с Максом по узким крутым улочкам. Десяток поворотов, и они стоят перед домом – увеличенным подобием того, который Макс вертит в руках.

– Номер четыре по улице Воборель, – говорит музейщик. – Дом Этьена Леблана. Уже много лет как разделен на апартаменты для отдыхающих.

Камень покрыт лишайником, от выщелоченных минералов осталась темная филигрань потеков. На окнах ящики с пышно цветущими геранями.

Мог сам Вернер сделать этот макет? Купить его?

– А была здесь девушка? – спрашивает Ютта. – Вы ничего не слышали про девушку?

– Да, во время войны здесь жила слепая девушка. Мне рассказывала про нее мама. Сразу после войны она уехала.

Перед глазами у Ютты прыгают зеленые пятна, как будто она долго смотрела на солнце.

Макс дергает ее за рукав:

– Mutti, Mutti!

– Зачем моему брату понадобилась уменьшенная копия этого дома? – спрашивает Ютта, из последних сил вспоминая французские слова.

– Может быть, вам ответит девушка, которая тут жила? Я найду ее адрес.

– Mutti, Mutti, глянь, – говорит Макс и дергает ее сильнее. Ютта опускает взгляд. – Мне кажется, домик открывается. И я, наверное, сумею его открыть.

Лаборатория

Мари-Лора Леблан заведует небольшой лабораторией в Парижском музее естествознания. У нее за плечами заметный вклад в исследование моллюсков: монография по эволюционному обоснованию формы западноафриканских *Cancellaria cancellata* и часто цитируемая статья по половому диморфизму карибских волют. Она дала названия двум новым подвидам панцирных моллюсков. Работая над диссертацией, побывала на островах Бора-Бора и Бимини, бродила по рифам в панаме, изучала улиток на трех континентах.

Мари-Лора не собирательница в том смысле, в каком был собирателем доктор Жеффар, коллекционер, торопящийся сбежать по лестнице отряда, семейства, рода, вида,

подвида. Ей нравится чувствовать рядом живых существ – не важно, на рифах или в лабораторных аквариумах. Находить улиток на камнях, где эти крохотные влажные существа вбирают кальций из воды и преобразуют его в узорчатые грезы у себя на спине, – ей ничего больше не надо.

Они с Этьеном путешествовали, пока у того были силы. Побывали на Сардинии и в Шотландии, катались на втором этаже лондонских автобусов. Он купил себе два новых транзисторных приемника, умер тихо в ванне, дожив до восьмидесяти двух, и оставил ей много денег.

Несмотря на то что Мари-Лора с Этьеном наняли специалиста, потратили тысячи франков и перерыли тонны документов в немецких архивах, они так и не узнали, что именно случилось с ее отцом. Удалось подтвердить, что в сорок втором году он и впрямь был заключенным лагеря Брайтенау. Сохранилась запись, сделанная лагерным врачом в Касселе, что в начале сорок третьего года некий Даниэль Леблан заболел гриппом. И больше ничего.

Мари-Лора по-прежнему живет в квартире, в которой выросла, по-прежнему ходит в музей. У нее было два любовника: первый – приглашенный лектор, который уехал и не вернулся, второй – канадец по имени Джон, который разбрасывал вещи – галстуки, монеты, носки, мятные леденцы – в любой комнате, куда входил. Они познакомились в аспирантуре. Джон порхал с кафедры на кафедру, демонстрируя редкую любознательность и неумение сосредоточиться на чем-нибудь одном. Он любил океанические течения, архитектуру и Чарльза Диккенса, и его разносторонность заставляла Мари-Лору чувствовать себя ограниченной, чересчур узкой специалисткой. Когда она забеременела, они с Джоном расстались спокойно, без обид.

Элен, их дочери, сейчас девятнадцать. Коротко стриженная, миниатюрная, талантливая виолончелистка. Очень собранная, как почти все дети слепых родителей. Элен живет с матерью, но все трое – Джон, Мари-Лора и Элен – каждую пятницу вместе обедают в кафе.

Наверное, у всех во Франции, кто застал первую половину сороковых, война остается центром, вокруг которого вращается вся остальная жизнь. Мари-Лоре и сейчас становится дурно от запаха вареной репы или от слишком больших туфель. И еще она не может слышать перечисление фамилий. Состав футбольной команды или редколлегии, представления на конференциях – все они кажутся ей обрывками тюремных списков, в которых снова нет ее отца.

Она по-прежнему считает канализационные решетки: тридцать восемь от дома до лаборатории. На ее крохотном ажурном балкончике растут цветы, и летом она определяет время суток по тому, как раскрылись лепестки энотеры. Когда Элен уходит к подружкам и квартира кажется слишком тихой, Мари-Лора отправляется в рестораник, всегда в один и тот же, «Виляж Монж», напротив ботанического сада, и заказывает жареную утку в память о докторе Жеффаре.

Счастлива ли она? По большей части, да. Например, когда стоит под деревом и слушает, как дрожат на ветру листья, или открывает посылку от собирателя и чувствует такой знакомый океанский запах выброшенных на берег раковин. Когда вспоминает, как читала Элен Жюль Верна и та засыпала, привалившись к ней сбоку тяжелой и теплой детской головой.

Однако бывают часы, когда Элен опаздывает и Мари-Лора от волнения не находит себе места; тогда она наклоняется над лабораторным столом и внезапно чувствует все другие помещения музея – кладовки с заспиртованными лягушками, угрями и червяками, кабинеты с гербариями и насекомыми на булавках, полные подвалы костей, – и ей кажется, что она работает в мавзолее, что отделы – кладбища с пронумерованными могилами, что все вокруг – ученые, смотрительницы, посетители и сторожа – гуляют по галереям мертвых.

Но такое случается редко. У нее в лаборатории умиротворяюще булькают шесть аквариумов с морской водой. У дальней стены стоят три шкафа с четырьмя сотнями ящичков каждый, перенесенные много лет назад из бывшего кабинета доктора Жеффара. Каждую осень она ведет занятия у студентов. Они приходят, пахнувшие солониной, или одеколоном, или бензином от своих мотоциклов, и Мари-Лора любит расспрашивать их про жизнь, гадать про их прошлое, про то, какие страсти и причуды таятся у них в груди.

Однажды июльским вечером, в среду, к ней, тихонько постучавшись, входит лаборант. Аквариумы булькают, фильтры гудят, нагреватели тихонько щелкают, включаясь и выключаясь. Лаборант говорит, что к ней пришла какая-то женщина.

Мари-Лора не снимает пальцев с клавиш брайлевской пишущей машинки.

– Сбирательница?

– Вряд ли, доктор Леблан. Она сказала, что ваш адрес ей дали в Бретани, в городском музее.

Первые предвестья головокружения.

– С ней мальчик. Они ждут в конце коридора. Сказать ей, чтобы пришла завтра?

– Как она выглядит?

– Белые волосы. – Он наклоняется ниже. – Плохо одета. Кожа бугристая. Говорит, что пришла к вам с макетом дома.

Где-то у себя за спиной Мари-Лора слышит звяканье десяти тысяч ключей на десяти тысячах крючков.

– Доктор Леблан?

Пол накренился. Еще мгновение, и она с него скатится.

Гостья

– Вы учили французский в детстве, – произносит Мари-Лора, сама не понимая, как сумела заговорить.

– Да. Это мой сын Макс.

– Guten Tag, – говорит Макс. Рука у него маленькая и теплая.

– Он французского в детстве не учил, – замечает Мари-Лора.

Обе смеются, потом умолкают.

Женщина говорит:

– Я кое-что вам привезла.

Даже через газету Мари-Лора чувствует, что это макет дома; как будто гостя уронила ей в ладони расплавленную каплю воспоминаний. Ноги подкашиваются.

– Франсис, – говорит она лаборанту, – не могли бы вы немножко поводить Макса по музею? Например, показать ему жуков?

– Конечно, мадам.

Гостя что-то говорит сыну по-немецки.

– Дверь закрыть? – спрашивает Франсис.

– Да, пожалуйста.

Щелкает «собачка». Аквариумы булькают, женщина напротив шумно втягивает воздух, и резиновые кружки, приклеенные к ножкам ее табурета, скрипят по полу. Мари-Лора находит пальцами углы дома, скаты крыши. Как часто она держала его в руках!

– Это сделал мой отец, – говорит она.

– Вы знаете, как этот домик попал к моему брату?

Все кружится, закладывает вираж по комнате, затем возвращается в сознание Мари-Лоры. Мальчик. Макет. Открывали его? Не открывали? Внезапно она ставит домик на стол, будто обжегшись.

Женщина, Ютта, наверняка пристально на нее смотрит. И произносит, словно извиняясь:

– Он забрал его у вас?

Со временем, думает Мари-Лора, непонятные события либо запутываются еще больше, либо проясняются. Мальчик трижды спас ей жизнь. Первый раз, когда не разоблачил Этьена, хотя должен был. Второй – когда убрал фельдфебеля. И третий, когда вывел ее из города.

– Нет, – отвечает она.

– В то время, – говорит Ютта, явно не в силах подобрать нужных французских слов, – трудно было быть хорошим.

– Я провела с ним день. Даже меньше.

– Сколько вам было тогда лет? – спрашивает Ютта.

– Во время осады – шестнадцать. А вам?

– Пятнадцать. К концу войны.

– Мы все повзрослели раньше, чем стали взрослыми. А он?..

– Он погиб, – отвечает Ютта.

Ну конечно. В историях про войну все бойцы Сопротивления – решительные мускулистые герои, способные собрать автомат из канцелярских скрепок. А все немцы – либо богоподобные блондины, вззирающие из открытых танковых люков на разрушенные города, либо похотливые маньяки, пытающие еврейских красавиц. Тому мальчику просто не осталось места в общей картине. Он был почти неощутим, как будто рядом с тобой – перышко. И все же его душа светилась глубочайшей добротой, ведь правда же?

Мы собирали ягоды в Рурской области. Мы с сестрой.

– У него были руки меньше, чем у меня, – говорит Мари-Лора.

Женщина прочищает горло.

– Он всегда был слишком маленький для своих лет. Но обо мне заботился. Ему трудно было не делать того, чего от него ждали. Я понятно говорю?

– Да, да.

Аквариумы булькают. Улитки едят. Сколько, наверное, мучений пережила эта женщина... А домик? Получается, что Вернер зашел за ним обратно в грот? Остался ли камень внутри?

– Он сказал, – говорит Мари-Лора, – что вы с ним слушали передачи моего дядюшки. Что вы ловили их в Германии.

– Вашего дядюшки?..

Мари-Лора гадает, какие воспоминания крутятся в голове у женщины, сидящей напротив нее. Она собирается ответить, но тут в коридоре слышатся шаги. Макс пытается что-то сказать по-французски. «Нет-нет, – смеется Франсис, – не „в заде“, а „сзади“».

– Извините, – говорит Ютта.

– Детская рассеянность-то нас и спасает, – со смехом отвечает Мари-Лора.

Открывается дверь и Франсис спрашивает:

– Все в порядке, мадам?

– Да, Франсис. Можете идти.

– Нам тоже пора, – говорит Ютта и задвигает свой табурет под стол. – Я хотела бы оставить вам домик. Лучше он будет у вас, чем у меня.

Мари-Лора упирается ладонями в стол. Она представляет, как мать с сыном проходят в дверь, маленькая рука зажата в большой.

В горле у нее стоит ком.

– Подождите, – зовет она. – Когда дядя после войны продавал дом, он съездил в Сен-Мало и забрал единственную сохранившуюся запись моего деда. Про Луну.

– Я помню. И про свет? На обратной стороне.

Скрип половиц, бульканье аквариумов. Шуршание улиток по стеклу. Деревянный домик между ладонями.

– Продиктуйте Франсису свой адрес. Запись очень старая, но я ее вам отправлю. Максиму должно понравиться.

Бумажный самолетик

– И Франсис сказал, там сорок две тысячи ящиков с сушеными растениями, а еще он показал мне плезиозавра и клюв исполинского кальмара...

Гравий хрустит под ногами. У Ютты кружится голова, так что она должна прислониться к дереву.

– Mutti?

Темнота перед глазами медленно проясняется.

– Я просто устала, Макс. Вот и все.

Она разворачивает карту и пытается сообразить, как им вернуться в гостиницу. Машин мало. Почти каждое окно, которое они минуют, вспыхивает голубыми отсветами телевизора. Именно отсутствие тел, думает Ютта, позволяет нам забыть. Трава и дерн запечатывают их накрепко.

В лифте Макс нажимает кнопку шестого этажа, и они едут вверх. Ковровая дорожка в коридоре – малиново-бурая река, расчерченная золотыми прямоугольниками. Ютта отдает Максу ключи, он некоторое время возится с замком, потом распахивает дверь.

– А ты показала тете, как открывать домик, Mutti?

– Думаю, она и без меня знает.

Ютта включает телевизор и снимает туфли. Макс открывает балконную дверь и складывает из гостиничной бумаги самолетик. Париж за окном похож на те города, которые она рисовала в детстве: тысячи окон, кружащая стая птиц. На экране телевизора игроки в синем бегут по полю за три тысячи километров отсюда. Счет три-два. Однако вратарь упал, мяч медленно катится к линии ворот, и отбить его некому. Ютта набирает на телефоне девять цифр, Макс запускает самолетик в окно. Тот пролетает метров двадцать и на миг замирает в воздухе, и в эту самую секунду голос мужа в трубке произносит «алло».

Ключ

Мари-Лора сидит за рабочим столом и одну за другой перебирает раковины дозидий в лотке. Воспоминания вспыхивают и пропадают. Шершавая материя папиных штанов, за которые она цепляется. Прыгающие песчаные блошки под коленями. Скорбные звуки органа оглашают скользкий во тьме «Наутилус».

Она трясет домик, хотя и знает, что тот не выдаст своих секретов.

Немецкий мальчик вернулся в грот за домиком. Унес его с собой, умер вместе с ним. Что творилось в этой чужой душе? Она вспоминает, как он сидел и листал страницы Этьеновой книги.

Птицы, сказал он. Птицы, птицы, птицы.

Она снова идет по дымящемуся городу, держа перед собой белую наволочку.

Как только она исчезает из виду, он вновь открывает решетку в грот Юбера Базена. Над ним тяжелая крепостная стена. По другую сторону решетки плещется море. Он берет домик в руки, вертит, соображает, как открыть коробочку. Может быть, кидает алмаз в озерцо, к тысячам улиток. Потом собирает головоломку обратно, запирает замок и уходит прочь.

Или кладет камень обратно в домик.

Или к себе в карман.

Из воспоминаний звучит голос доктора Жеффара: «Удивительно, что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым. настолько дорогим. Только самые сильные духом могут побороть эти чувства».

Она поворачивает трубу на девяносто градусов – идет легко, как будто папа сделал домик только вчера. Пытается сдвинуть первую деревянную панель крыши и обнаруживает, что та застряла. Однако карандашом Мари-Лоре удается сдвинуть их все: раз, два, три.

Что-то выпадает ей на ладонь.

Железный ключ.

Море огня

Он родился в расплавленных земных недрах, на глубине трехсот километров, один кристалл среди множества других. Безупречный октаэдр чистого углерода, каждый атом в решетке связан с четырьмя другими, расположенными на равных расстояниях. Тверже всего, что есть на Земле. Он уже стар, неизмеримо стар. Проходят бесчисленные геологические эпохи. Материки движутся, сжимаются, трескаются. В некий год, в некий день, в некий час мощный поток магмы пробился наверх, увлекая за собой кристаллы, и застыл кимберлитовой трубкой. Век проходит за веком. Дождь, ветер, кубические километры льда. Толща породы раскалывается на глыбы, глыбы окатываются и становятся валунами, ледник отступает, образуется озеро, галактики пресноводных моллюсков кишат на дне и умирают, когда озеро испаряется под солнцем. Доисторические леса вырастают, падают, и на их месте встают новые. И вот в некий другой год, день, час буря вырывает камень из стены каньона и бросает на дно реки, где однажды его замечает царевич, знающий, что ищет.

Камень гранят, шлифуют, и краткое время он переходит из рук в руки.

И вновь некий час, некий день, некий год. Кусок углерода размером с каштан. Опутанный водорослями, обросший морскими желудями. Когда по нему проползают улитки, он качается на дне.

Фредерик

Он живет с матерью в западном пригороде Берлина. Через единственное окно видны несколько амбровых деревьев, огромная, по большей части пустая стоянка супермаркета и скоростная автомагистраль.

Фредерик целыми днями сидит в заднем дворике и смотрит, как ветер гоняет по автостоянке пустые полиэтиленовые пакеты. Иногда ветер подхватывает их и носит по воздуху кругами, пока не зацепит за ветки или не унесет прочь. Фредерик рисует карандашом спирали, кривые, спутанные каляки. Заполнив лист двумя или тремя, он переворачивает бумагу и рисует с другой стороны. Весь дом забит его рисунками: их тысячи на комод, в ящиках стола, на бачке в туалете. Его мать раньше выкидывала их, пока Фредерик не видит, но в последнее время у нее не доходят руки.

– Этот мальчик прямо как фабрика, – говорила она приятельницам и обреченно улыбалась, показывая, что держится мужественно.

Приятельницы заглядывают все реже. Их осталось совсем мало.

Как-то в среду – но что Фредерику дни недели? – его мать приходит домой с почтовым конвертом и говорит:

– Тебе письмо.

Десятилетиями она инстинктивно пряталась сама и прятала то, что случилось с мальчиком. Ей не единственной из военных вдов довелось почувствовать себя соучастницей чудовищных преступлений.

В большом конверте конверт поменьше и письмо, в котором женщина из Эссена описывает путь маленького конверта из американского лагеря для военнопленных, где находился ее брат, через военный архив в Нью-Джерси, через ветеранскую службу в Западном Берлине к бывшему фельдфебелю и от него к женщине, написавшей письмо.

Вернер. Она и сейчас его помнит: белые волосы, робкие руки, обезоруживающая улыбка. Единственный друг Фредерика. Вслух она говорит: «Он был очень маленький».

Мать показывает Фредерику заклеенный конверт: мятый, пожелтевший, с его именем, написанным мелким почерком, – однако тот не выказывает интереса. Она оставляет письмо на кухонном столе, отмеряет чашку риса и ставит вариться, потом, как всегда вечером, включает в доме все лампы, на стенах и под потолком, не чтобы лучше видеть, а потому что ей одиноко, поскольку квартиры по обе стороны пустуют, а когда дом освещен, возникает чувство, будто ждешь гостей.

Она растирает овощи в пюре и садится кормить Фредерика с ложки. Он причмокивает от удовольствия. Она вытирает ему подбородок, кладет на стол чистый лист бумаги, и Фредерик сразу принимается рисовать.

Мать Фредерика наполняет раковину мыльной водой. Потом открывает конверт. Внутри – сложенная цветная картинка с изображением двух птиц. «Лесная трясогузка. Самец 1. Самка 2». Обе сидят на длинном высоком стебле. Она ищет в конверте записку, объяснение, но там больше ничего нет.

Ей вспоминается день, когда она купила Фредде эти книги; как долго продавец заворачивал толстые тома. Она не понимала, что в них такого замечательного, но знала, что сыну понравится.

Врачи говорят, что у Фредерика не сохранилось воспоминаний, что его мозг выполняет лишь базовые функции, но порою ей кажется, что это не совсем так. Она разглаживает складки бумаги, придвигает ближе торшер и кладет картинку перед сыном. Он склоняет голову набок, и она пытается убедить себя, что он разглядывает рисунок. Однако глаза у него серые и пустые, и через секунду он вновь возвращается к своим спиралям.

Помыв посуду, она выводит Фредерика во дворик, как всегда в это время дня, и он сидит, по-прежнему в слюнявнике, и глядит в никуда. Завтра она снова покажет ему птиц на картинке.

Осень, над городом летят огромные стаи скворцов. Иногда при виде их Фредерик вроде бы оживляется, вроде бы слушает, как хлопают, хлопают, хлопают их крылья.

Покуда она глядит через ряд деревьев на большую пустую стоянку, что-то темное проносится в ореоле фонаря. Пропадает, возникает снова и внезапно бесшумно садится на перила меньше чем в двух метрах от них.

Это сова. Размером с ребенка. Она крутит головой и моргает желтыми глазами. Первая мысль: «Она прилетела за мной».

Фредерик выпрямляется.

Сова что-то услышала. Несколько мгновений она сосредоточенно слушает. Фредерик смотрит не отрываясь.

Тут сова взлетает: три громких взмаха, и вот уже ее нет.

– Ты видел ее? Ты видел ее, Фредде?

Он по-прежнему не отрываясь глядит в темноту. Однако там ничего нет: только качается на ветке полиэтиленовый пакет да горят десятки сфер искусственного света на автомобильной стоянке.

– Mutti? – говорит Фредерик. – Mutti?

– Я здесь, Фредде.

Она кладет ему руки на колени. Его пальцы впились в подлокотники кресла, все тело напряглось, вены на шее вздулись.

– Фредерик? Что с тобой?

Он смотрит на нее, не моргая.

– Что мы делаем, Mutti?

– Ой, Фредде. Просто сидим. Просто сидим и смотрим в ночь.

13. 2014 г.

Она пережила рубеж тысячелетий и жива до сих пор.

Сегодня субботнее утро, начало марта. Внук Мишель вывел ее прогуляться в ботанический сад. Воздух искрится инеем. Мари-Лора идет, выставив перед собой трость, ветер отдувает вбок редеющие волосы, сверху колышутся голые ветки, и она воображает, будто это колонии португальских корабликов плывут, покачивая ловчими щупальцами.

Лужи за ночь затянуло льдом. Когда Мари-Лора находит тростью такую лужицу, она нагибается и поднимает пластину льда, стараясь ее не сломать. Как будто подносит линзу к глазам. Потом аккуратно кладет обратно.

Мальчик терпелив, поддерживает ее под локоть, только когда это и впрямь нужно.

Они доходят до зеленого лабиринта в северо-западном углу сада. Тропинка идет вверх, все время сворачивая влево. Пройти немного, отдышаться. Пройти еще немного, отдышаться. Вот и вершина холма. Мишель усаживает Мари-Лору на узкую скамейку в старой беседке и садится рядом.

Больше тут никого нет. То ли слишком холодно, то ли слишком рано. Мари-Лора слушает, как ветер шумит в ажурном переплетении беседки. Вокруг – лабиринт живых изгородей, внизу сонно рокошет субботний Париж.

– Тебе ведь через неделю исполнится двенадцать, да, Мишель?

– Наконец-то!

– Ты так торопишься повзрослеть?

– Мама сказала, с двенадцати мне можно будет водить мопед.

– А, – смеется Мари-Лора. – Мопед.

Под ее рукой на скамье – миллиарды крохотных корон и диадем инея, ошеломляющая сложность морозных узоров.

Мишель прижимается к ее боку и затихает. Слышно только, как движутся его руки и щелкают кнопки.

– Что это за игра?

– «Варлордс».

– Ты играешь с компьютером?

– С Жаком.

– А где Жак?

Мальчик целиком занят игрой. Не важно, где Жак; Жак – в игре. Мари-Лора сидит, упершись тростью в гравий, мальчик лихорадочно жмет на кнопки. Через некоторое время он ойкает, и телефон издает прощальное чириканье.

– У тебя все в порядке?

– Он меня убил. – Мишель постепенно возвращается в обычный мир. – Жак, в смысле. Я убит.

– В игре?

– Да. Но всегда можно начать снова.

В саду ветер сдувает с деревьев иней. Солнце греет тыльную сторону ладоней, под боком теплый внук – Мари-Лора целиком ушла в эти ощущения.

– Бабушка, а ты чего-нибудь хотела в подарок на двенадцать лет?

– Да. Книгу Жюль Верна.

– Ту, которую мне мама читала? Ты ее получила?

– Да. В некотором смысле.

– В ней очень много сложных названий рыб.

– Да, и еще кораллов и моллюсков, – говорит Мари-Лора со смехом.

– Особенно моллюсков. Чудесное утро, правда, бабушка?

– Замечательное.

Внизу на дорожках разговаривают люди, ветер в живой изгороди поет торжественный гимн, у входа в лабиринт потрескивают большие старые кедры. Мари-Лора воображает электромагнитные волны, которые входят в телефон Мишеля и выходят из него, примерно как описывал Этьен, только с тех пор их стало в тысячу, а то и в миллион раз больше. Потоки эсэмэсок, реки мобильных разговоров, телевизионных программ, электронной почты текут под домами и над домами, проходят между зданиями, между ретрансляторами в тоннелях метро и на фонарных столбах, между антеннами на крышах; реклама супермаркетов и печенья с двухслойной начинкой несется на космическую орбиту и обратно на Землю, десять тысяч «Я по тебе скучаю», пятьдесят тысяч «Я тебя люблю», оскорбления политикам, напоминания о встречах, реклама украшений, реклама кофе, реклама мебели и биржевые сводки летят невидимо над лабиринтом парижских улиц, над полями сражений и солдатскими кладбищами, над Арденнами, над Рейном, над Бельгией и Данией, над тем вечно меняющимся ландшафтом, который мы называем странами. И так ли трудно поверить, что души странствуют теми же путями? Что ее папа, и Этьен, и мадам Манек, и немецкий мальчик по имени Вернер Пфенниг летят в стаях, как цапли, крачки, скворцы? Что караваны душ невидимо проносятся наверху и, если хорошенько прислушаться, их можно услышать? Они летят над крышами, вдоль тротуаров, проходят сквозь твою пальто, рубашку, грудину и легкие и мчат дальше; воздух – библиотека и патефонная пластинка всякой прожитой жизни, всякой прозвучавшей фразы, и в нем по-прежнему отдаются все когда-либо сказанные слова.

Каждый час, думает она, из мира уходят люди, помнящие войну.

Мы возродимся в траве. В цветах. В песнях.

Мишель берет ее под руку, они спускаются по тропинке к воротам на улицу Кювье. Мари-Лора проходит одну канализационную решетку, две, три, четыре, пять, а перед входом в свой дом говорит:

– Можешь оставить меня здесь, Мишель. Дорогу сам найдешь?

– Конечно.

– Тогда до следующей недели.

Он целует ее в обе щеки:

– До следующей недели, бабушка.

Она слушает его шаги. Наконец они затихают, остается лишь шуршание шин, лязг трамваев и быстрая поступь озябших пешеходов.

Благодарности

Я глубоко признателен Американской академии в Риме, Комиссии по искусству штата Айдахо и мемориальному фонду Джона Саймона Гуггенхайма. Спасибо Франсису Жеффару, который впервые привез меня в Сен-Мало. Спасибо вам, Бинки Урбан и Клер Рейхилл, за ободрение и доверие. И особое спасибо Нэн Грэм, которая ждала десять лет, а потом не пожалела для этой книги своей любви и многих часов редакторского труда.

Мне очень помогли книги «И стал свет» Жака Люссейрана, «Kaputt» Курцио Малапарте, «Лесной царь» Мишеля Турнье и «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» Ричарда Фейнмана («Он починил приемник силой мысли!»); Корт Конли, регулярно присылавший в мой почтовый ящик тщательно отобранный материал, первые читатели Хол и Жак Истмены, Джессика Сакс, Меган Твиди, Джон Силверман, Стив Смит, Стефани Неллен, Крис Дорр, Марк Дорр, Дик Дорр, Мишель Мурамбль, Кара Уотсон, Честон Кнапп, Мег Стори и Эмили Форленд, а особенно мама, Мерилин Дорр, которая была моим доктором Жеффаром и моим Жюль Верном.

Больше всего я благодарен Оуэну и Генри, которые прожили с этой книгой всю свою жизнь, и Шауне, без которой ничего бы этого не было и на которой все держится.

* * *

notes

Сноски

1

Stardust – песня, написанная Хоуги Кармайклом в 1927 г., исполнялась почти всеми великими джазовыми исполнителями. Stormy Weather – песня Гарольда Арлена и Теда Келера, написанная в 1933 г. In the Mood – песня Джо Гарленда, ставшая хитом Гленна Миллера. Pistol-Packin' Mama – песня, написанная Алом Декстером в 1943 г.; в 1944-м ее записали Бинг Кросби и сестры Эндрюс. (Здесь и далее прим. перев.)

2

8,8-см-FlaK, известное также как «Восемь-восемь» (нем. «ахт-ахт»/Acht-acht) – германское 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении в 1928–1945 гг.

3

«На Влтаве, на Влтаве, где солнце золотое светит» (нем.). Австрийская народная песня.

4

Миляя (фр.).

5

Амбротип – один из ранних видов фотографии на стеклянной пластинке.

6

Прачечная, булочная (фр.).

7

Восторг (фр.).

8

Приношу извинения (фр.).

9

Здесь и далее цитаты из «Двадцати тысяч лье под водой» приведены в переводе Н. Яковлевой и Е. Корша.

10

Немецкий хлеб из ржаной муки грубого помола.

11

Август Хайссмайер (1897–1979) – начальник Главного управления СС, генеральный инспектор учреждений национал-политического образования (НАПОЛАС).

12

Слава богу! (фр.)

13

Это не взаправду (фр.).

14

Дворец (фр.).

15

Я этим больше не занимаюсь (фр.).

16

Юнкерс Ю-87 «Штука» – немецкий пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны.

17

Один народ, одно государство, один вождь (нем.).

18

Занимать (фр.).

19

Горные деревушки (фр.).

20

Здесь и далее цитаты из «Путешествия натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“» приведены в переводе С. Л. Соболя.

21

Фридрих Гёльдерлин. «Смерть за Родину». Пер. С. Апта.

22

Смотритель винного подвала (фр.).

23

Добрый вечер (фр.).

24

Решительный и властный человек, «твердая рука» (фр.).

25

«От салата плоховато, от порея здоровею...» (фр.) – ритмическая детская песенка, под которую хлопают в ладоши или качают ребенка на коленях.

26

Пер. Л. Гинзбурга.

27

Ремонтная мастерская (фр.).

28

Немецкий копченый сыр.

29

Вот увидишь (нем.).

30

Иголка в стоге сена (нем.).

31

Неточная цитата из «Улисса» Дж. Джойса. «Где падшие архангелы срывали звезды со своего чела» (пер. В. Хинкиса, С. Хоружего).

32

Снова (см. с. 290) отсылка к «Улиссу» Дж. Джойса: «История, – произнес Стивен, – это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться» (пер. В. Хинкиса, С. Хоружего).

33

«История драгоценных камней» (лат.).

34

«С нами Бог» (нем.).

35

«Путешествие к центру Земли». Пер. Н. Егорова, Н. Яковлевой.

36

Должен быть порядок (нем.).

37

«Ночь и туман» – директива Гитлера от декабря 1941 г., направленная на борьбу с антинацистской оппозицией в оккупированных странах.

38

Атлантический вал – система укреплений, которая, по замыслу фашистского командования, должна была протянуться более чем на 5000 км, от Норвегии до Испании.

39

«Домика нет, где ты, домик?» (нем.)

40

Булочная (фр.).

41

«До войны. Я слышал вас по радио» (фр.).

42

Два, три, четыре (фр.).

43

Скрытная девочка (фр.).

44

«Вы должны мне помочь!» (нем.)

45

«Там моя племянница!» (нем.)

46

Есть тут кто-нибудь? (нем.)

47

Дамский парикмахер (фр.).

48

Ты здесь? (фр.)

49

Мои туфли (фр.).

50

Благодарность, благодарности, благодарственная молитва, благодарение (нем.).

51

Женская лига, женский союз, мужчина, сочувствующий борьбе за женские права, женское движение (нем.).

52

Вопросы (нем.).

53

Мама (нем.).

54

Здесь был расстрелян Бюи Гастон Марсель, 18 лет. Погиб за Францию 11 августа 1944 г. (фр.).

55

Да (фр.).